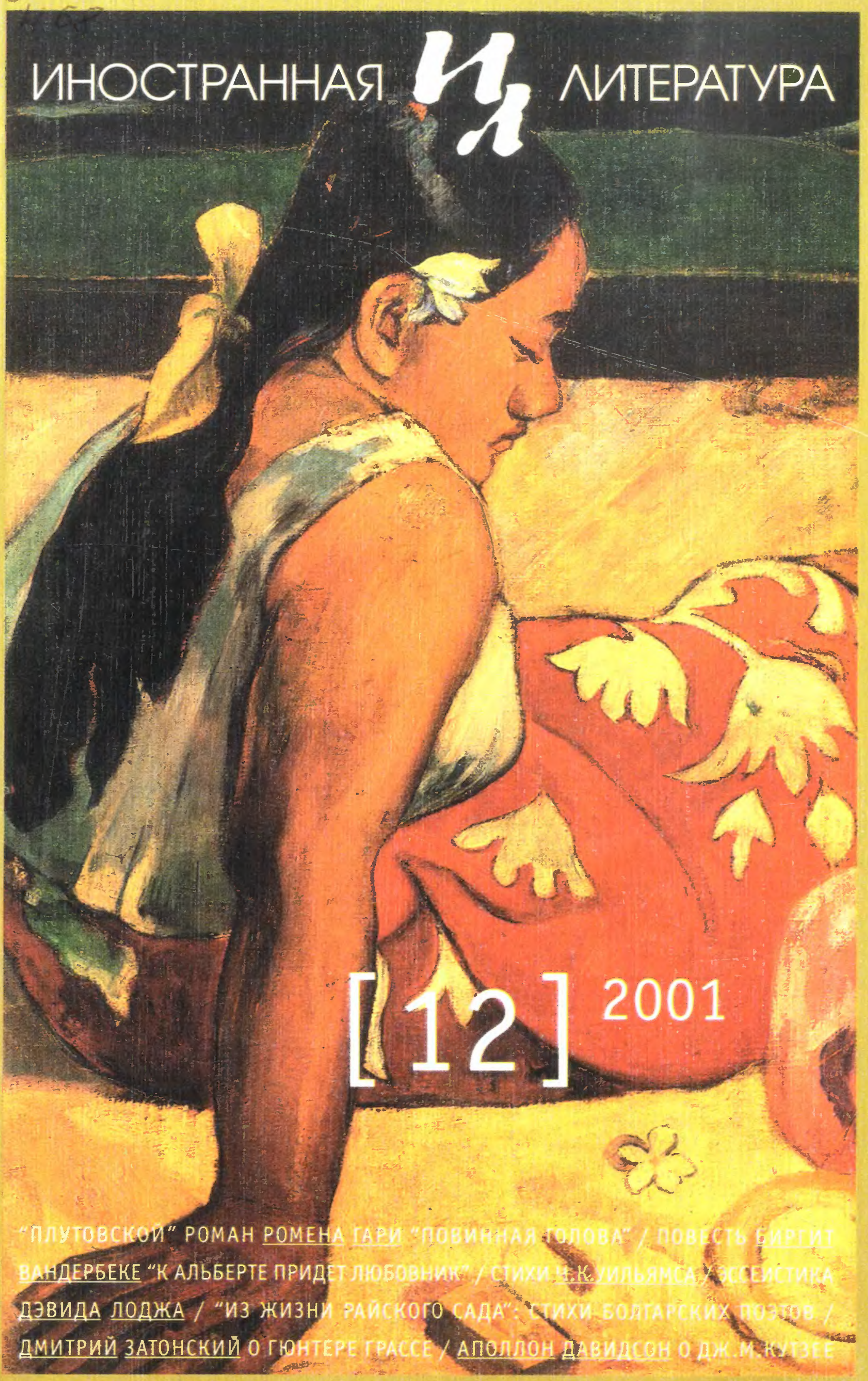
95183

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[12] 2001

"ПЛУТОВСКОЙ" РОМАН РОМЕНА ГАРИ "ПОВИННАЯ ГОЛОВА" / ПОВЕСТЬ БИРГИТ ВАНДЕРБЕКЕ "К АЛЬБЕРТЕ ПРИДЕТ ЛЮБОВНИК" / СТИХИ Ч.К.УИЛЬЯМСА / ЭССЕИСТИКА ДЭВИДА ЛОДЖА / "ИЗ ЖИЗНИ РАЙСКОГО САДА": СТИХИ БОЛГАРСКИХ ПОЭТОВ / ДМИТРИЙ ЗАТОНСКИЙ О ГЮНТЕРЕ ГРАССЕ / АПОЛЛОН ДАВИДСОН О ДЖ.М.КУТЗЕЕ

Основан в 1891 году

[12]

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

2001

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Ромен Гари. *Повинная голова.* Роман. Перевод с французского Ирины Кузнецовой

87 *"Из жизни райского сада".* Стихи болгарских поэтов. Перевод с болгарского Натэллы Горской. Вступление Маи Тарасовой

96 Биргит Вандербеке. *К Альберте придет любовник.* Повесть. Перевод с немецкого Е. Соколовой

144 Ч. К. Уильямс. *Стихи.* Перевод с английского Дмитрия Веденяпина

Документальная проза

151 Жоэль Норман, Пьер Донсьо. *Воспоминания повара Елисейского дворца. Французская кухня пяти президентов.* Фрагменты книги. Перевод с французского Анастасии Лестер

Круглый стол

172 *Ромен Гари: жизнь еще впереди?*

Статьи, эссе

190 Дэвид Лодж. *Разные жизни Грэма Грина.* Перевод с английского О. Макаровой

217 Дмитрий Затонский. *"Жестяной барабан" Гюнтера Грасса, или Понимаем ли мы мир, посреди которого существуем?*

Возвращаясь
к напечатанному

229 Аполлон Давидсон. *Что это? Предостережение миру?*

238 Павел Грушко. *"Перевод – это обмен жизнями..."* К восьмидесятилетию Льва Гинзбурга (1921—1980)

240 Курьер "ИЛ"

244 Авторы номера

247 Содержание журнала "Иностранная литература" за 2001 год, № 1—12

253 Анкета для читателей

© "Иностранная литература", 2001

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Е. Д. Богатыренко
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Из общего тиража Институт "Открытое общество" ежемесячно выкупает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 1 700 экземпляров; Министерство культуры РФ выкупает для библиотек 800 экземпляров; финансовую поддержку журналу оказывает также Министерство печати РФ.

Ромен Гари

Повинная голова

Роман

Перевод с французского Ирины Кузнецовой

...Для романиста, хотя прямо это не говорится, фигура пикаро несет двойную нагрузку: это как бы зеркало на пути Истории и одновременно бунтарь, восстающий против всесилия Власти во всех ее формах, которую он либо дурачит, либо выставляет на посмешище, не имея других способов бороться с ней по-настоящему.

Стефан Сахада. *Происхождение романа*

Мычащая душа

Чонг Фат удрученно взирал на оборванца: это был момент горестного братства, когда человек, видя падение ближнего, чувствует, что затронута и его собственная честь. Кон стоял с пристыженным видом, опустив голову и пряча руки за спиной: он только что утратил право носить имя, под которым до сих пор фигурировал в энциклопедии "Ларусс" – прямоходящее млекопитающее.

Отпираться не имело смысла: китаец накрыл его на месте преступления. Кон забрался в кухню через окно, однако холодильник оказался заперт на ключ, и когда Чонг Фат вышел на шум с веером в руке, со спу-

© Éditions Gallimard, 1968, 1980
© И. Кузнецова. Перевод, 2001
Роман печатается в сокращении. Полный текст готовится к публикации в издательстве "Иностранка".

щенными подтяжками и голым пузом, выпиравшим из расстегнутых штанов, он застал американца на четвереньках, лакающим жидкую кашу из плошки, которую владелец ресторана "Поль Гоген. Настоящая кантонская кухня" оставлял по вечерам для котенка.

Чонг Фат скорее всего не читал труд Шпенглера о закате западной цивилизации и глубоко опечалился, увидев американского гражданина в такой недостойной позе.

— Стыдитесь, господин Кон. Соединенные Штаты — великая держава. И американец, который позволяет себе так опускаться на островах Тихого океана, в то время как его отечество героически сражается, чтобы сдержать натиск красных...

— Желтых, — шепнул Кон.

— Коммунистов, — сурово поправил китаец.

Французский подданный и убежденный голлист, Чонг Фат говорил с сильным корсиканским акцентом, который многие поколения жандармов и таможенников насадили, словно экзотические цветы, в разных уголках Таити, где преобладало произношение бургундское и овернское.

— Нам всем стыдно за вас, господин Кон. Не забывайте, что каждый американец является здесь в каком-то смысле посланцем своей страны. А судьба свободного мира зависит сегодня от престижа Соединенных Штатов. Вам следовало бы это знать.

Потупившись и чертя ногой круги на полу, Кон изображал стыд за звездно-полосатый флаг. Надо уважать убеждения ближнего, особенно если вы только что взломали его кассу и завладели порядочной суммой.

— Здесь, на Таити, моральное падение белого человека не может остаться незамеченным, — заключил китаец.

Да уж, подумал Кон. Надо было мне ехать во Вьетнам, там это не так бросается в глаза.

— Подумать только, есть кошачий корм!

Кон убедительно изображал полное нравственное одичание. Главное — выиграть время. Услышав шаги китайца на лестнице, он быстро задвинул ящик-кассу, успел каким-то чудом выскочить в кухню, опуститься на пол и схватить кошачью плошку. Он почесал внизу живота, в который раз дав себе слово зайти в аптеку и купить серую мазь. Не следует никогда забывать о братьях наших меньших.

— Извините, — сказал он тактично, как принято между благовоспитанными людьми, продолжая яростно чесаться. — Я где-то подцепил лобковых вшей.

— Вы совершенно отвратительны, — сморщился Чонг Фат.

Кон был польщен. Он всю жизнь страдал от неутоленной жажды совершенства.

Он глядел на кошачью миску, которую Чонг Фат с негодованием совал ему под нос, и думал: неужели вот такая жидкая каша останется в недалеком будущем от китайского народа, равно как от русского и американского? С тех пор как он недавно открыл по рассеянности газету, он никак не мог освободиться от бремени своих новых преступлений. В Пекине он именем "культурной революции" вбивал колья в рот старым профессорам — "мандаринам" — и перерезáл сухожилия танцовщицам "западного" русского балета. На своей социалистической родине он отправил в ГУЛАГ еще несколько диссидентов, огласил с трибуны ООН, с точностью до десятых и сотых, сколько миллионов детей должны в ближайшем будущем умереть с голоду в Азии и Африке, и попутно продол-

жал отравлять землю радиоактивными отходами. Даже здесь, в Полинезии, он ожидал со дня на день взрыва созданной им ядерной бомбы, которую готовили к испытаниям на атолле Мурароа[1]. Так было всегда: мир наваливался на него всей своей тяжестью, едва он переставал заниматься любовью.

Но напрасно Кон искал покоя в бродяжничестве и прятался от самого себя, надеясь забыться, — в глубине его сознания потребность видеть человечество достойным этого звания оставалась все такой же мучительной и неотступной. Порой он даже задавался вопросом, не есть ли его ерничанье своего рода мычание души, испытание огнем[2], которому он подвергал свою внутреннюю веру, чтобы она всякий раз выходила из него победоносной, окрепшей и непоколебимой.

Мне не хватает голоса, подумал он, рисуя большим пальцем на полу ноль. Только наш брат Океан[3] способен говорить от имени человека.

За окном, распахнутым настежь, запахи сада растворялись в нежности тихой ночи, и природа, казалось, знать ничего не знала о своих сыновьях, оставивших ее.

Пикаро

Кон, который звался вовсе не Кон и был вовсе не американец, мечтал сравниться в циничной беспечности с испанскими плутами-авантюристами Золотого века, прозванными "пикаро". Первым из них, как утверждает некий Посада из университета в Саламанке, был Хуан Вальдес, псевдоконкистадор, псевдонунций и много еще чего псевдо, повешенный в 1602 году; народ любовно именовал его hijo de puta[4], и легенды о его подвигах долго жили в Кастилии, передавались из уст в уста и без конца сочинялись заново. Пикаро вели приятную жизнь за счет испанской казны более полутора веков, меняя имена чаще, чем сорочки, и оставаясь в каждой новой ипостаси не дольше, чем требовалось, чтобы украсть кошелек или соблазнить девушку. Это были веселые плуты без чести и совести, пройдохи, дурачившие власть и всех ее представителей без разбора: королей, сеньоров, церковников, богачей, военных. Кон жаждал уподобиться им, вновь отыскать живительную струю удачи, беззаботности и веселой насмешки. Но несмотря на все старания, ему не удавалось достичь подлинной непосредственности, и он постоянно ощущал себя самозванцем: за всеми его плутнями крылось внутреннее смятение и он ясно слышал в них несносное идеалистическое мычание. Стоило бежать на Таити! Он нес мир на своих плечах, куда бы ни шел, и ноша эта была для него непосильна.

Чонг Фат продолжал его распекать, но Кон давно уже не слушал. Несколько дней назад он не устоял перед искушением и стащил в книжной лавке "Майн кампф" Мао Цзэдуна[5]. С тех пор его мучили кишечные колики и рвота, которые он приписывал не только действию маленькой

1. Мурароа — остров архипелага Туамоту, где Франция в 1964 и 1968 гг. проводила ядерные испытания. (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. перев.*)
2. Фаларис, тиран из Акраганта (Сицилия), правивший в VI в. до н. э., согласно преданию, сжигал врагов заживо в бронзовом быке. Доносившиеся наружу вопли казнимых напоминали мычание.
3. "Брат Океан" — цикл романов Р. Гари, в который входит "Повинная голова".
4. Сукин сын (*исп.*).
5. Скорее всего, имеется в виду цитатник Мао Цзэдуна, популярный в 60-е годы среди западных маоистов.

красной книжечки, которую имел неосторожность проглотить, но и фразе, произнесенной Мао позднее, с высоты своего олимпийского величия: "Войны — это всего лишь мелкие эпизоды..." От одного этого человек может начать есть дерьмо, не то что кошачью кашу.

Кона вдруг охватило такое ощущение бессилия — бессилия бесконечно малого перед величайшей силой всех времен, Глупостью, — что от сочетания ярости с затянувшимся воздержанием он испытал недурную эрекцию, словно благосклонная природа хотела развеять его сомнения в собственных возможностях. "Войны — это всего лишь мелкие эпизоды..."

Временами Кон думал, что люди должны поставить ему когда-нибудь памятник. Да, он лодырь, распутник и вор, зато он не совершил ничего великого и за одно это заслуживает благодарности потомков. Придет день, когда матери будут приводить детей к его статуе и говорить: "Посмотри хорошенько! Этот, слава богу, *ничего не сделал для человечества.*"

Из глубины ночи послышался рокот Океана вокруг кораллового рифа, и Кон, как всегда, когда слышал этот дружественный голос, с облегчением почувствовал, что его состояние понято и выражено.

Он поднял глаза.

— Хватит, Чонг Фат, — рявкнул он. — Я уже давно зарабатываю на жизнь тем, что являю народам третьего мира поучительную картину упадка Запада. И я не первый, кто до этого додумался. До того как приехать сюда, я провел восхитительный месяц, побираясь перед посольством Соединенных Штатов в Нигерии. Я стоял на тротуаре с протянутой рукой: "Подайте обнищавшему белому..." И кстати, я считаю, что таким образом поддерживал африканцев. Это поднимало их моральный дух. В конце концов американский посол назначил мне ренту, пятьдесят долларов в неделю, чтобы я перебрался попрошайничать к посольству Франции... Но, к сожалению, "Геральд трибюн" разгласила мою выдумку...

Такое действительно было. И примерно в тот же период газеты писали еще о двух пикаро, которые процветали многие годы, утверждая, будто это они сбросили атомную бомбу на Хиросиму и теперь не могут справиться с угрызениями совести. Один из них, получая по шестьсот долларов за лекцию, открыл в Сан-Франциско магазин сувениров Хиросимы, которые с большой выгодой продавал чувствительным душам. К счастью, он успел вовремя смыться, зато второй оказался на нарах, потому что парень, который действительно бомбил Хиросиму, подал на него в суд и потребовал возмещения убытков.

— А потом я переехал на Таити, чтобы демонстрировать падение и разложение Запада в более приятном климате. И когда я встаю на четвереньки и жру корм вашего котенка, вы должны меня благодарить. Это же конец белой расы. Пробил час Китая. Привет!

Махнув на прощание рукой, он перескочил через подоконник, унося в кармане тридцать тысяч франков из кассы.

Налог на Гогена

Таитянская ночь, которую именовали "покровительницей ласк" во времена, когда вещи еще называли своими именами, осыпала его своими милостями. Всякий раз, когда она принимала его в объятия, Кону казалось, что он попал в воздушный гарем, где невидимые наложницы вьются вокруг него, расточая едва ощутимые знаки любви и заботы; он

чувствовал себя окруженным некоей изначальной женственностью, состоящей из нежности, тайного трепета, прикосновений, вздохов и многообещающих нашептываний. Состояние благодати достигалось мгновенно, оставалось только ждать явления вахинэ[1]. Так таитянская ночь исполняла свои обязанности по пробуждению чувственности, возложенные на нее древними истинными богами.

Китаец, конечно, до завтра денег не хватится, а к тому времени они уже будут приятнейшим образом потрачены. Половину Кон намеревался отложить на покупку красок, хотя и считал это напрасной тратой. Полотна, которые он подписывал Чингис-Кон (этот псевдоним он принял в память о другом известном смутьяне — комике из кабаре и еврее по национальности, расстрелянном немцами во время войны, — чувствуя себя, в каком-то смысле, его реинкарнацией[2]), писали ученики из мастерской Паавы. Но туристы, посещавшие "Дом Наслаждения"[3], ожидали найти там "творческую" обстановку, посему приходилось держать разбросанные на видных местах тюбики с краской и несколько "незавершенных" холстов.

Кон открыл эту золотую жилу почти сразу по прибытии на остров, полтора года назад: таитяне жили в атмосфере культа Гогена, своеобразной смеси гордости и чувства вины. Когда-то они бросили его подыхать в нищете, среди всеобщего равнодушия, бесконечных неприятностей с полицией и властями, не говоря уж о лютой ненависти миссионеров, последний из которых, преподобный Анри де Лаборд, проживший дольше остальных, писал через тридцать лет после смерти художника: "Хотелось бы, чтобы об этой жалкой личности перестали наконец говорить". Теперь здесь благоговейно чтили память того, чьи картины, растиражированные в репродукциях и открытках, оказались так полезны для создания таитянского мифа и развития туризма в "земном раю".

Короче, пустовала отличная вакансия, и Кон решил ее занять, чувствуя себя в амплуа Гогена весьма комфортно. Он задумал обложить Таити податью, которую окрестил "налогом на Гогена", и, несмотря на конкуренцию, недурно преуспевал — благодаря, главным образом, своей внешности и предосудительному образу жизни. Фуражка капитана дальнего плавания, золотая серьга в ухе, пиратская борода и испепеляющий взгляд необычайно импонировали туристам. Весь остров знал фарэ[4] художника в нескольких километрах от Пунаауиа, с двумя деревянными эротическими скульптурами — точными копиями тех, что Гоген установил перед своим жилищем в Атуоне к великому негодованию епископа Маркизских островов. "Дом Наслаждения" Кона сохранил от оригинала только название, но директор туристического агентства "Транстропики" Бизьен намеревался в ближайшее время реконструировать подлинный дом Гогена на линии туристического маршрута, разработку которого он как раз завершал. На местных жителей распутство Кона, его скотские повадки, нелады с властями и ненормативная лексика тоже производили наилучшее впечатление, вполне соответствовавшее немеркнущему воспоминанию о его великом предшественнике, а также лубочному представлению о "про́клятом художнике" и "непризнанном гении". Для пущего правдоподобия

1. От таитянского vahine — женщина.
2. Имеется в виду герой романа Р. Гари "Пляска Чингис-Кона" (в русском переводе "Пляска Чингиз-Хаима". СПб., Симпозиум, 2000).
3. Так Гоген назвал свой дом на Маркизских островах.
4. От таитянского fare — дом.

Кон время от времени выставлял в Папеэте какую-нибудь богопротивную мазню, собственноручно им сотворенную, которая так шокировала добропорядочных обывателей, что полная безнаказанность была ему гарантирована: никому неохота было связываться с еще одним Гогеном.

Таким образом, мнение, будто люди склонны повторять старые ошибки и не умеют извлекать уроков из истории, не всегда соответствует действительности.

Кону не сразу пришла в голову идея "налога на Гогена". В первые месяцы жизни на Таити турагентство платило ему по двадцать франков в день за то, что он исполнял перед туристами роль "бродяги с южных островов" — это безотказно действовало на европейцев, воспитанных в духе романтики путешествий и начитавшихся книжек об экзотических странах. Кон подошел к делу творчески и обогатил образ, внеся в него кое-что от себя, чем снискал глубокое уважение Бизьена. Он изображал типичного персонажа современной истории: "бывшего". Бывший соратник Кастро по Сьерра-Маэстра, утративший революционные иллюзии и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, влачит жалкое существование; бывший талантливый ученый, разочарованный в науке, которая свернула на путь гибельных ядерных экспериментов, и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, влачит жалкое существование; бывший коммунист, разорвавший после Будапешта партийный билет и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, влачит жалкое существование; бывший режиссер из Голливуда, продавший свой талант и бежавший на Таити, где теперь, с разбитым сердцем... Бизьена восхищала легкость, с которой Кон изобретал, повинуясь капризам настроения, все новых и новых "бывших", сидя за столиком кафе, где экскурсовод Пуччони, дабы отметить "случайную встречу", угощал бродягу с южных островов, а тот за даровую выпивку рассказывал о себе — после долгих уговоров, нехотя, под сочувственными взглядами иностранцев. И не было случая, чтобы преисполненные сострадания слушатели не вручили несколько купюр своему гиду, чтобы тот тактично передал их "бедняге". Подлец Пуччони взимал с этой суммы двадцать процентов комиссионных, что Кон расценивал как проявление глубокой безнравственности.

И даже теперь, хотя Кон уже давно работал Гогеном, его все еще тянуло иногда поимпровизировать перед публикой — это случалось, как правило, в тягостные минуты, когда он вдруг оказывался наедине с самим собой и со своим подлинным прошлым — тем, от которого он бежал на Таити, где теперь, с разбитым сердцем, влачил жалкое существование...

Отправившись за своим мотоциклом, оставленным недалеко от Гранд-отеля, Кон шел по улице Поля Гогена, мимо лицея Поля Гогена и площадки, где начиналось строительство музея Поля Гогена. Меж тем пятьдесят лет назад братья из католической миссии и епископ Мартен именовали "жалкую личность" не иначе как Поль Гаден.

Шум прибоя всегда казался ночью более грозным и яростным, может быть потому, что Океану передавалась тревога людей. Млечный путь распластывал по волнам шлейф своих световых лет, и Океан мерцал легкими блестками, сыпавшимися с неба, словно монетки разменной вечности. Лагуна, мачты шхун и кокосовые пальмы островка Моту Ута наслаждались покоем в лунном свете. А где-то под всем этим спал вулкан, давший некогда жизнь Таити и потухший в незапамятные времена, напоминая Кону все померкшие огни былых распрей и истощившихся надежд. Из них-то и образуются впоследствии камни.

Со стороны бидонвиля, мешаясь с рокотом прибоя, неслись крики, музыка и смех таитян и китайцев, праздновавших взятие Бастилии парижанами. Эти звуки вызывали у Кона зуд в ногах. Ему не терпелось пуститься в пляс.

Он уже сидел на белом мотоцикле с широким, точно крылья, рулем, вызывавшим у него порой ощущение, будто он Георгий Победоносец и сейчас отправится на поиски дракона, как вдруг рядом затормозил хорошо знакомый "ситроен".

У сидящего на водительском месте Рикманса был хитрый, всезнающий, преисполненный самодовольства взгляд законченного кретина и прямой пробор ровно посредине непроходимо тупой головы. Даже в темноте глаза его искрились глупостью. Кон считал его достойным преемником жандарма Шарпийе, который некогда составил знаменитый протокол, где обвинял Гогена в езде по городу "на транспортном средстве без габаритных огней" — в ту пору это была единственный экипаж с лошадью на всем архипелаге. Впрочем, Кон не держал зла на Рикманса за то, что произошло семьдесят лет назад. Гоген тогда был единственным художником на Маркизских островах, а Шарпийе — единственным жандармом. Они не могли не встретиться.

— У вас будут крупные неприятности, Кон.

— У меня крупные неприятности уже две тысячи лет. Идите к чертовой матери!

Когда Кон выходил из себя, его закипавшая ярость давала о себе знать львиным рыком. Сидя на мотоцикле, держа одну ногу на земле, другую на педали, без всякой иной причины, кроме ощущения бессилия, Кон своим basso profondo[1] принялся извергать проклятия, адресованные Рикмансу лишь постольку, поскольку тот имел уши. Кон сбежал на Таити, чтобы ни в чем не участвовать, и главной его заповедью было ни в коем случае не читать газет. Но он стал жертвой обстоятельств. Торопясь по нужде, он схватил первый попавшийся номер "Франс-суар" у китайца из Фии и устроился под гуаявами, с великолепным видом на бухту Манурева. Спустив штаны и присев орлом, он, в ожидании событий, машинально бросил взгляд на приготовленную газету. И на первой же странице узнал, что он продолжает резню в Камбодже, недавно отравил газом йеменских детей, а в Пекине насмерть забил ногами старика, который осмелился, несмотря на "культурную революцию", хранить дома партитуру Бетховена. На странице три Кону сообщали, что он сумел создать бактериологическое оружие нового поколения, а также газы нервно-паралитического действия, а на странице пять — что он участвовал в марше протеста вместе с чикагскими неграми, крича: "Смерть белым собакам!", и вместе с белыми, крича: "Смерть черным собакам!", так что на одного человека собак получалось многовато. Кон пришел в такое бешенство, что у него напрочь отказали функции кишечника, и он потом чуть не отравился слабительным.

И вот теперь Кон орал не своим голосом. Что именно — значения не имело, лишь бы выпустить пар. Не было места ни живописи, ни музыке, ни литературе перед лицом Силы, оставался лишь нечленораздельный вопль, рев первобытного ужаса, вновь возрождавшегося в нем. Могущество крика, как утверждал Кафка, столь велико, что способно сокрушить античеловеческие законы. Но, плюнув в лицо центуриону Флавию, воздвигшему крест, Иисус закричал — и продолжает кричать по сей

1. Бас-профундо (*итал.*).

день, с той самой минуты, как палач вбил первый гвоздь в Его правую длань, и, когда Кон пытался сосчитать гвозди, вбитые в тело Христа на протяжении двух тысячелетий, ему становилось ясно, для чего люди придумали электронно-вычислительную технику.

Рикманс вытаращил на него глаза.

— Что это с вами?

Но Кон уже успокоился. Могущество крика, о котором говорил Кафка, было иллюзией, однако сам крик приносил облегчение. Расчищались дыхательные пути. Неплохое упражнение по системе йогов.

— С чего вы так разорались?

Кон сурово взглянул на полицейского.

— С каких это пор, чтобы орать, нужна причина? — осведомился он.

Ласковый воздух изливал на них свою благоуханную нежность, и с ветвей на их повинные головы сыпались алые лепестки. Природа сжалилась над ними. Дыхание ночи расточало бесчисленные щедроты. Незримые мотыльки тыкались им в лицо, а светлячки окружали мерцанием земных звезд. Океан смолк, и от имени Кона говорить стало некому.

— Мне доложили, что вы опять позировали для порнографических снимков. Я же предупреждал, что если это повторится...

— Я не позировал. Меня сфотографировали без моего ведома. Я не знал. Я тихо блаженствовал. Пуччони неожиданно привел туристов в мое фарэ. Я стоял к ним спиной, занимался этим стоя...

— Но вы потребовали с них деньги!

— Из принципа. Нечего снимать меня без спросу, да еще в такой момент. Безобразие! Сущее бесстыдство! Они обязаны были попросить разрешения.

В этой истории с фотографиями не было ни слова правды. Очередной навет мерзавца Вердуйе. Но Кон и не думал отпираться, наоборот: каждый такой факт работал на его репутацию. Вносил дополнительный оттенок подлинности в образ опустившегося бродяги без чести и совести, каковым он стремился выглядеть на Таити. Лучшей маскировки не придумаешь. Люди не подозревали, кто он на самом деле, и Кон чувствовал себя в безопасности. Конечно, хорошая амнезия не помешала бы, но нельзя хотеть от жизни всего. Он глумливо подмигнул Рикмансу и укатил.

Таити, восход солнца

Бидонвиль тянулся вдоль пляжа на выезде из Папеэте в сторону Пунаауиа, и на много километров вокруг стоял запах человеческих тел. Это был хороший, честный запах, откровенно оповещавший о своем происхождении. В каждой лачуге оркестр играл тамуре[1], не имея никаких музыкальных амбиций и стремясь лишь не рухнуть от изнеможения раньше танцующих. Кон отыскал Мееву в "Рике", где оставил ее ненадолго одну, чтобы добыть в кассе Чонг Фата денег для празднества. Он схватил ее за руку и пустился в пляс, раскорячившись по-лягушачьи, виляя бедрами и постепенно совершая поворот на триста шестьдесят градусов, в то время как Меева, не сходя с места, бешено вертела задом, извиваясь в древнем танце, который некогда, во времена невинности и простоты нравов, исполнялся вокруг мужского полового орга-

1. Тамуре — полинезийский танец.

на, пребывавшего в глубинах своей извечной родины, а его обладатель, затаив дыхание, сдерживался изо всех сил сколько мог, пока наконец, дав себе волю, не уступал место следующему. Капитанская фуражка давно слетела, Кон веселился на полную катушку: глаза блестели, борода была устремлена вперед, ягодицы — назад, улыбка прочно обосновалась под гордым, победоносно торчавшим носом, кстати, полностью измененным с помощью пластической операции, в ухе болталась золотая серьга, из-под ног летели комья земли, гениталии тряслись от непрерывного кругового движения, он жмурился время от времени, отдавая все лицо улыбке, почесывал лобок, дабы усмирить насекомых, или, подцепив со стола бутылку, лил вино себе в рот, не переставая ни на миг тамурировать, хватая мимоходом за попку какую-нибудь таитянку, чтобы взбодриться, и истекая по́том под несмолкаемый треск фотоаппаратов в руках туристов, счастливых оттого, что могут запечатлеть в естественной обстановке "бродягу с южных островов". Так Кон плясал и плясал, останавливаясь лишь раз в час, чтобы увлечь Мееву на пляж, где освобождался с помощью оргазма от остатков сожженной вьетнамской деревни, ядерного паритета или очередной гнусной акции хунвейбинов. Отдышавшись, он бросался прямо в одежде в Океан, а потом снова возвращался на праздник: танцуя, Кон испытывал чувство такой свободы и беззаботности, такого веселья и радости жизни, что в эти минуты действительно не имел ничего общего с человечеством.

За столиком в полном одиночестве сидел с неприступным видом Барон — так Кон прозвал этого идеального джентльмена, который был до такой степени невозмутим и ко всему безучастен, что, казалось, недавно спустился с небес и случайно попал прямо на таитянский праздник. Костюм в клетку, канареечного цвета жилет, бабочка, серый котелок, не говоря уже о лаковых туфлях, гетрах, перчатках и тросточке, сверкали ослепительной чистотой, и всякий раз, когда он попадался Кону на глаза во время очередного пируэта, у оборванца на мгновение возникала мысль о Боге — на мгновение, потому что у человека нашей эпохи, кровавой и свинской, подобные мысли не удерживаются в голове дольше секунды. Но столь безупречная чистота в сочетании с полной отрешенностью и бесстрастием не могла вызывать никаких иных ассоциаций. Он был чист до такой степени, что в нем не ощущалось ничего человеческого.

Никто не знал, кто такой на самом деле этот Барон, и даже факт его существования, вследствие полного самоустранения и отказа участвовать в чем бы то ни было, начинал вызывать сомнения. Время от времени Кон дружески кивал ему издали, но ответа не удостаивался, как не удостаивается ответа свыше какой-нибудь ревностный католик, коленопреклоненно возносящий молитвы в деревенской церкви все пятьдесят лет своей жизни.

Около пяти утра Кон снова потащил Мееву на пляж, но на сей раз уже не смог оказаться на должной высоте. Он совершенно изнемог. Так он и лежал лицом вверх на песке, глядя на звезды. Иногда какая-нибудь из них падала. Но в принципе они были подвешены надежно и держались крепко, что заставило его подумать о вшах.

— Напомни мне завтра купить мазь. Не представляю, где я мог подцепить эту дрянь. Ни одного сантиметра чистого не осталось на этом острове.

Занимался день, небо потихоньку освобождалось от желтушной тьмы. Белое полотно прибоя поднялось, вздулось и исчезло в черных руках разомкнутого кораллового кольца: так каждый день остров облачался на заре в свежую сорочку. Океан постепенно вновь обретал свой утренний голос. Пирога с рыбаками выскользнула из-под кокосовых пальм, пересекла прибрежную отмель и застыла, словно повиснув в некоем отдельном мире, который являл собою уже не ночь, но еще и не день, не Океан и не небо. Это была специальная предрассветная пирога, которую "Транстропики" высылали в этот час, чтобы потешить взор туристов при пробуждении. Само небо, казалось, спешило, чтобы не опоздать на встречу с "чарующими рассветами", обещанными во всех рекламных проспектах: оно торопливо подпускало розоватые, золотистые, оранжевые оттенки всюду, куда положено, достигая восхитительных результатов.

— Ах, старая шлюха! — ласково шепнул Кон, задрав голову.

— Не смей так со мной разговаривать! — возмутилась Меева. — Моя прабабка спала с самим королем Помаре Пятым[1], про это в книжках написано!

— Это я не с тобой, а с небом, — ответил Кон.

Нервная усталость проходила, силы возвращались. Он поиграл сначала с этой мыслью, потом с Меевой, которая тут же помогла ему своим свежим язычком, той удивительной прохладной влагой, которая лишь распаляет огонь. Пирога, картинно стоявшая на фоне зари, его раздражала: все-таки надо иметь хоть каплю стыда! "Транстропики" потеряли чувство меры. Чересчур расстарались. Меева тоже, и ему пришлось слегка ее придержать. Он не спешил снова оказаться на no man's land[2], где человек пребывает в состоянии беспомощного ожидания, пока над ним смилостивятся законы природы. Законами природы он был сыт по горло.

— Погоди, мы сейчас займемся этим все вместе...

— Как это все вместе?

— Ты, я, небо, Океан. Еще несколько минут, и будет очень красиво... Смотри, там, над Муреа, все уже красно-зеленое...

— Кон, а ты можешь посмотреть на меня, просто так, для разнообразия?

— Подожди, говорю тебе, мы сейчас возьмем в компанию небо и Океан...

— Ах так, меня одной тебе мало!

— Тьфу, черт! Не понимаешь ты творческую душу!

— Почему, очень даже понимаю. У меня есть глаза. Я на нее уже давно смотрю, на твою творческую душу. Не спорю, она очень красивая.

— Ага, есть, вот оно, солнце, поехали...

— Дались тебе эти красоты, Кон. Ты же все равно закрываешь глаза, когда кончаешь.

Он подложил руки ей под ягодицы. Нет, никто его не переубедит: счастье на земле есть. У него были полные руки счастья, и он уже готовился издать ликующий рев, как вдруг почувствовал, что Меева отвлеклась.

— Смотри, какой-то тип нас снимает.

Кон повернул голову. Под кокосовой пальмой он увидел попаа[3], уткнувшегося в видоискатель фотоаппарата.

1. Помаре V — последний король Таити, правил с 1877 по 1880 г. В 1880 г. Таити был объявлен французской колонией.
2. Ничейная земля (*англ.*).
3. От таитянского рора'ā — белый человек.

— Да что ж это такое? — возмутился Кон. — Не стало никакой возможности спокойно трахаться, обязательно поблизости окажется какой-нибудь придурок с фотоаппаратом! Вот ублюдки, они добьются того, что у меня будут комплексы. И я уже не смогу без фотографов!

Он высвободился.

— Эй, вы там! — крикнул он.

Незнакомец поднял голову. Маленький туристик, щуплый и печальный, в белых носках и шортах-бермудах. Он выглядел смущенным.

— Извините, пожалуйста, — пролепетал он и снял шляпу. — Я хотел сфотографировать, как солнце встает.

— Весьма польщен, — отозвался Кон. — Сфотографируйте и покажите вашей жене. Пусть хоть знает, что такое бывает.

Турист нервно хихикнул и исчез. Кон посмотрел ему вслед. На миг возникло дурное предчувствие и тут же рассеялось. Филёр? Да нет, исключено. Ведь он избавился даже от отпечатков пальцев, а лицо ему хирург в Каракасе изменил до неузнаваемости.

— Ну, мы топопо или мы не топопо? — нетерпеливо спросила Меева.

— Мы топопо, — решительно ответил Кон.

И отвернулся от своих преступлений.

От Кона святым отцам

Кон был настроен решительно: он не желал больше терпеть козни Вердуйе, настало время положить этому конец. Несколько дней назад он потребовал, чтобы Бизьен выбирал: Вердуйе или он. И директор "Транстропиков" вызвал их обоих для разговора.

В десять утра Кон сел на мотоцикл, чтобы прибыть к назначенному часу в турагентство, где должно было состояться окончательное объяснение между ним, Вердуйе и Бизьеном. Но не успел он отъехать, как у него лопнула шина. Кон отвел мотоцикл к фарэ и решил голосовать на дороге, ведущей в Папеэте, однако на острове его все хорошо знали и, едва завидев, жали на газ. Так он стоял около получаса, пока вдали не появился мопед, на котором маячила фигура в белом: оказалось, молодой доминиканец, отец Тамил.

Тамилу было не больше тридцати, но Кон боялся его как чумы: он никогда не знал, чего ждать от преподобного отца, имевшего диплом агреже[1] по филологии. К тому же он как-то странно поглядывал на Кона, и Кона это тревожило. Он постоянно опасался, что его узнают. Это было чисто нервное. Он уселся сзади, заняв место привязанного к багажнику цыпленка, которого положил перед собой.

— Ну как? — спросил он монаха.

Накануне Кон предпринял своеобразную попытку примирить Гогена с его заклятым врагом монсеньером Татеном, иначе говоря, чувственное жизнелюбие с католической церковью. Он принес в дар школе при миссии одно из своих "полотен" — в надежде, как выразился он в сопроводительном письме, "увидеть его висящим на том месте, в коем некогда было отказано знаменитой картине моего учителя "И золото их тел". Эта картина была написана Гогеном во время его безнадежной борьбы с властями за

1. Человек, сдавший специальные экзамены и получивший право преподавать в лицее или в высшем учебном заведении Франции.

отмену распоряжения, запрещавшего таитянкам не только ходить с обнаженной грудью, но даже носить парео. В наивности своей художник придумал следующую военную хитрость: попытаться заставить школу при миссии принять от него в дар "И золото их тел", — если это получится, то бой за наготу туземных женщин будет наполовину выигран.

— Поздравляю, — сказал доминиканец. — Ваша картина благосклонно принята.

И он вкратце рассказал, как все происходило. Накануне Татен вызвал его на совещание миссионеров, курировавших школьное обучение. Самые почтенные из них — преподобные отцы Зик, Сафран и Этли — насчитывали вместе около двухсот тридцати лет. Явившись, Тамил застал их в полном смятении. Несмотря на преклонный возраст, все трое сновали по кабинету на удивление проворно, но как-то смущенно и беспокойно, напоминая трех белых кроликов. Общими усилиями они отволокли к окну огромный пакет и принялись бережно, хотя и с заметной опаской освобождать его от газет, в которые "дар" был заботливо обернут монашками. Татен, с острой бородой, густыми бровями и проницательным взглядом, которым видел насквозь нечистые души — а он немало их разоблачил на своем веку, — стоял заложив руки за спину и безмятежно смотрел, как разворачивают картину. Преподобный Зик нервно развязал последнюю бечевку, преподобный Сафран снял последний лист газеты, а преподобный Этли, пятясь, забормотал молитву, явно готовясь к худшему. Тамил, засунув руки в карманы, подошел к распахнутому окну с видом на Океан и, отвернувшись, чтобы скрыть душивший его смех, погрузился в созерцание того, что люди именуют безбрежным пространством. Картина была уже полностью освобождена от бумаги. Татен внимательно ее осмотрел.

— Ну и что? — спросил он наконец ворчливым тоном. — С чего вы так переполошились? Что вы тут нашли ужасного? Это современное искусство, абстракция. И никакого святотатства я тут не вижу. Не вижу, и всё.

Преподобный Зик, которому было восемьдесят четыре года, нетвердой рукой указал на несколько мест.

— Вот здесь, — пролепетал он, — здесь... и здесь...

— Что здесь? Что вы там увидели? По-моему, тут ровно ничего не изображено. Мешанина красок, преобладают красная и розовая, среди них серые пятна, и всё. Ничего интересного, следовательно, ничего опасного. По крайней мере, это не наведет учащихся на дурные мысли.

— Позвольте-позвольте, — забормотал Сафран с сильным голландским акцентом. — Если вы присмотритесь повнимательней...

— Да они же везде! — воскликнул Зик.

Татен сдвинул брови. Взгляд его стал еще проницательнее.

— Если я и могу здесь что-нибудь разглядеть, то разве что каких-то птичек, довольно скверно нарисованных, которые склоняются над своими гнездами.

— Это не птички! — простонал преподобный Зик.

— И не гнездышки! — прошептал преподобный Сафран.

— А что же это тогда, скажите на милость? Объясните мне, потому что я, видимо, слишком туп.

Доминиканцы притихли.

— Это называется абстрактная живопись, — с напором продолжал епископ. — Она не стремится к сходству с реальностью.

Зик не выдержал.

— Ничего абстрактного здесь нет, — решительно заявил он.

— А что здесь, по-вашему, есть?

— Это очень неумело нарисовано, — забормотал Зик, — но каждому видно...

— Что?

Сафран в отчаянии воздел руки к небу. Некоторое время он пребывал в нерешительности, но все-таки на нем лежала забота о невинных душах, трехстах чистых душах малолетних детей, которые каждое утро наполняли классы своим щебетом. Он отважно подошел к картине и обвел трясущимся указательным пальцем некие контуры. Татен внимательно следил за его движениями, потом пожал плечами и призвал на помощь Тамила.

— Вы тут что-нибудь разбираете?

— Ровно ничего, отец мой.

Епископ вздохнул с облегчением.

— Когда смотришь на абстрактное полотно, — снисходительно заметил он, — ни в коем случае не следует пытаться разглядеть знакомые очертания. Иначе в голову может прийти бог знает что.

— Но нельзя же оставлять эту картину в школе! — взмолился Зик. — Таитянские дети и так слишком рано созревают...

На сей раз Татен слегка растерялся. Кустистые брови сдвинулись, соединившись над переносицей в одну линию, глаза вновь устремились на полотно, и Тамил, давясь от смеха, видел, как почтенный епископ силится направить свое воображение по пути, на который доселе оно еще ни разу не отваживалось вступить. Это длилось довольно долго. Когда Татен отвел наконец взгляд от картины, лицо его выражало одновременно раздражение и любопытство. Он посмотрел на старого доброго Зика строго и осуждающе.

— Хотелось бы знать, что творится у вас в голове. По-моему, вы слишком давно находитесь на Таити, и вам уже начинает мерещиться невесть что...

У Зика слезы стояли в глазах, и Татен смягчился:

— Ну-ну, — проворчал он, — я знаю, что вы мало знакомы с такой живописью, это, разумеется, искусство не религиозное. Но не можем же мы выставлять себя косными консерваторами, невосприимчивыми к современным веяниям. И не надо выискивать в абстракции то, чего там нет.

Снова взглянув на картину, епископ очертил пальцем некое синее пятно.

— Если очень хочется, скажите себе, что это птички, которые вьются над своими гнездами среди густой таитянской листвы... К тому же и цвета здесь вполне гогеновские. Очень удачно.

— Это не птички, — повторил преподобный Зик с чисто германским упрямством. — Это...

— Ну, что?

— Это половые органы, — мрачно сказал Сафран. — Женские и мужские.

Повисло свинцовое молчание, и Тамилу стало слышно, как бурлит Океан над коралловым рифом. Ему вдруг почудилось, будто Океан смеется, и в его смехе звучит хохот Кона. Татен уставился на картину.

— Хм! — изрек он. — Надо же!

Он подозрительно оглядел остальных.

— А вот мне бы никогда такое в голову не пришло!

Сафран стал пунцовым. Зик испустил тяжкий вздох и устремил взор к небесам.

— Давайте разберемся. Где вы это видите?

— Везде, — отозвался Сафран с решимостью человека, которому уже нечего терять.

— Не будете ли вы так бесконечно любезны мне показать?

Преподобный Сафран шагнул к картине и провел по ней пальцем.

— Мы тоже поначалу ничего не заметили, — сказал он, оправдываясь. — Нам дети объяснили. К тому же Кон назвал картину "Земной рай".

Тут уж епископ удивился по-настоящему.

— Ну и что? Что это доказывает?

Сафран хотел было что-то ответить, но не нашелся, дернул кадыком и промолчал.

— Дети просто подшутили над вами!

— А вот я ничего такого не увидел, — похвастался Этли.

Тут Сафран не выдержал. Все знали, что характер у него трудный, чтобы не сказать вздорный, и он явно не собирался в свои семьдесят девять лет, прожив жизнь в благочестии, воздержании и трудах праведных, сносить обвинения в том, что его на старости лет преследуют непотребные видения.

— Это половые органы, — заявил он твердо. — Их ровно двадцать. Мы с отцом Зиком пересчитали. Кон нарочно изобразил их нечетко, чтобы сразу нельзя было догадаться. Безнравственная личность, ведущая возмутительный образ жизни...

Татен поднял руки.

— Ну не станем же мы дважды наступать на те же грабли! Мы повели себя в истории с Гогеном глупее некуда, и уж поверьте, повторения этого я не допущу. Не хотите же вы, чтобы про нас говорили, будто мы как были, так и остались непримиримыми врагами художников и искусства вообще? Ничего предосудительного в картине я не нахожу. Я не компетентен судить о ее художественной ценности, но ходят слухи, что этот человек — гений, и мы не станем брать на себя роль хулителей. Мы живем на Таити, и надо уметь извлекать уроки из прошлого. Как сюда попала картина?

— Господин Кон преподнес ее в дар школе, — объяснил Этли.

— Ее нельзя здесь держать, — вскричал Сафран. — Монашки все просто в ужасе...

— Вы успели обсудить это с монашками? — полюбопытствовал епископ.

Снова воцарилось молчание, тяжелое и виноватое.

Епископ увел Тамила в дальний угол и некоторое время беседовал с ним там вполголоса. Он не питал никаких иллюзий относительно личности Гогена, его воззрений и привычек. Это был закоренелый безбожник, способный на все, и его, разумеется, следовало опасаться, но не упуская из виду соображения более важные. Монсеньер Мартен, епископ Маркизских островов, оказался в свое время на редкость неуклюж в своих взаимоотношениях с Гогеном, и этого ему, Татену, вполне достаточно, чтобы повести себя более тонко. Знание истории необычайно полезно. В сущности, новый Гоген только того и добивается, чтобы церковь выступила против него и дала ему повод клеветать на нее и обвинять в мракобесии. Татен ухмыльнулся в бороду. Как и все высокопоставленные лица Папеэте, он прочел кое-какие труды о жившем некогда на Таити враге порядка, церкви и общества. И не собирался поддержи-

вать легенду о косности церкви и продолжать войну. В сущности, *терпимость* была бы Гогену отнюдь не на руку.

— Мы примем картину, и я поблагодарю художника при первом же удобном случае. Пожалуй, надо показать ее Вьоту, нашему ветеринару, пусть скажет, есть ли там на самом деле то, что вам привиделось. Если есть, мы уберем ее на чердак. Но будем хранить как зеницу ока. Мало ли что! Главное — избежать проблем с этим молодцом. Не хватало еще работать на его легенду, черт побери! Такие люди больше всего на свете любят прошибать лбом стену, а мы возьмем эту стену да и уберем! Когда стены нет, им кажется, будто перед ними то, что они абсолютно не в состоянии перенести, — пустота. Ведь они не видят дальше своего носа. Пустота!

И епископ сочувственно покачал головой.

Мопед с треском и шумом катил по дороге. Кон удовлетворенно слушал рассказ доминиканца. Отлично сработано.

Некоторое время они ехали молча. Океан не отставал, иногда между пальмами мелькала его вытянутая синяя морда или кончик белого уха, а возле лачуг местного бидонвиля женщины, стирая белье, обменивались впечатлениями после киносеанса, точно две тысячи лет назад после казни Христа. Кон так и слышал старые как мир слова: "Может, он и смутьян, но нельзя же такое делать с живым человеком!" Это не мешало им продолжать стирать белье, которое, кстати, все равно не отстирывалось.

Он поискал глазами Океан за кокосовыми пальмами. Всякий раз, видя пляж с нетронутым белым песком, Кон оживал. Он отчаялся потерять надежду. Стоило ему оказаться на берегу Океана, как сразу становилось ясно, что ничто не потеряно безвозвратно и еще можно начать все сначала. Он вспомнил, как всегда в такие моменты, стихи Йейтса, в которых слышалась гулкость первозданного мира, полного неисчерпанных возможностей:

> Я ищу того, кем я был
> До начала времен[1].

— Я сойду здесь.

Доминиканец остановил мопед.

— Господин Кон!

— Что?

— Вы должны смириться. Вся ваша неистовая активность ни к чему не приведет. Я вам больше скажу, она напоминает шаманские заклинания, отчаянные попытки вынудить Отца Небесного как-то проявить себя. Лучше бы вы просто молились, как все люди. Это не так утомительно.

Кон разразился страшными проклятиями, не столько испытывая в этом потребность, сколько из принципа. Вдруг с верхушки одной из пальм сорвался кокосовый орех и пролетел в нескольких сантиметрах от его головы.

— О господи! — вырвалось у него от неожиданности.

Доминиканец рассмеялся.

— Сбор урожая кокосовых орехов при помощи богохульства! Это открывает новые перспективы перед трудовыми массами острова.

Кон чувствовал, что проиграл очко. Он взглянул Тамилу в глаза.

1. Вероятно, имеется в виду стихотворение Йейтса "Ego dominus tuus", которое автор цитирует в вольном французском переводе.

— Пожалуй, я кое-что вам скажу, — пробурчал он, — потому что не выношу, когда церковники возводят чувство виновности к первородному греху. Моя история куда более свежая. Я приехал на Таити, чтобы забыться. Я контужен сотней килограммов бомб, которые сбросил на вьетнамскую деревню, и теперь пытаюсь вытравить это из своей памяти. Погибли двадцать человек — дети, женщины. Вы же знаете самый благородный девиз мужчин: женщин и детей — вперед. Привет!

Кон пошел прочь. Единственная доля правды во всей этой тираде заключалась в том, что Кон тяжело страдал от универсальности своего "я", распространявшегося на все человечество. Тамил описал на мопеде идеально правильный круг и подъехал к нему.

— Отдайте цыпленка.

Для Кона это был нокаут. Он-то думал, что в такой эмоциональный момент доминиканец, расчувствовавшись, забудет про цыпленка. Кон нехотя вернул добычу, но посмотрел на преподобного отца с уважением, допуская, что, возможно, видит перед собой будущего Папу.

Туризм в земном раю

Директор туристического агентства "Транстропики" сидел за письменным столом рядом с гигантским глобусом, увенчанным в районе Арктики белой панамой. Директора звали Эрве Бизьен де Ла Лонжери, и в свои сорок пять лет он был главой фирмы, принимавшей в год около семи миллионов туристов со всего света. Непосредственно над его лысиной, которую он то и дело потирал, будто в надежде высечь искру гения, висел на стене девиз, выгравированный на круглом медном барельефе, изображавшем самого Бизьена в профиль: "If you can't lick them, join them"[1].

Уже больше двух лет он занимался главным образом Таити. Жители загазованных городов мечтали вновь обрести земной рай, и Полинезия стояла на пороге невиданного туристического бума. Но увы, больше пяти дней в земном раю делать было нечего, и проблема, чем заполнить более длительное пребывание на острове, стала головной болью для всех туристических агентств. Таити не оправдывал свой миф. Таитянки старались изо всех сил, но средний возраст приезжих иностранцев колебался вокруг цифры шестьдесят пять, и "чарующие мгновения на жемчужном песке в лунном свете", на которые намекали проспекты, сплошь и рядом оставались лишь мечтой. Между тем усиливалась конкуренция со стороны Гавайских островов, и недавно до Таити донеслась грозная весть, что на Гавайях собираются строить полинезийский Диснейленд, где будет со всей исторической точностью воссоздано прошлое Полинезии: местные тики[2], святилища, древние колдовские обряды.

Но существовало нечто, что Гавайи никак не могли украсть у Таити: это Гоген и мощнейшая даровая реклама, которую он невольно создал "земному раю". Бизьен связывал с Гогеном большие надежды. Он разрабатывал концепцию "страстей" на основе таитянского периода его жизни, со всеми этапами мученического пути "про́клятого художника", вплоть до одинокой смерти в "Доме Наслаждения". Наиболее шокирующие моменты должны быть, разумеется, исключены, такие, например, как ночи с

1. "Если не можешь их сокрушить, присоединись к ним" (*англ.*).
2. Культовая скульптура некоторых полинезийских народов (идолы, божки).

"юными чертовками", о которых он писал: "Они не вылезают из моей постели... Вчера у меня их было сразу три", или история с порнографическими открытками, купленными в Порт-Саиде и развешанными над кроватью великого человека, чье имя носит сегодня лицей в Папеэте.

В данный момент великий промоутер хмуро взирал на стоящих перед ним кандидатов в Гогены. Двух Гогенов на острове держать было нельзя. Для себя-то он выбор уже давно сделал, но Вердуйе — человек нервный, и следовало обойтись с ним помягче. Этот тщедушный живописец не обладал ни подходящим экстерьером, ни нужным темпераментом: маленький, щуплый, неказистый, он никак не соответствовал легендарному образу Гогена и вдобавок искренне верил в свой талант, что крайне осложняло работу с ним: он был несговорчив, обидчив и совершенно не располагал к себе приезжую публику. В его работах имелась даже некоторая самобытность, которая обескураживала и тревожила туристов: это не напоминало им ничего уже известного. Целый год Вердуйе был для Кона как кость в горле. Он и так уже намучался с Эмилем, внебрачным сыном Гогена[1].

Помимо бесспорного физического сходства с отцом, у Эмиля было с ним много общего в характере и столь же буйный темперамент, причем он ловко поддерживал эту легенду. Так, в октябре 1966 года двое жандармов застукали шестидесятипятилетнего Эмиля на пляже, совершающим при лунном свете "развратные действия" с четырнадцатилетней таитянночкой. Против него завели уголовное дело за совращение малолетней, что окончательно утвердило его в статусе преемника, и газеты всего мира написали об этом интереснейшем факте.

Директор "Транстропиков" ликовал. Тут соединились все самые эффектные аспекты таитянского мифа: прямая связь со славным прошлым, как бы ожившим вновь, пляж, кокосовые пальмы, лунный свет и четырнадцатилетняя таитянка, готовая дарить вам свою свежесть, даже если вам стукнуло шестьдесят пять — таков, как уже говорилось, был средний возраст иностранных гостей. Копию протокола, содержавшего описание развратных действий, которые совершал Эмиль Гоген с юной вахинэ, оценили в пять тысяч долларов — эту сумму предложил за нее некий чикагский коллекционер, но ему отказали. Знаменитый протокол остался в архивах: полиция не торгует своим целомудрием.

Эмиля уговорили заняться живописью, и его часто видели в портовых кафе, где он цветными карандашами под стрекот туристических "леек" старательно срисовывал с открыток отцовские картины. Поначалу Кон даже думал с ним объединиться. Ничего не получилось, пришлось ограничиться мирным сосуществованием. Но Вердуйе — это уже слишком! Три Гогена — явный перебор. Директор "Транстропиков" задумчиво смотрел на них, вертя глобус. Рыжий хлюпик нервно почесывал щеки, покрытые рыжеватой щетиной, похожей на филоксеру. И вдруг его прорвало.

— Во-первых, я первый сюда приехал! Во-вторых, мои картины более гогеновские. У меня и палитра, и фактура, и ви́дение мира, как у него, туристы это сразу чувствуют, и я не понимаю, с какой стати должен уступать кому-то свое место. К тому же я работаю сам, а его картины пишут китайцы у Паавы. Но когда я хочу назвать свою мастерскую "Дом Наслаждения", мне, по вашей милости, запрещают городские власти, заявляя, что дом с таким названием уже есть и находится на авеню Генерала де Голля.

1. Эмиль Гоген умер в 1979 г. (*Прим. авт.*)

Кон подошел к столу, выдвинул второй ящик справа, где Бизьен трепетно хранил свои сигары, и взял одну.

— Не отказывайте себе ни в чем, старина, — сказал Бизьен. — Кстати, жена моя сейчас дома одна.

— Нет уж, — отозвался Кон, — не надейтесь. Тут я вам не помощник.

Он обрезал кончик сигары, поднес спичку, выпустил дым и строго указал пальцем на противника:

— Вы бездарность, Вердуйе. Вы даже на собственном лице не умеете изобразить то, что надо. Это вы-то Гоген? Ой, не могу! Вы похожи на блоху, подхватившую насморк.

Вердуйе позеленел — бесспорно, это была его самая большая творческая удача по части цвета.

— Мои работы покупают во всем мире! У меня контракт с "Галери Лафайет"!

— А насчет того, чтобы назвать ваше фарэ "Домом Наслаждения", спросите у любой таитянки из тех, кого вы донимали своими талантами. Говорят, им приходится трудиться целый час, чтобы вы от эскиза перешли к делу, и в результате, даже при гениальных дарованиях крошки Унано, все, чего удается от вас добиться, по мелкости формата уступает разве что китайским миниатюрам.

— Ну-ну, — перебил Бизьен Кона. — Вердуйе имеет полное право на любой формат. Нас это не касается.

Вердуйе чуть не плакал.

— Это мерзкая клевета!

— У вас нет ни капли темперамента! Да какой из вас Гоген...

Бизьен поднял руку, чтобы его унять.

— Позвольте, господин Кон. Должен заметить, что у Вердуйе есть перед вами одно важное преимущество. Он связан с нашим гением родственно-исторической связью.

Вердуйе вспыхнул от удовольствия и скромно потупился.

— Он внучатый племянник жандармского капрала Клаври, изводившего Гогена до последних дней жизни.

— Ух ты черт, не знал! — воскликнул Кон, не сумев скрыть невольное восхищение.

— Вердуйе — наша ценнейшая историческая реликвия, — заключил Бизьен.

Вердуйе светился от гордости.

— Клаври — мой двоюродный дед с материнской стороны, это он привлек Гогена к суду, обвинив в "посягательстве на престиж жандармского корпуса путем оскорблений, грубой брани и провокаций". У меня есть документы, подтверждающие это.

Кон всякий раз испытывал волнение, когда видел перед собой живую ниточку, тянущуюся к одному из великих покойников нашей истории.

Если бы прапрапрапраправнуков Иуды можно было отыскать и доказать их происхождение, они наверняка были бы сегодня нарасхват и за их подписями гонялись бы авторы всех петиций и манифестов. Если бы их звали, к примеру, Гюстав Искариот или Жан-Поль Искариот, они бы бдительно следили за тем, чтобы в мэрии не забывали указать через черточку еще и имя их предка: Жан-Поль Иуда-Искариот, Гюстав Иуда-Искариот, чтобы, не дай бог, не утратить главное фамильное достояние.

Считается, что Иуда покончил с собой. Кон в это не верил. По его убеждению, Иуда жил до глубокой старости, во всяком случае достаточ-

но долго, чтобы на исходе дней оказаться окруженным любовью и благоговением верующих, которые толпами приходили поклониться последнему живому человеку, имевшему непосредственное отношение к Распятию. И наверняка он всем предъявлял справки, подтверждавшие, что он действительно Иуда Искариот, великий исторический деятель, которому человечество стольким обязано, докучал каждому встречному-поперечному нескончаемыми рассказами о том, как все происходило, и хвастался близким знакомством со знаменитым Иисусом из Назарета. А под конец просто стал невыносим, непрерывно требовал всеобщего внимания, почестей и выражений благодарности, возмущался, если его усаживали не во главе стола. Почти наверняка был беспощаден к иноверцам и призывал к крестовым походам, дабы обратить весь мир в христианство.

В книге Перрюшо[1] имеются на сей счет неопровержимые свидетельства. Гонители кичились знакомством с гонимым. "Выйдя в отставку и поселившись в департаменте Верхняя Сона, жандарм Шарпийе с волнением рассказывал про "мэтра Поля Гогена", выдающегося человека, "великого и несчастного художника", с которым он "имел счастье" встречаться на Маркизских островах. "Я даже не подозревал, что на свете бывают такие люди, — объяснял он. — Истинный провидец!" Клаври, по сведениям Перрюшо, еще более трепетно чтил память Гогена. Обосновавшись в Верхних Пиренеях, в Монгайаре, он открыл там табачную лавочку и, как рассказывает Бернар Вилларе, "благоговейно показывал клиентам маленькую застекленную витрину, где хранились деревянные фигурки, вырезанные человеком, которого он некогда травил, а впоследствии сделал своим кумиром".

И тут Бизьен показал себя истинным Наполеоном туризма. Он уже некоторое время сосредоточенно созерцал тощего человечка с желтоватой бородой, который в свою очередь смотрел на него подозрительно и тревожно.

— Придумал!

— Что вы еще придумали?

— Вы будете Ван Гогом.

— Вот это да! — только и сказал Кон.

Вердуйе сидел набычившись, исподлобья глядя на них. Это был уже готовый Ван Гог, чувствовавший себя жертвой тайного заговора.

— Внешность у вас подходящая...

Вердуйе, как и следовало ожидать, начал ломаться.

— Но все же знают, что Ван Гог никогда не бывал на Таити!

Бизьен пожал плечами.

— Ну и что? Все точно так же знают, что Гоген давно умер. Это же просто шоу. И мы обязательно сыграем на отношениях между Ван Гогом и Гогеном, их ссоры — важнейшая составляющая мифа. Клише, засевшее у людей в голове. Только представьте себе, как будет эффектно, когда вы с Коном станете браниться на террасе "Ваирии"? Все бросятся фотографировать! Есть же в Арле кафе "Ухо Ван Гога", с огромным неоновым ухом над входом...

Затем Вердуйе одолели сомнения творческого характера.

— Но я же пишу, как Гоген, а не как Ван Гог!

— Вы перестроитесь.

1. Имеется в виду книга А. Перрюшо "Жизнь Гогена". Париж, 1961. Рус. перев. 1979. Цитируется в переводе Ю. Яхниной.

Бедняга открыл было рот, чтобы что-то еще сказать, но Бизьен решительным жестом отмел все возражения.

— Вопрос стоит так, Вердуйе: есть у вас моральные обязательства перед Полинезией или нет? Мы отняли у туземцев их прошлое, их культуру и просто обязаны дать им что-то взамен.

Он с удовлетворением затянулся гаванской сигарой. Уловить иронию в его взгляде сумел только Кон, и то ему пришлось пристально всматриваться. Да, о таком партнере можно только мечтать.

— Все равно не понимаю, какого черта делать Ван Гогу на Таити, — буркнул Вердуйе.

Все-таки он был дегенерат. Бизьен проявил ангельское терпение.

— А какого черта полинезийские тики, которых здесь вообще больше не осталось, и прочие исторические памятники Океании делают в западных музеях? Давайте назовем это, поскольку иначе вы не понимаете, культурным обменом.

— Но почему вы хотите, чтобы Гогена изображал американец? — прохрипел Вердуйе.

— Во-первых, Кон такой же американец, как вы или я, несмотря на акцент, который он блестяще имитирует. Кстати, я не знаю, кто он на самом деле, но это совершенно не важно. Во-вторых, большинство наших туристов — американцы. Пусть им будет приятно... Но я не собираюсь на этом останавливаться. Я хочу всерьез разыграть карту "земного рая". Люди приезжают сюда в поисках нового Эдема, так пусть они его получат. Я им устрою Эдем со всеми аксессуарами — Адамом и Евой, неопалимой купиной и дальше по полной программе, вплоть до распятия Христа на фоне восхитительного пейзажа. Я решил разбить парк с аттракционами, в сравнении с которым их Диснейленд будет выглядеть просто жалким балаганом. Одной только природы, роскошных видов и юных таитянок недостаточно, чтобы продержать здесь туристов больше четырех-пяти дней. Нужны фестивали, какие-то культурные действа, замки Луары, не знаю что, но все это можно соорудить. У нас тут еще проблемы со сторонниками прогресса, которые и слышать не хотят о земном рае на Таити. Они мечтают о больших заводах и загрязнении атмосферы. Требуют индустриализации и одновременно развития туризма, что никак не сочетается. Но мы все уладим.

Кон был восхищен.

— Трюк с земным раем не может не сработать, — сказал он. — Ведь однажды он уже сработал и работает по сей день.

Наполеон туризма раскачивался в кресле, крутя глобус с панамой на Северном полюсе.

— И заметьте, никакой пошлости. Культурный автобусный маршрут от площадки первородного греха до Гогена, Ван Гога и Виктора Гюго на утесе в Гернси, да мало ли что можно соорудить по мере возвращения средств! И уменьшенную модель Шартрского собора, и Версаль в миниатюре... В моем распоряжении четыре гектара земли в красивейшем месте над Пунаауиа... Там запросто можно разместить всю историю человечества — от сотворения мира до Мэрилин Монро. Не забывайте, что у французов есть одно неоценимое преимущество перед американцами с их Диснейлендом: наша история на полторы тысячи лет длиннее.

Кон воодушевился.

— Великолепно! — заорал он. — Вы нанимаете человека, вся работа которого состоит в том, чтобы просто слоняться по острову в терновом

венце, таская на спине крест из папье-маше и стараясь почаще попадаться на глаза туристам...

Бизьен тоже постепенно входил в азарт.

— "Хилтон" на полуострове Таиарапу и казино на Муреа, с рулеткой, баккара и игрой в кости... Поле для гольфа в красивейшем уголке планеты...

— И везде — тики, — подхватил Кон. — Закажем копии с тех, что выставлены в Музее Человека в Париже...

При упоминании Музея Человека у Бизьена рот перекосился от злости.

— Святой Антоний среди таитянских женщин, в окружении знаменитых полотен с его изображением...

— Жанна д'Арк, обязательно должна быть Жанна д'Арк!

— А как же! Включим в наш репертуар все самое лучшее и самое известное... Никаких заумных штучек, все должно быть просто как мычание, в гармонии с естественным окружением, наивно и безыскусно, в стиле Руссо Таможенника...

— Но все-таки нужен Бах! Как же без Баха?

— Будет им Бах, это денег не стоит. Нацепим по репродуктору на каждую пальму, и кантаты Баха будут изливаться с небес...

— Пикассо!

— Святой Людовик!

— Освенцим в миниатюре! Среди американских туристов процентов сорок евреев!

— Освенцим и "Легенда веков"[1], которую будут декламировать при лунном свете маленькие таитянки...

— Мученичество святого Себастьяна, око Всевышнего над Каином, похищение сабинянок...

— Наполеон на острове Святой Елены!

— Кеннеди! Кеннеди обязательно! Куда ж без него?

— Кеннеди, исцеляющий прокаженных!

— Или Кеннеди, идущий по водам.

— И еще надо показать божью кару за попытку сохранить земной рай, возмездие в форме атомного взрыва на Мурароа. Должен же быть у всего этого назидательный конец...

— Будда! А как же Будда? Он непременно нужен!

— Моисей перед неопалимой купиной на вершине Орохены в лучах прожекторов, а купина — из неона!

— Избиение младенцев! — вопил Кон. — Где-то надо устроить избиение младенцев! А то будет чего-то не хватать!

— Телевизор в каждом номере!

— Королева Помаре, встречающая на коленях первых миссионеров!

— Епископ Мартен, омывающий язвы Гогена на смертном одре!

— Покаяние жандармов Шарпийе и Клаври!

— Высокопоставленные лица из администрации острова, несущие гроб Гогена!

— Да просто похороны Гогена, черт побери! На государственном уровне... А прах прямо в Пантеон...

— Пастер, открывающий пенициллин...

— Взятие Бастилии галлами!

1. Эпический стихотворный цикл Виктора Гюго.

До того как поселиться на Таити, Кон думал укрыться на каком-нибудь пустынном островке архипелага Туамоту. Но у него был хорошо развит инстинкт самосохранения. На необитаемом острове ненавистное человечество было бы представлено только им самим — он оказался бы в ситуации скорпиона, которому некого жалить, кроме самого себя.

Чуть покачивая головой, высоко взметнув маленькие брови, Бизьен вращал глазами, словно в поисках подходящего места для гильотины. Он переводил дух. Вердуйе не мог прийти в себя и сидел словно громом пораженный. Какое-то экзотическое насекомое с жужжанием билось о стекло, как самая обыкновенная муха.

Кон чувствовал, как зарождается новый культ — культ туризма, великая жизненная основа которого состоит в том, что убийца всегда возвращается на место преступления, но на сей раз берет с собой жену и детей.

Посреди Диснейленда Кону виделся возмущенный, испуганный, убегающий прочь Христос, преследуемый организаторами культурного фестиваля: они гнались за ним с пластмассовым крестом, на удивление легким, пытаясь ему втолковать, что распятие будет чисто символическим, тем более что профсоюзные законы не позволяют держать Его на кресте больше восьми часов в день. Его будут кормить, поить, он будет пользоваться социальными льготами, и единственное, о чем его просят, это побыть как бы Христом, как бы распятым на как бы кресте в грандиозном парке с культурно-историческими аттракционами. Но Христос от них ускользнул и нашел убежище в чьем-то сердце на Таити: он проводил сидячую забастовку и наотрез отказывался работать; любое упоминание о делах Человека или о готическом искусстве приводило его в бешенство.

Кон, стоя спиной к окну, с удовольствием курил гаванскую сигару.

На Вердуйе было больно смотреть. Он затравленно озирался, разрываясь между негодованием и боязнью оказаться в стороне от туристического бума, и со своей рыжей шевелюрой и обиженным выражением лица был действительно похож на Ван Гога — в те минуты, когда продавцы картин советовали Ван Гогу сменить манеру, чтобы его работы не так "шокировали хороший вкус".

— Вы даже не понимаете, что вынуждаете меня поступиться своей творческой манерой! Я пишу как Гоген, не могу же я взять и за один день отречься от себя самого!

— Успокойтесь, старина, единственное, что от вас требуется, это перевязать голову бинтом, надеть соломенную шляпу, отпустить подлиннее бороду и рисовать на набережной подсолнухи, бормоча время от времени что-то невнятное. По-моему, это не очень уж трудно.

Кон покинул кабинет Бизьена в состоянии такого омерзения, что оправился только через сутки с лишним, после грандиозной попойки, из которой не помнил ничего, кроме лица Барона, сидевшего за столиком в "Кит-Кэте" и смотревшего на него в упор ярко-голубыми глазами. Барон был так безукоризненно одет, а Кон в тот момент чувствовал себя настолько грязным со всех точек зрения, что устроил безобразную сцену этому невозмутимому господину, озабоченному единственно тем, чтобы сохранить свою ослепительную чистоту. Он орал, что Бог не должен таскаться по подобным заведениям, что ему надоело, что за ним шпионят, что око Всевышнего не должно проникать в могилу и вечно наблюдать за Каином, что он не считает себя ни в малейшей степени ответственным за разрушение земного рая и ничего не имеет против водородной бомбы, которую собираются взорвать на Мурароа, и даже

напротив, находит, что ее еще мало используют. Его вышвырнули вон, а около двух часов ночи он в момент просветления обнаружил себя сидящим на высоком табурете и объясняющим бармену "Цветочной корзинки", какой он, Кон, великий ученый: он изобрел штуковину, которая позволяет поймать человеческую душу и засунуть в мотор вместо батареек или горючего; у него уже есть такой мотоцикл, такая электробритва и зубная щетка, и вообще у него все приборы такие. И это, в сущности, не что иное, как технический итог давно идущего духовного и нравственного процесса. С энергетическим кризисом покончено раз и навсегда. Осталась единственная загвоздка: опасность загрязнения атмосферы. Дальше он ничего не помнил.

Видимо, весь следующий день Кон проспал под бананами, потому что, когда он проснулся, вторая ночь близилась к рассвету. Волны бились о коралловый риф, неплохо имитируя биение негодующего сердца. На его верхушке, уже почти скрытой предрассветным приливом, метались в панике полчища крабов, ища какую-нибудь ниспосланную провидением щель. Металлические диски, надетые на стволы кокосовых пальм, чтобы защитить орехи от крыс, озарились по краям серебристым светом зари, напоминая нимбы, которыми великие шляпники Ренессанса увенчивали своих образцовых святых. Из стоявшей под пальмами лодки поднялась человеческая фигура, потянулась и удалилась. Кон узнал человека-сувенира, из тех, что во множестве разбросала по пляжам Океании эпопея Тура Хейердала: это был "капитан" Робер Кошлен, который кормился тем, что выдавал себя за члена экипажа "Кон-Тики". Кон встал. Приступ отчаяния прошел. Он чувствовал себя вполне бодрым, готовым продолжить борьбу и вновь облачиться в панцирь циничного пикаро, который он натягивал каждое утро.

Ничего святого

Директор гостиницы Матаоа Дженкинс, насчитывавший нескольких настоящих полинезийцев среди своих английских, ирландских и китайских предков, смотрел на Кона свысока, как и подобало человеку, построившему пятидесятиметровый бассейн под самым носом у Тихого океана. Кон бледнел от ярости всякий раз, когда это возмутительное сооружение попадалось ему на глаза. Он не считал себя обязанным защищать интересы Океана, но бассейн на берегу моря воспринимал как личный вызов. Время от времени он совершал диверсионные вылазки, и несколько раз ему удавалось средь бела дня туда пописать. Не бог весть что, но, увы, это было все, что он мог сделать для Океана. По этой причине, как и по ряду других, Матаоа Дженкинс глубоко презирал никчемного Гогена Второго, которого черт занес на благословенные берега Таити.

— Господин Кон, мы же вас просили сюда не ходить. Вчера прибыл пароход. Все туристы — люди почтенные и наверняка не нуждаются в... ваших услугах.

— Я желаю позавтракать у вас в кафе, — объявил Кон. — Готов заплатить вперед. Вы не имеете права меня не пускать. Я прилично одет, у меня сегодня приступ респектабельности. Ностальгия, что поделаешь! Хочется увидеть родные американские лица! Это накатывает на меня иногда. Если вы меня впустите, обещаю больше не ссать в бассейн. Вам ведь уже пришлось раз пять менять воду. Так что предлагаю выгодную сделку...

Директор оглядел Кона с головы до пят: хулиган был облачен в брюки и чистую рубашку; его борода и капитанская фуражка выглядели не такими засаленными, как обычно. У него даже имелась черная кожаная перчатка — единственная — на правой руке. Возразить было нечего. Только нос по-прежнему торчал как-то нагло, словно это был орган дерзости, а не обоняния.

Однако Матаоа Дженкинс смотрел на Кона с большой опаской. Последний раз, когда он позволил ему затесаться среди клиентов гостиницы, — директор вдруг вспомнил, что тогда на нем тоже была эта черная перчатка, — у двух американок, проговоривших с ним пять минут, случилась истерика. Это выглядело тем более загадочно, что, когда Матаоа сделал попытку вышвырнуть Кона вон, обе дамы бросились на его защиту и даже вручили негодяю чек на сто долларов, продолжая, однако, смотреть на него с ужасом и лить слезы. Было совершенно ясно, что он рассказал им какую-то непотребную байку. Дженкинс попытался осторожно разузнать у американок, что Кон наплел, но те наотрез отказались давать разъяснения и только заклинали его "быть гуманнее с бедным мальчиком".

— Во всяком случае, прошу вас не устраивать скандала. В последний раз... До сих пор не могу понять, что вы им нарассказали.

— Можете быть спокойны! Не подведу.

Кон прошел на террасу, оглядел ее наметанным взглядом. Милые белые лица, наши, родные, подумал он в порыве умиления, которое испытывал всякий раз, когда видел симпатичное стадо баранов, с готовностью позволяющих себя стричь. Он заказал кофе, собрав всю свою волю в кулак, чтобы не прельститься соблазнительной попкой официантки Маруа. Некоторое время он вел себя скромно и тихо, сидя с невинным видом за отдельным столиком, а Матаоа следил за ним ястребиным взглядом, готовый ринуться на него при малейшем признаке скандала. Он с наслаждением выпил кофе, после чего наклонился к соседнему столику и с величайшей учтивостью произнес:

— Прошу прощения, не будете ли вы так любезны одолжить мне на пару минут "Геральд трибюн"? Я так давно живу вдали от нашей старой доброй родины, и временами на душе делается тяжело, очень тяжело.

Милые лица немедленно приняли участливое выражение. Пожилые дамы улыбнулись ему. Более толстая из двух наверняка сказала себе: а ведь он ровесник моего сына. Надеюсь, этот балбес сейчас во Вьетнаме, подумал Кон, глядя на них с трогательным смущением. Пожилой господин протянул ему газету.

— Вы давно из Америки?

— Больше двух лет.

Кон с такой легкостью вживался в любую роль, что на миг у него и в самом деле сжалось сердце. "Эх, родина, родина", — подумал он. И сделал усилие, чтобы выдавить из себя слезу, но ничего не получилось: у него было адское похмелье.

— Да, больше двух лет... Честно говоря, когда я вижу американские лица, у меня слезы наворачиваются...

Кон опустил глаза. Он старался не ради денег: ему необходимо было очиститься. Приличия, стыд, оглядка на людское мнение сковывали его на протяжении тысячелетий, пожалуй, больше, чем что-либо еще, и, дабы они не пригнули его к земле — как крест, вечно возрождающийся из

пламени, — он вынужден был время от времени их топтать. Вопрос психологической гигиены, не более того.

— Сделайте одолжение, пересядьте, пожалуйста, к нам за столик, — сказал пожилой господин. — Чеффи, Джим Чеффи из Милуоки, а это моя жена Бетси... Ее сестра, Марджори Хокинс...

— Билл Смит, — представился Кон, радуясь, как всегда, случаю назваться новым именем — видимо, в смутной и несбыточной надежде убежать от самого себя. Он ведь уже полтора года терпел себя под именем Кон. Своего рода рекорд.

Он подсел к ним. В тот же миг на террасе появился директор гостиницы и принялся с тревогой описывать круги вокруг их столика. Но Чингис-Кон выглядел смирным, он явно был вежлив и увлеченно беседовал с соотечественниками. Матаоа отошел.

— Вы говорите, два года уже не были в Штатах? — сочувственно спросил Джим Чеффи.

Кон беспомощно развел руками, выражая покорность судьбе.

— А что я могу поделать? Вы же знаете, как у нас обходятся с прокаженными. Их принудительно госпитализируют и держат в больнице, таков закон.

— Простите, я что-то не совсем понял...

— Видите ли, врачи сказали мне, что я заразился проказой — здесь это еще случается, причем довольно часто. Для меня не может быть и речи о возвращении на родину. Там таких, как я, изолируют. А на Таити нам позволяют жить на свободе. Эта болезнь здесь считается не особо заразной, разве что при непосредственном контакте...

И он помахал рукой в черной перчатке перед Марджори то ли Хокинс, то ли Хопкинс.

— Вот, хотите пощупать? У меня тут вместо пальцев железные протезы. Я все пальцы потерял на правой руке. Есть опасность, что это может перекинуться дальше, дойти до локтя. Кстати, с помощью "Энельфы" процесс можно остановить, если захватить вовремя. Но я заметил, когда уже было поздновато...

Соотечественники окаменели и сидели как истуканы, причем Марджори находилась явно на грани обморока. В отчаянии и невообразимом ужасе она не могла отвести глаз от черной руки, которую Кон совал ей под нос.

— Конечно, мне живется нелегко. Работать я не могу, не могу даже попросить помощи у своей семьи, потому что они ничего не знают, я не хочу разбивать им сердце. Моя бедная мамочка, представляете, если б она узнала... Но люди в массе своей добры. Особенно американцы. Не бросают меня в беде. Америка — последняя страна, где еще остались щедрые люди...

Он чуть-чуть опустил руку — испугался, что бедная женщина упадет в обморок раньше времени. Это был интереснейший психологический опыт. Элементарная человечность, да и просто приличия не позволяли трем старым американцам встать и уйти, как им того безумно хотелось. Их буквально пригвоздило к стульям. Джим Чеффи из Милуоки с перекошенным лицом лихорадочно рылся во внутреннем кармане пиджака.

— Я, разумеется, буду счастлив... Но у меня нет наличности... Не согласитесь ли вы принять дорожный чек?

— Ну что вы, у меня и в мыслях не было просить у вас денег!

— И все-таки позвольте...

— О, право, не стоит...

— Нет-нет, прошу вас, я настаиваю...

Кон еще некоторое время заставил себя уламывать. Чеффи отлично знал, что у них нет ни малейшей возможности унести ноги, иначе как прикрыв свое бегство гуманным поступком. Почуяв недоброе, директор появился снова и нервно прохаживался мимо их столика. Кон незаметно адресовал ему непристойный жест. Наконец он милостиво принял триста долларов в виде чека. Это было побольше, чем в прошлый раз.

— Извините, но нам пора, — сдавленным голосом проговорил Джим Чеффи, стремительно вставая.

— А хотите, я покажу вам остров, — предложил Кон.

— О, нет-нет, спасибо! У нас есть экскурсовод...

Все трое уже были на ногах. Приближался самый интересный момент, ибо мысль о том, что сейчас он дружески протянет им руку, вызывала у них дрожь.

— Не могу ли я что-то сделать для вас в Штатах...

Все-таки триста долларов, подумал Кон, они имеют право что-то получить за эти деньги. Хотя, по сути, они уже и так не зря съездили. Могут теперь до конца дней своих донимать друзей и знакомых рассказами о хорошем американском парне, заболевшем проказой на Таити. Великолепное дополнение к легенде о бродяге с южных островов. Впрочем, ладно, за триста долларов можно им подкинуть и еще что-нибудь.

— Не могу ли я что-то сделать для вас на родине? — повторил Чеффи. На лбу у него выступили капли пота.

— О, благодарю, ничего. Хотя, если вам будет не трудно... — Кон тяжело вздохнул и опустил глаза. — Пришлите мне горсточку американской земли, сюда, на адрес отеля. Я буду всегда носить ее при себе. Понимаю, это звучит сентиментально, но, поверьте, мне иногда бывает так грустно...

Одна из дам, та, что постарше, разрыдалась. Дженкинс мгновенно подскочил к ним, глядя на Кона так, словно тот держал в руках бомбу.

— Господин Кон, я же просил вас не надоедать нашим гостям!

Джим Чеффи из Милуоки испепелил его взглядом.

— Оставьте парня в покое!

Он повернулся к Кону, мучительно соображая, как бы его подбодрить, сказать что-нибудь жизнеутверждающее, оптимистическое, одним словом, что-нибудь американское.

— Держите связь с нашим консулом. Сноситесь с ним регулярно, и вы будете в надежных руках!

Ничего не понимавший Дженкинс имел вид полного идиота. Старушки плакали. Кон утирал глаза, Джим Чеффи шумно всхлипывал и сморкался. Кон был так тронут, что хотел горячо обнять американца, но тот проворно отступил в сторону. Кон взял "Геральд трибюн" и протянул соотечественникам.

— Вы забыли газету...

Все трое с трогательным единодушием сделали шаг назад. При мысли, что можно коснуться газеты, наверно уже заразной, они побледнели как смерть.

— Нет-нет, оставьте ее себе!

Чеффи, махнув на прощание рукой и подталкивая перед собой своих спутниц, ретировался в номера. Кон представил себе, как все они, раздевшись догола, протирают друг друга спиртом, не пропуская ни одного укромного уголка. Он направился к кассе и предъявил чек.

— Обменяйте, пожалуйста.

Кассирша надела очки.

— Триста долларов? Что вы им такое рассказали, господин Кон?

— Это старые друзья моего отца, — ответил тот. — Вы не могли бы побыстрее?

Но было поздно. Сзади раздался звериный рев и приближающийся носорожий топот: Матаоа несся вниз по лестнице, бранясь как извозчик, лицо его, обычно похожее на ритуальную маску, искажалось нервными судорогами. Он набросился на Кона и стал толкать его к выходу.

— Я запрещаю вам впредь переступать порог гостиницы, ясно? Я вам покажу, как терроризировать моих клиентов и плести им черт знает что.

— Неужели они пожаловались?

— Конечно, а вы как думали? — закричал Матаоа. — И еще грозили добиться у руководства компании моего увольнения за то, что я пускаю в отель прокаженных...

Кон был шокирован.

— Ах, мерзавцы! Какое бессердечие! Вот люди! Я возмущен до глубины души!

— Вы все сказали? А теперь вон отсюда!

Кон почувствовал, что его хватают за шиворот и выпроваживают пинком под зад. На автостоянке перед гостиницей был народ: Кон с удовлетворением подумал, что в очередной раз сделал нечто полезное для престижа белого человека в Тихом океане. Трое бельгийцев, только что приехавших из Конго и еще не успевших опомниться, мрачно уставились на него. Кон дружески кивнул им и уже хотел было повернуться и уйти, как вдруг его сбил удар в челюсть. Он оказался на земле, но быстро вскочил и вовремя отступил назад, ибо один из бельгийцев, сжав кулаки, надвигался на него. Кон, крича и ругаясь, увеличил на всякий случай дистанцию между ним и агрессором.

— Ах ты, босяк поганый! — бельгиец был в таком бешенстве, словно происшедшее затрагивало его лично. — Если ты станешь позволять туземцам давать тебе пинки под зад, нам всем каюк. Понял? Каюк! Белых вышвырнут отсюда вон, начнется полный бардак, резня и грабеж, как в Конго. Но тебе-то всё до лампочки, да?

— Ну-ну-ну, — произнес Кон, потирая щеку.

Опять из-за него кто-то потерял лицо. Как, черт побери, они еще ухитряются его терять?

— Вам-то что? — спросил он с сильным американским акцентом. — Я консул Соединенных Штатов и не потерплю, чтобы меня отчитывали такие, как вы!

Бельгийцы на миг онемели.

— Вы американец?

Судя по всему, это резко меняло дело.

— Вот моя визитная карточка...

Кон всегда носил при себе, в джентльменском наборе профессионального пикаро, визитную карточку почетного консула США в Папеэте, которого ненавидел всей душой, потому что этот сукин сын примерно раз в месяц требовал его высылки. Бельгийцы посмотрели на карточку. Лица их неожиданно просветлели. Тот факт, что представитель Соединенных Штатов мог так низко пасть, подарил им нечто похожее на счастье. Учитывая скорость, с какой в Папеэте распространяются сплетни, слух об оскорблении, нанесенном звездно-полосатому флагу, мгновенно облетит весь город, и Томас Джефферсон-младший бу-

дет с недоумением задаваться вопросом, почему французы и таитяне как-то странно ухмыляются, глядя на него.

Кон удалился, весьма довольный собой. То, что он проделал, несомненно принадлежало к области высокого искусства.

Полицейский и История

Над домами мирно змеилась зыбь гофрированного железа. На набережной, под сенью акаций История присутствовала в виде двух пушек, установленных перед входом в городской сад. Пушки были трофейные, захваченные на островах Мапия во время Первой мировой войны, когда пиратский парусник фон Лукнера "Орел морей" разбился о рифы. Гигантская терминалия окутывала сад тенью и безмятежным покоем. Из дворца королевы Помаре, где теперь размещалось финансовое управление, лилось сквозь открытые окна заунывное стрекотание пишущих машинок. Легендарный ручей Лоти[1], где целый век сентиментально-приключенческой литературы утолял жажду экзотики, превратился в сточную канаву. Бесчисленные курятники возносили к небу вечный, как мир, гимн снесенному яйцу. В маленьких деревянных гостиницах, где по ночам сбываются грезы разноплеменных экипажей торгового флота о южных островах, стояла тишина, не нарушаемая в этот жаркий полуденный час ни единым стоном блаженства.

Кон неторопливо катил на мотоцикле к своему фарэ, намереваясь вздремнуть. На повороте Оуа его обогнал полицейский джип и, обогнав, остановился. Двое таитянских жандармов с широкой улыбкой пригласили его следовать за ними.

— В чем я опять провинился?

— Шеф недоволен вами. Чонг Фат подал жалобу. Утверждает, что вы взломали его кассу и вытащили все деньги.

— Так, это уже не смешно!

Кон забеспокоился. Всякий раз, когда его вызывали в полицию, ему казалось, что там узнали его настоящее имя.

Рикманс помимо лукавого всезнающего взгляда имел прямой пробор, толстые губы и большой нос, безраздельно царивший посреди плоского и пошлого лица. В молодости он служил в Иностранном легионе, затем перешел в колониальную полицию. Там его деятельность совпала с таким количеством переворотов и смен режимов, что он в конце концов начал смотреть на всех мало-мальски заметных уголовников и авантюристов со смешанным чувством почтения и страха: многие из тех, кто прошел через его руки, сгинули в тюрьмах, но кое-кто выбился в большие люди, и было совершенно неизвестно, с кем имело смысл обойтись помягче в расчете на высокое покровительство в будущем. В Африке ему не раз случалось поколотить в участке будущего президента молодого независимого государства, а потом оплакивать свою горькую участь на груди у жены, ибо тот, кого он избил до полусмерти, стал теперь желанным гостем в Елисейском дворце и мог бы устроить ему повышение по службе и ордена.

Он жил в постоянном напряжении, ежеминутно решая для себя сложнейшие задачи: когда перед ним представал в наручниках вор, убийца или другой нарушитель общественного спокойствия, ему чудилось, что в

1. Пьер Лоти (1850—1923) — французский писатель, автор романов и повестей о южных и восточных краях, в частности Таити.

воздухе пахнет грядущим политическим могуществом. Почтовый служащий в Конго, которого он безжалостно карал за то, что тот воровал денежные переводы, сегодня ездил с официальными визитами в Париж, и город украшали флагами в его честь. Старший бой, состоявший у него в услужении в Браззавиле, стал министром здравоохранения, а бандит с большой дороги, которого он лично отделал в Абиджане буквально в последние часы колониального режима, стал три недели спустя министром внутренних дел. Эти трагические удары судьбы сделали Рикманса совершенно никудышным полицейским: он стал нервным, нерешительным, погубил свою карьеру и угодил на Таити на мелкую должность, но все еще мечтал, что ему попадется на жизненном пути какой-нибудь хулиган или преступник, которому он, на сей раз не ошибившись, окажет покровительство. Но, увы, ничего нельзя было знать наверняка: ведь не все сегодняшние головорезы обязательно станут завтра великими людьми. Все могло оказаться ловушкой, подвохи и западни подстерегали на каждом шагу. Хитроватое выражение, не сходившее с его лица, скрывало полную растерянность, и любому карманнику из Папеэте, которого он сам же засадил в тюрьму, Рикманс готов был украдкой жать руку, уверенный, что перед ним, возможно, будущий президент независимой Океании.

Когда он увидел, что к нему в кабинет входит смутьян номер один на всей вверенной ему территории, улыбка, полная всезнающего лукавства, разлилась по его лицу, вытеснив с него все остальное, и только нос благодаря своим размерам блистал на этом празднестве вкрадчивого доброжелательства.

— А, господин Кон... Присаживайтесь. Сигару?

Рикманс инстинктивно, даже не отдавая себе в этом отчета, не выносил "людей искусства", но он знал, что жизнь несовершенна и, следовательно, надо мириться с тем, что в Папеэте имеется лицей Поля Гогена, хотя некогда это имя было синонимом распутства, безнравственности и оскорбления государственной власти, доставивших бездну хлопот его предшественникам. Он не хотел, чтобы грядущие поколения борзописцев именовали его "толстокожей скотиной, не упускавшей случая досадить художнику, который окружил Таити ореолом красоты, более нетленной, чем красота лагун". Не далее как вчера он вычитал это нелестное определение в газете "Франс-суар", и относилось оно к жандарму Шарпийе, шестьдесят лет назад занимавшему на Маркизских островах тот же пост, что и Рикманс на Таити. У Рикманса было шестеро детей, и при мысли о том, что в один прекрасный день они прочтут в газете нечто подобное о своем отце, у него по спине бегали мурашки. Он широко улыбнулся Кону и тут же почувствовал спазмы в животе — такова была непосредственная реакция организма на столь противное его природе поведение.

У Рикманса с некоторых пор появилась навязчивая идея: все чаще и чаще его мучал вопрос, как бы он поступил, если бы оказался начальником полиции в Иерусалиме и ему приказали распять Христа. Он перестал спать по ночам, жена умоляла его выбросить это из головы, напоминая, что у них и без того куча важных проблем. Но он не мог сомкнуть глаз.

— Нет, ты только подумай! Мне говорят: ты должен арестовать некоего Иисуса, опасного мятежника, и казнить его нынче же. И что мне делать? Потому что, понимаешь, я ведь еще не знаю, что он станет Иисусом Христом, как никто не знал в Конго, что Лумумба станет Лумумбой. Мне говорят: хватай Иисуса и распни в назидание другим. И как же, черт подери, мне себя вести? Нет, ты войди в мое положение!

— Слушай, Бернар, тут, на Таити, такого с тобой случиться не может. А потом, если даже Христос сюда явится, ты попросишь перевода по службе. И нечего сходить с ума попусту.

— Но такие случаи в нашем деле происходят на каждом шагу. Вспомни Бугунду из Ниамея. Мне тогда сказали: разберись с ним как положено, и в тюрьму. Хорошо, я выполняю. И что получается? Через год он премьер-министр! Нет, ты только представь себе начальника полиции, которому говорят: разберись с Иисусом как положено и чтоб больше о нем никто не слышал... Мои действия? Я выполняю приказ? Или я его не выполняю?

— Бернар, ты погубишь свое здоровье. Пока Христос доберется до Таити...

— Нет, мне все-таки важно знать! Он может явиться в любой момент, куда угодно, где Его меньше всего ждут.

— Тебе сейчас надо решать проблемы поважнее, чем эта история с Христом... Детей надо отправлять во Францию учиться...

— В Конго я упек за решетку Комако, а он стал министром. В Алжире я наизнанку вывернулся, чтобы не посадить главаря оасовцев Годара, а он никем не стал. Все это чревато серьезнейшими последствиями. Представь себе, что ты шеф полиции здесь, у нас, и вдруг тебе говорят: есть тут один антиобщественный элемент, некий Иисус...

— Бернар!

— Нет, вот давай возьмем Гогена. Хулиган, типичный правонарушитель, и сифилитик к тому же... Но куда мы сегодня водим своих детей? В лицей имени Гогена! Да что ж это делается?

— Ты дашь мне поспать или нет? Сейчас три часа ночи!

— Да, кстати, я ходил к монсеньеру Татену посоветоваться. Я сказал ему: предположим, завтра у нас будет правительство Народного фронта и мне прикажут распять некоего Иисуса Христа... Как мне себя вести? С Ним ведь уже один раз такое случилось, значит, может случиться опять, в любой момент, в любом месте. Как тогда быть? И знаешь, что он ответил? Что этого случиться не может. Епископ!

— Он прав.

— Как угадать, кто перед тобой: преступник или святой? Что мне делать? Распинать или не распинать?

— Бернар, да у тебя настоящая нервная депрессия!

— Еще бы, когда так не везет... Если я Его распну, меня будут оплевывать две тысячи лет, а если дам ему сбежать, ты только вообрази, что будет! Это же подорвет все здание католической церкви! Не пытать Лумумбу в застенках значило бы лишить африканцев собственного святого мученика. Так как мне все-таки быть?

— Говорю же тебе, если Второе пришествие настанет, то не здесь. На Таити ездят не за этим.

— Помнишь Джамилу из Алжира? Она умерла в тюрьме. И комиссар Бигрё тут ни при чем: у нее во влагалище во время допроса треснула бутылка из-под "Перрье" — обычный заводской брак. А он потерял место и оказался на улице. Теперь эта Джамила у них в Алжире святая. Так вот, представь себе, что некий преступник...

— Успокойся ты ради бога! Клянусь здоровьем наших детей, что тебе не придется никогда иметь дело с Христом. Спи и ни о чем не думай!

— Не может быть, чтобы он тут не объявился. Я уже побывал во всех передрягах, какие только есть, и этой мне тоже не миновать. Ты знаешь,

что преподобный Сафран вышвырнул меня из церкви в прошлое воскресенье?

— Это все-таки бред — ходить в церковь и молиться о том, чтобы не было Второго пришествия! Поставь себя на его место. Завтра же отправишься к врачу.

— Но я-то знаю, что мне на роду написано испить чашу до дна!

Доктор Тулан, которого Рикманс регулярно посещал, объяснил ему, что у него параноидальный синдром вследствие перенесенного психологического шока и тяжелых моральных страданий. Он накачивал полицейского транквилизаторами, но у того не прекращались ночные страхи, которые не брало ни одно лекарство. С тех пор, как был выслан лидер таитянских националистов Пуваана, Рикманс в ужасе ждал, что тот в один прекрасный день прилетит обратно на правительственном самолете в роли главы нового Полинезийского государства. В свое время его довело до полного смятения письмо Бутанги, которому Рикманс лично сломал два ребра, перед тем как окончательно покинуть Африку. Бутанга стал "высшим главой" новой демократической республики Зоббии и, судя по всему, не забыл расправы, учиненной над ним французским полицейским. "Дорогой господин Рикманс! — писал Бутанга. — Я занимаюсь в настоящий момент реорганизацией зоббийской полиции перед лицом коммунистическо-империалистической угрозы. Мне была бы очень полезна ваша компетентная помощь, и я был бы счастлив, если бы вы согласились принять на себя обязанности технического советника при моем кабинете".

Но не так прост был Рикманс, чтобы клюнуть на эту грубую приманку: совершенно очевидно, что письмо писалось исключительно с целью заманить его в Зоббию, где Бутанга раздавит его как муху. Да за кого он его принимает? Рикманс даже и отвечать не стал. А через год узнал, что его заместитель Мусса, который когда-то собственноручно пытал Бутангу, получил аналогичное предложение и согласился. Теперь он был его правой рукой, зарабатывал десять тысяч франков в месяц, получал в подарок брильянты и проводил отпуск во Франции, разъезжая на правительственном "бьюике", предоставленном в его распоряжение. Единственное, что его удручало, как он объяснял Рикмансу, это то, что Бутанга казнил оппозиционеров всех поголовно, целыми деревнями, и, когда Мусса пытался его урезонить, тот кричал, что, если бы французы вели себя так же, они до сих пор были бы здесь хозяевами и что великий Мао прав, когда говорит, что народ должен без колебаний пройти по трупам своих врагов. Он, Буганга, не позволит коммунистическим диверсантам подорвать основы демократии, которую для него воплощали Наполеон, Виктор Гюго, Лафонтен, Жорес и Люсьен Бонапарт. В конце концов он провозгласил себя императором Зоббии.

Эта история доконала Рикманса. Теперь он подолгу сидел один в кабинете, предаваясь мечтам о величии и славе, от которых у него захватывало дух и слезы выступали на глазах: цветные народы захватывают Европу и взывают к его опыту работы в колониальной полиции — его назначают начальником Чрезвычайного комитета при Управлении африканских заморских территорий, простирающихся от Парижа до Канна. Завоеватели нуждаются на первых порах в компетентных специалистах при колониальной администрации. Он никогда не был расистом, он настоящий полицейский, человек для него всегда человек, и он будет гуманно обращаться с французами. Что же касается ситуации в Папеэте, то

и тут не все безнадежно: его жена, несмотря на свои восемьдесят кило, спит с племянником Пувааны, и если лидер националистов вдруг выскочит в президенты Океании, то эта связь окажется для Рикманса серьезным козырем, потому что у таитян глубоко развиты родственные чувства.

Итак, Рикманс отечески-доброжелательно взирал на Кона, и от этого вид у него был до того фальшивый, что Кону хотелось подойти к нему и привести его лицо в порядок.

— Поговорим начистоту, — сказал полицейский.

— Не о чем нам говорить.

Взгляд Рикманса стал еще лукавее. В кои-то веки он чувствовал под ногами твердую почву. Двадцать седьмого мая, шестьдесят пять лет назад, его предшественник жандармский бригадир Жан-Пьер Клаври нанес больному и обессиленному обитателю "Дома Наслаждения" последний удар: приговорил его к трем месяцам заключения и штрафу в пятьсот франков за клевету и оскорбления в адрес службы порядка. Особая изощренная гнусность этой истории состояла в том, что сам же Клаври и был назначен общественным обвинителем. Кона больше всего бесило, что за спиной Рикманса висели на стене три огромные репродукции картин Гогена, в том числе восхитительная "Те Рериоа".

— Пора нам с вами заключить мир, господин Кон, — сказал полицейский.

— Лучше мне сдохнуть, — ответил Кон. — Вы отлично знаете, что судья на вашем грязном процессе не имел никакого права сам назначать обвинителя. А уж делать обвинителем Клаври — просто фашизм!

— Напрасно вы так, господин Кон. Вы ведь знаете, что консул США требует вашей высылки. Он считает, что ваше поведение на Таити бросает тень на американцев в глазах местного населения.

— Ну, во-первых, Джефферсон всего лишь почетный консул. А во-вторых, хочу дать вам совет, Рикманс. Франция вовсе не заинтересована в росте американского престижа в Океании... Если вы меня вышлете, вы совершите величайшую ошибку в своей жизни. Или, может быть, американцы вам платят? Наверняка вам никогда не приходила в голову мысль, что я, быть может, заслан сюда специально, чтобы подрывать в этом регионе престиж Соединенных Штатов?

Рикманс и бровью не повел, хотя внутренне был сражен наповал. То, что сказал Кон, очень походило на правду. В играх высокой политики Рикманс разбирался как никто.

— Почему, как по-вашему, я позирую для порнографических открыток, Рикманс? Это же антиамериканская пропаганда. Неужто вы до сих пор не поняли?

Полицейский уставился на него мутным взором.

— Напомню вам заодно, что кровать Гогена с изображенными на ней эротическими сценами, которые так возмущали местного епископа, находится теперь в Лувре, заплатившем за нее в 1952 году несколько миллионов... В одном из последних писем, перед самой смертью, Гоген написал всего несколько слов: "Сегодня я на земле побежден..." В июне пятьдесят седьмого это письмо продали в Париже за шестьсот тысяч франков. Можете швырнуть меня за решетку, если хотите, но имя ваше будет проклято потомками...

Рикманс молчал. Нет, он не станет себя компрометировать. Пикассо, рисовавший всякие мерзости, считается величайшим гением эпохи. Неру провел пятнадцать лет в тюрьме и превратился в национальную

легенду. Лумумба, воровавший деньги на почте, объявлен пророком и мучеником. Христос, который был врагом существующего уклада, превратился в столп существующего уклада. Гоген, заразивший сифилисом несколько сотен таитянок, имеет сегодня в Папеэте лицей своего имени, музей своего имени и улицу своего имени. А жандармы Клаври и Шарпийе оказались мерзавцами в глазах потомков. Мир вертится так быстро, что все в нем непрерывно переворачивается с ног на голову, и даже самый дальновидный полицейский не в состоянии угадать, кого же он избивает — бандита или "посланца Провидения". У Рикманса потихоньку развивалась мания преследования. Он не сомневался, что рано или поздно на Таити будет праздноваться день святого Гогена.

Он встал, дружески положил Кону руку на плечо.

— Ну, полно, не волнуйтесь, — сказал он. — Ничего страшного не случилось. Я уговорю Чонг Фата забрать заявление. Пока я сижу на этом месте, можете рассчитывать на мою поддержку, господин Го... то есть, я хочу сказать, господин Кон. Честно признаться, я не слишком разбираюсь в вашей живописи. По части искусства у меня вкусы скорее консервативные: Гоген, Ван Гог... в общем, что-то, что я могу понять и оценить.

Он проводил Кона до дверей, пожал ему руку.

— И работайте, главное, работайте! А успех — это дело времени.

Кон вышел успокоенный: полиция Папеэте не подозревает, кто он такой. Можно не бояться, что кто-то напал на его след.

Большой белый идол

Первая, кого он увидел, была Меева. В белом платье с красными цветами, она сидела под деревом, а рядом стояла корзинка с провизией.

— Какого черта ты тут торчишь?

— Жандармы сказали мне, что Рикманс собирается тебя упечь. Вот я и жду.

— Ты долго могла так ждать!

— Кон, я тебя буду ждать всегда, всю жизнь, пусть даже это продлится целый месяц или два.

Он присел на корточки рядом с ней, погладил ее по голове.

— Что в корзинке?

— Это нам с тобой перекусить.

Кон взглянул на солнце.

— Торопиться некуда. Туристы будут на месте после обеда, не раньше. Бизьен сказал, в четыре... Ты покормила Барона?

— Да. И помыла.

— Много было приношений?

— Не очень. Две женщины принесли цыпленка, просили исцелить их от бесплодия. Приходили рыбаки коснуться Барона, но сказали, что приношения будут потом, если улов окажется хорошим.

— Не позволяй касаться его задаром. Знаю я этих жуликов! Пусть платят вперед, если хотят, чтобы такой великий тики, как Барон, послал им удачу. А то им только дай волю!

Кон обнаружил мужчину, впоследствии прозванного Бароном, в лощине неподалеку от Матаиеа, там, где когда-то высилось мараэ[1], о кото-

1. Полинезийское святилище с деревянной культовой скульптурой тики.

ром рассказывает Борда в "Украденных богах". Лощина тянется через горы, заросшие пальмами, банановыми деревьями и плюмериями по самую макушку Орохены. Барон одиноко сидел посреди диких дебрей, в шестистах метрах над уровнем моря, и созерцал остров Муреа, окутанный в предзакатный час флером сиреневой дымки. Никогда прежде Кон не встречал этого господина, и было абсолютно непонятно, как он сюда попал: дорога проходила километрах в пяти оттуда, и Барон явно забрался наверх не пешком — одежда на нем выглядела безукоризненно чистой, без малейших признаков пыли или беспорядка. Казалось, он и в самом деле свалился с небес в своем сером котелке, галстуке-бабочке, клетчатом костюме и жилете канареечного цвета. Он сидел на скале, держа в руках, сложенных на набалдашнике трости, перчатки из кожи пекари. На все вопросы Кона отвечал молчанием и был, казалось, глух, как могут быть глухи боги к призывам смертных. Его седоватые усы напоминали мотылька, сидящего над плотно сжатым ртом, а сам он, приподняв бровь и слегка надув щеки, словно сдерживая отрыжку или смех, мутноватыми голубыми глазами индифферентно созерцал горизонт. Единственное, что роднило его с человечеством, — это сильный запах виски, причем отличного качества, вероятно "Vat 69". Кон мгновенно почуял родственную душу, и ему даже показалось, что в глазах Барона блеснул ответный огонек понимания. Кон не сомневался, что перед ним авантюрист высокого полета, одержимый большой и красивой идеей. Воплотить ее на Таити было не труднее, чем в других местах, учитывая смутную тоску по древним богам, терзавшую сердце народа, отрезанного от своих истоков. Оказывается, Запад еще мог что-то ему предложить.

Кон тщательно обыскал Барона, но не нашел почти ничего, что проливало бы свет на его происхождение: при нем имелось шесть паспортов разных государств, фотография кардинала Спеллмана[1], пара чистых носков, снимки Освенцима, комикс, вырезанный из американского журнала под названием "B. C.", что означает "До Рождества Христова", повествующий о приключениях некоего доисторического насекомого, кусок мыла и горсть орденов — от перуанского Кондора до креста Изабеллы Кастильской.

Стоя под бамбуками и древовидными папоротниками, среди ароматов и многоцветья земного рая, Кон раздумывал о том, как бы получше использовать загадочного незнакомца, восседавшего на камне в тени гуаяв и не отрывавшего глаз от горизонта. Вид мошенничества, к которому был склонен сошедший с небес аферист, угадать было нетрудно. Во всей Океании не осталось больше ни одного тики, ни одной ритуальной маски, никаких следов древних идолов, разве что где-нибудь в Меланезии или Новой Гвинее. И это при том, что нигде в мире, кроме, пожалуй, Индии, не найти народа, который так тянулся бы к сверхъестественному — возможно, потому, что сохранил естественность во всем остальном. Мифология была утрачена, но тоска по богам предков продолжала жить в таитянской душе.

Их место пустовало, грех было бы не занять такую вакансию. И хотя, если верить философу Мишелю Фуко, все предвещало близкий конец человека, человек явно не сказал еще своего последнего слова.

1. Фрэнсис Джозеф Спеллман (1889—1967) — американский религиозный деятель, кардинал католической церкви. В 1953 г. поддерживал "расследования антиамериканской деятельности", позднее — участие США в войне во Вьетнаме.

Через неделю Кон снова наведался в те края и обнаружил Барона в деревне, в чистенькой хижине, он восседал на циновке с гирляндой цветов на шее: лицо его было пурпурного цвета — судя по всему, от пальмовой водки; едва Кон вошел, щеки Барона слегка раздулись, словно он пытался сдержать приступ хохота. У ног его стояло блюдо с рыбой и жареными бананами. Само по себе это еще ничего не означало, делать выводы было рано — возможно, так всего лишь проявлялось знаменитое таитянское гостеприимство.

То немногое, что Кону удалось за это время разузнать о Бароне, сводилось к следующему: Барон прибыл на Таити на яхте "Галея", принадлежавшей миллионеру по имени Сальт, который несколько дней тщетно разыскивал пропавшего спутника. Сальт сообщил Кону, что впервые увидел Барона в Дельфах, тот сидел на развалинах древнегреческого храма, напившись до состояния полного столбняка, так что сам напоминал каменную статую. Сальт взял его на яхту, потому что питал страсть к культовой скульптуре, а этот тип, хоть и не являлся изображением Зевса или Аполлона и не был творением Фидия, казался ему восхитительно изваянным. На яхте Барон выпил все имевшееся там виски, и во избежание крушения им пришлось зайти в Афинский порт пополнить запасы.

Кон пересказал все это Бизьену, и великий промоутер взялся за дело. Благодаря ему по соглашению с транспортными компаниями в скором времени около четырех тысяч туристов смогли увидеть "удивительный пережиток тайных древних верований, великий полинезийский языческий обряд поклонения белому идолу на острове, где до сих пор витает дух древних богов, ждущих своего часа, чтобы в испепеляющем огне грозовых сумерек явиться на землю и потребовать то, что принадлежит им по праву". Бизьен собственноручно написал текст буклета. А Джо Пааве, зарекомендовавшему себя с наилучшей стороны во время съемок на Таити "Мятежа на "Баунти" с Марлоном Брандо, поручили возвести для "белого идола" специальное помещение. Паава не стал ломать голову и попросту воспроизвел "Дом вождей", выстроенный на Сепике в Новой Гвинее, более живописный, чем традиционные таитянские хижины, и, на европейский взгляд, более экзотический. Для Барона там соорудили нечто вроде алтаря, где он и сидел в положенные часы в окружении приносимых верующими в дар фруктов, цветов, денег и кур[1]. Вначале Бизьену пришлось заплатить дюжине местных крестьян и обучить их ритуалам культа предков с танцами и приношениями. В первое время он даже сам руководил церемонией, но таитяне необычайно быстро всё усвоили и исполняли с удовольствием — возможно, в глубине души они так и не смирились с мыслью, что все древние боги действительно исчезли в глубинах "по" — это мрачное слово означает и тьму преисподней, и тьму минувших времен.

А через несколько месяцев началось паломничество старух из соседних деревень. Они и не знали, что совершают "древний обряд", просто видели, что сотни попаа приплывают сюда через моря и океаны с единственной, как им казалось, целью — сложить свои доллары к ногам живого тики, и это будоражило их воображение, как и все, что исходило из Соединенных Штатов. Результат даже превзошел ожидания Бизьена: в любое время дня туристы могли наблюдать старух, си-

1. Апрель 1980 г.: мне сказали, что впоследствии Барон исчез с Таити так же загадочно, как и появился. (*Прим. авт.*)

дящих вокруг Барона, или увидеть, как какой-нибудь рыбак входит и прикасается к нему в надежде на удачную ловлю. Слух о том, что попаа съезжаются со всего света поклониться великому белому идолу и принести ему дары, быстро разнесся далеко за пределы острова, докатился до Туамоту, и старики там долго спорили, кто же это: Таароа или сам великий Теуа. Татен бушевал, кричал об оскорблении христианской религии и поощрении суеверий, даже подал протест по всей форме администрации острова. Ему ответили, что Францию давно обвиняют в подавлении и уничтожении древних полинезийских культов, а теперь наконец-то представилась возможность доказать миру, что все это клевета и никто не мешает таитянам свободно совершать свои обряды и поклоняться своим богам[1]. Не могло быть и речи о том, чтобы местные власти попытались воспрепятствовать зову народной души и возвращению местных жителей к истокам, да еще в тот момент, когда гремевшая на весь мир выставка в Музее Человека в Париже демонстрировала великолепные коллекции тики и предметов культа из Океании, награбленных за два столетия цивилизаторской деятельности. Запад, разумеется, не требовал, чтобы полинезийцы обожествляли белого тики, он просто предлагал им его взамен.

Барон находился на попечении Кона, а тот, в свою очередь, поручил Мееве заботиться о нем. Когда-то Кон слышал рассказ о пеликане по имени Петрюс, который однажды прилетел на остров Миконос архипелага Киклады, и все население острова окружило его нежной заботой. Кон много бы дал, чтобы узнать, кем через несколько веков, учитывая работу времени и силу легенды, потомки будут считать Петрюса и Барона.

Осенью 1966 года в крупных американских еженедельниках, выходящих огромными тиражами, публиковалась фотография "белого тики": слегка ошалелое лицо Барона, с надутыми щеками, словно он сдерживает приступ смеха или непреодолимый позыв к рвоте, возвышалось над цветочными гирляндами. Татен, не щадя себя, протестовал устно и письменно, хотя отлично знал, что ничего не добьется: Франция не могла пресечь попытки полинезийцев вернуться к своему прошлому, не рискуя подвергнуться обвинениям в колониализме. Епископ написал в Конгрегацию письмо, требуя кредитов на строительство новой церкви, чтобы успешней бороться против возврата к язычеству.

Периодически Барон покидал свой алтарь, отправлялся в Папеэте и там чудовищно напивался, что имело единственным зримым результатом еще более полную отрешенность. Кон во время этих вылазок присматривал за ним, устраивал его в гостиницу "Гоген", в роскошный номер с балконом, выходящим на океан. Барон сидел там целыми днями, устремив в морскую даль бледно-голубые глаза с красноватыми прожилками. Кон подозревал, что он чего-то напряженно ждет и обшаривает взглядом горизонт в надежде, что оттуда явится настоящий великий и всемогущий тики, перед которым он сам мог бы склониться. Наверно, он чувствовал, что Человек не фигурирует в завещании Бога.

Но одна вещь необычайно удивляла Кона: поначалу он полагал, что, видя такой успех дела, Барон выйдет наконец из оцепенения и потребу-

1. См., в частности, статью Стена Сигрейва в "Сан-Франциско стар" от 20 ноября 1966 г. Я, со своей стороны, не раз сообщал о появлении Барона в других местах и при совершенно иных обстоятельствах. Список моих произведений, где он действует в самых разных обличьях, слишком длинен, чтобы приводить его здесь. (*Прим. авт.*).

ет свою долю барышей. Ничего подобного! Казалось даже, что он совершенно бескорыстен и ищет лишь какого-то загадочного внутреннего удовлетворения. Кон думал иногда, что этот прохвост действительно искренен в своем нежелании во что-либо вмешиваться и демонстрирует тем самым отказ сотрудничать со своим временем, с историей и с человечеством вообще, ибо это несовместимо с его достоинством. Барона приходилось кормить, мыть, одевать. Он не шел ни на какие компромиссы, не отступал ни в чем от своей изначальной установки. Кон несколько раз посылал ему молодых таитянок, но безрезультатно. Барон был непреклонен: он решительно отвергал все человеческое, даже в самых упоительных формах. Он как бы не жил, он самоустранился, положив себе закон неучастия, неукоснительного телесного и душевного воздержания. Объявили, что Бог умер, и человек решил не зевать. Место освободилось, кто-то должен был занять его. Барон не вел избирательную кампанию, не провозглашал себя сторонником того или сего, но его непроницаемое молчание, глубоко отрешенный вид, полное бесстрастие и категорический отказ вникать в проблемы этого мира делали его кандидатом номер один.

Иногда Кон подходил к Барону и давал ему пару оплеух.

— Ты издеваешься над нами, гад чертов!

Барон не реагировал.

— Сознавайся! Тебе мало обрядовой хижины? Может, ты хочешь, чтобы тебе построили храм?

Лицо Барона розовело — это можно было счесть признанием. Или следами пощечин.

Сидя на обочине, в придорожной пыли, Кон размышлял о том, почему он постоянно думал с такой обидой о Создателе, как будто тот виноват, что Его не существует.

— Что с тобой, Чинги? Ты фью?

Слово "фью" означало по-таитянски грусть, тоску, ностальгию, скуку, усталость, отвращение — все неприятные состояния души.

— Отстань!

— Ты слишком много думаешь, Чинги, от этого тупеют.

Говорили, что в архипелаге Туамоту еще остались красивейшие необитаемые атоллы. Но Кон знал, что неспособен долго выдержать на необитаемом острове. Ему необходим внешний враг. Жить наедине с собой было бы самоедством.

— Кон, мы прозеваем туристов. Бизьен нас убьет.

— Ладно, пошли.

Он встал. Меева вынула из волос цветок и заложила Кону за ухо. Кон взял ее за руку. Он любил чувствовать ее руку в своей, любил шагать с ней вот так по берегу Океана, с цветком за ухом. Если бы он только мог найти какой-нибудь далекий островок, без всякого сообщения с Таити... Но все равно рано или поздно они его отыщут. Если не французы и американцы, так русские или китайцы. Возможно, на его след уже напали. Они не позволят себе упустить преступника такого масштаба.

— Где мотоцикл?

Мотоцикл был там, где Кон его оставил, у стены. Он завел мотор. Меева села сзади, с корзинкой в руках. Они помчались.

Меева запела.

Она пела старинную песню о том, как небо полюбило землю, и об их печальном первом совокуплении, прерванном гигантским приливом

Океана, который ревновал к небу, ибо земля принадлежала ему. Из-за этого, так сказать, сбоя, земля родила человека-недоделку, вместо человека-человека, человека истинного, или человека-бога, которого они с небом так ждали. Да, мрачно подумал Кон, это определенно самый трагический coitus interruptus[1] за всю историю мира.

— Замолчи, — сказал он. — Ты нагоняешь на меня тоску. <...>

Американская трагедия

В тот вечер, около полуночи, лежа рядом со спящей Меевой, Кон почувствовал непреодолимое искушение предаться старому пороку; он встал, пошел на кухню, зажег масляную лампу. На нее тут же слетелся рой мотыльков, и они ринулись прямо в огонь, видимо приняв его за свет цивилизации. Кон немного помедлил, борясь с собой. Это было нарушением всех клятв, которые он себе давал, всех обетов воздержания и его персональной бессрочной забастовки, которую он до сих пор успешно проводил. Кон вышел, вгляделся в ночные полутени. Никого. Он вернулся в фарэ, взял карандаш, бумагу... До зари он предавался чистой радости, без всякого риска, без страха перед последствиями. К четырем часам утра карандаш выпал у него из рук, он собрал исписанные листки и перечитал. Получилось очень красиво. Он улыбнулся, еще раз оглядел оставшийся на бумаге след того, кем он был в действительности, потом разорвал все на мелкие кусочки и выбросил в уборную. Затем отправился в кафе старого Папеа, вытащил того из постели, и они вдвоем до смерти напились — Кон от отчаяния, а Папеа без всякой уважительной причины. Около шести Кон попытался добраться до дому, но рухнул посреди дороги на Пунаауиа и заснул под созвездием Пса, сиявшим над его головой своим вечным светом.

Тут, на дороге, Бредфорды его и нашли. Это был волнующий час первого предрассветного трепета, когда Таити-Нуи, вахинэ Тино Таата, Повелителя Рождений, встает со своего ложа и облачается в утренний наряд, сбросив ночные покровы на руки служанкам.

Бредфорды возвращались к себе на яхту после ночного посещения белого тики, которого туристические гиды рекомендовали гостям Таити как "поразительный пример живучести древних полинезийских верований".

К десяти часам утра Кон пришел в себя и обнаружил, что лежит в комфортабельном шезлонге, с подушечкой под головой, на палубе яхты "Антинея", чьим изящным белым силуэтом не раз любовался с берега: она стояла в том самом месте, где двумя веками раньше пришвартовался фрегат "Акила" испанца Максима Родригеса, первого белого человека, поселившегося на Таити.

— Господи! — застонал Кон от нестерпимых ударов молота в голове. — Господи!

— Американец, я вижу, — сочувственно обратился к нему мистер Бредфорд.

— Уичито-Фолс, Техас, — процедил Кон с таким ощущением, будто он летит вместе с шезлонгом в бездонную пропасть. — Боже милосердный! Это самое ужасное похмелье за всю последнюю неделю.

1. Прерванное соитие (*лат.*).

Он снова приоткрыл глаза и увидел над собой приятное женское лицо: сорокалетний рубеж был близко, но еще не перейден. Тридцать шесть-тридцать семь, самый подходящий возраст, если вы хотите вызвать у женщины материнские чувства, еще пригодные к употреблению. У мужчины были волосы с проседью и открытая, располагающая улыбка, как в журнальной рекламе "How to retire at fifty on four hundred a month"[1], с той лишь разницей, что тут одна яхта стоила не меньше трехсот тысяч. Кон взял из рук миссис Бредфорд чашку кофе, которую она протягивала ему.

— Не хочу вмешиваться не в свое дело, — сказала она, — но вам, право, не стоило бы столько пить.

— Такие советы еще не помешали ни одному торговцу спиртным спать спокойно, — заметил ее муж.

Кон залпом проглотил кофе. Эти люди вызвали у него симпатию с первого взгляда. Их надо было отблагодарить достойно.

— Вы валялись на дороге, в полной темноте, — сказала Ли Бредфорд. — Счастье, что вас не задавил грузовик.

— Это уже третья неудачная попытка со всем покончить, — отозвался Кон.

Так было всегда: он ловил какую-нибудь случайную фразу, цеплялся за нее и дальше полагался на воображение. В темах для импровизации он обычно недостатка не испытывал, но сейчас был не уверен, что с такой головной болью сможет сочинить что-то удобоваримое. На всякий случай он состроил страдальческую гримасу и прикрыл глаза, дабы выиграть время. Ли Бредфорд отправилась на кухню за льдом для его молодого горячего лба, а ее муж хранил тактичное молчание, подобающее джентльмену при виде столь глубокого морального падения.

Одежда Кона, заскорузлая от пота и пыли, была омерзительно грязна, черная борода подчеркивала худобу лица, на котором нос торчал будто парус затонувшего корабля, а в глазах застыло капризное недовольство, как у некоторых люмпенов, не способных ни примириться со своим положением, ни бороться с ним. Трудно поверить, но Кону отказывало вдохновение. Никакое пристойное вранье не шло на ум. Словно любовь к ближнему вдруг покинула его. Он призвал на помощь дух того, кого числил своим предшественником, покойного пикаро Педро Гомеса, посрамлявшего Власть в обличье современной ему испанской монархии вместе с ее полицией и армией на протяжении тридцати пяти лет, выходя за рамки всех законов вероятности — что тоже иногда случается и позволяет человечеству сохранять веру в будущее. Педро Гомес, по прозвищу Весельчак, умер, по слухам, в шестьдесят пять лет от приступа приапизма, иначе говоря, эрекции, не прекращавшейся две недели, несмотря на все рвение монашек, сбежавшихся к его одру. Другим его любимым героем был Пэдди Хокэм, который успешно морочил весь белый свет пятьдесят лет подряд, выдавая себя за хирурга, генерала, изобретателя, владельца золотых приисков и короля Сербии в изгнании, и послужил прообразом Герцога из "Приключений Гекльберри Финна". Пэдди Хокэм окончил свои дни в реке, вымазанный дегтем и облепленный перьями, но то были времена пионеров, а сегодня профессиональный риск практически свелся к нулю.

1. "Как выйти на пенсию в пятьдесят лет с четырьмя сотнями в месяц" (*англ.*).

За лагуной и пляжем, на подступах к Орохене, огромные древовидные папоротники осаждали голубые верховья рек, терявшихся в растительном хаосе. Еще дальше, в направлении невидимого Фааоне, широкие устья дарили морю пресные воды Ваихириа и Аораи. Над рифом бил крыльями Океан, и тысячи белых орлов прибоя устремлялись ввысь, поднимались на миг над отмелью и камнем падали вниз, теряя оперение. По зеленой земле бродили голубые и розовые гогеновские лошади и огромные вахинэ, в действительности отсутствующие и видимые лишь европейскому глазу, который переносил их сюда из музеев и с бесчисленных открыток. В районе полуострова Таиарапу пятьдесят красных пирог с двадцатью гребцами в каждой выплывали из тумана памяти и стремительно неслись к фрегату Бугенвиля, чтобы доставить туда обнаженных таитянок в качестве приветственного подарка.

— Великолепно, правда? — мистер Бредфорд курил сигару, наслаждаясь пейзажем земного рая, привезенным с собой с Запада. — Где еще найдешь такую красоту?

Миссис Бредфорд вернулась из кухни с яичницей для Кона. Она была в шортах, как масса женщин, которым не следовало бы их носить. При всей красоте ее форм, их пышность требовала либо полной свободы, либо юбки. Чета Бредфордов источала доброжелательство, искреннее и глубокое, в них обоих ощущалась готовность помочь и беззаветное доверие к ближнему, которое ни в коем случае не должно было пропасть даром. Кон чувствовал себя просто не вправе позволить им покинуть Таити, не обогатив их каким-нибудь незабываемым переживанием. Номер под названием "бродяга с южных островов" был, разумеется, всегда наготове, но его требовалось обновить, скорректировать, придать ему волнующее общечеловеческое звучание... Кон вдруг развеселился, в нем без всякой видимой причины возродилась надежда на будущее. Человек должен смотреть на галактики просто как на камешки на дороге и пользоваться звездным сиянием, чтобы яснее видеть свой путь.

Он проглотил яичницу.

— Как давно я не ел горячего! — воскликнул он.

— Как вы оказались на Таити? — спросила миссис Бредфорд.

Кон уже оклемался. Теперь держитесь! Подлинному таланту похмелье не помеха.

— Я не знал, куда податься. Меня обложили со всех сторон. Я загнан в угол.

— Полицией? — с пониманием спросила миссис Бредфорд.

— Нет, совестью! — Кон пустился в большое плавание, еще не зная, какой избрать курс.

Он помолчал, взял предложенную сигару, а Бредфорды хранили сочувственное молчание, которое, как известно, располагает собеседника к откровенности. Нет, правда, отличные ребята, нельзя обмануть их ожидания... Пока Кон раскуривал сигару, на него вдруг, словно небесная благодать, снизошло вдохновение.

Он помедлил еще немного, чтобы все выглядело естественно, задул спичку...

— Я сын летчика, который сбросил бомбу на Хиросиму. Отец мной не занимался, видел меня редко — наверно, не решался взглянуть мне в глаза. Он сменил несколько фамилий, но журналисты всякий раз ухит-

рялись дознаться, кто он такой, и ему опять приходилось бросать работу и начинать все сначала на новом месте. Он страшно пил. Чувство вины, которое он нес в себе, в конце концов передалось и моей матери, происходившей из семьи квакеров, известных своими жесткими моральными принципами; у нее появились признаки психической неуравновешенности, она даже пыталась меня убить, видя во мне сына Каина. Преступление против человечества, совершенное отцом, превратилось для нее в навязчивую идею, грозившую трагическими последствиями. Я был еще слишком мал, чтобы понять, в чем дело, но помню, что у нас в доме постоянно крутились японцы. Мы жили на побережье Тихого океана, где всегда было много выходцев с Востока, и я часто видел, как какой-нибудь японец выходил из комнаты матери, поправляя одежду. Я так никогда и не понял бы, что это значит, если бы психоаналитик, к которому меня отправили в двенадцать лет, дабы подготовить к ожидавшим меня психологическим травмам, не объяснил мне, что моя мать спит с японцами из чувства вины, в надежде на прощение и искупление. Я до сих пор помню, каким страшным шоком стала для меня эта новость. А в четырнадцать лет я свернул на плохую дорожку, подсознательно считая себя недостойным честной жизни: я воровал и пытался покончить с собой, чтобы заплатить таким способом за вину отца. Психоаналитик в колонии для подростков, куда я попал, объяснил мне, что мать стала фригидной, живя с моим отцом: получив строгое религиозное воспитание, она холодела при мысли, что занимается любовью с человеком, который сбросил бомбу на Хиросиму. И тогда ее психоаналитик посоветовал ей попробовать с японцами, чтобы убедиться, что они ее не отвергнут. Короче, поток японцев не иссякал, и некоторое время мы жили довольно широко, хотя отец сидел без работы. И все было бы ничего, если бы соседи не обратились в полицию, обвинив мою мать в проституции, а отца в том, что он наживается на ее развратном промысле. Меня забрали от родителей и определили в добропорядочную семью, где ко мне все относились очень хорошо, но в моем подсознании уже прочно угнездилась пресловутая потребность в наказании и презрении со стороны окружающих, потому что сам я себя ненавидел и презирал, ненавидя и презирая в себе отца, которого хотел наказать в моем лице, и потому совершал разные гнусные поступки. Играла свою роль и моя репутация среди одноклассников: они знали, что я сын человека, сбросившего бомбу на Хиросиму, и необычайно этим восхищались. Меня несколько раз арестовывали, но судьи всегда проявляли ко мне снисходительность из-за отца: они понимали, какая тяжесть лежит у меня на душе. Отца я видел почти всегда пьяным. Он был человек простой, не сумел оказаться на высоте положения и бомбу на Хиросиму сбросил не задумываясь, как выполнил бы любой другой приказ. Когда он понял, что из него хотят сделать Иисуса Христа, потому что человечество распяло его, заставив принять на себя ответственность за историческое действие, в котором повинно оно само, действие, превратившее его в Иуду, но Иуду распятого и ставшего мучеником, он приложил неимоверные усилия, чтобы ощутить нравственные муки, но у него ничего не получилось: он спокойно спал ночью, не видя во сне никаких обугленных трупов. Это в конце концов его и сломило. У него были страшнейшие угрызения совести — из-за того как раз, что у него угрызений совести не было, и в результате он стал считать себя чудовищем без души и сердца. Он

страшно страдал и начал пить. Он, правда, пил и раньше, до Хиросимы, но теперь знал почему. Отец чувствовал себя настолько виноватым, оттого что не чувствовал себя виноватым, что не мог смотреть людям в глаза, и стал асоциальным типом, к тому же вспыльчивым и буйным. В итоге у него накопилось такое озлобление против общества, поставившего его в невыносимое положение, и настолько обострилось сознание того, что он чудовище из-за того, что не ощущает себя чудовищем, что он совершил налет на банк, вооружившись игрушечным пистолетом. Его оправдали: психиатры объяснили суду, что это типичный случай и подсознательно он хочет любой ценой понести наказание, ибо преступление, действительно отягчавшее его совесть, — бомбардировка Хиросимы — осталось безнаказанным. Для отца это было открытие — он понял, что может отныне нарушать закон, не подвергая себя ни малейшему риску.

Он сделался настоящим бандитом с большой дороги и, если попадался, отделывался коротким пребыванием в психиатрической лечебнице: нельзя же карать человека, и без того глубоко травмированного Хиросимой. О нем непрерывно писали в газетах и после каждой хулиганской выходки приводили в пример молодежи: вот, смотрите, типичный случай нездорового сознания, жаждущего наказания, чтобы испытать облегчение. Его регулярно приглашали выступать на митингах, посвященных преступлениям Америки против человечества, и он всегда стоял на трибуне рядом с отставным офицером авиации, который снискал славу великого страдальца, разбомбив дочиста вьетнамскую деревню. Отцу даже советовали выставить свою кандидатуру на выборах. Однако поддерживать такую репутацию ему было нелегко. Если он в течение нескольких месяцев вел себя тихо и не совершал никаких противоправных действий, "атакуя общество, сделавшее из него преступника", его популярность падала, про него забывали, газеты переставали о нем писать, а борцы за мир начинали косо поглядывать на него: им казалось, что он предал общее дело, очерствел и перестал терзаться угрызениями совести. И отцу приходилось опять совершать какую-нибудь гнусность в доказательство того, что в глубине души он по-прежнему страдает и жаждет понести наказание. Короче, это была не жизнь. Он пил все больше и больше, сочетая тем самым приятное с полезным, ибо люди именно этого от него и ждали. Иногда он назначал мне встречу в баре какого-нибудь торгового комплекса, и мы подолгу сидели молча. Видит Бог, нам было о чем поговорить, но мы оба были так запуганы, что боялись ненароком сказать что-нибудь, чего в нашем положении говорить ни в коем случае не следовало. Нет, мы были не на высоте, ни он, ни я. Есть люди, созданные для величия, и есть не созданные, мой отец принадлежал к этим последним и мучался от чувства ответственности, потому что знал: на него смотрит вся страна, а он никак не может заставить себя страдать. У него на этой почве образовался комплекс неполноценности и комплекс вины, он был совершенно деморализован и постепенно начал действительно сожалеть о том, что сбросил на Хиросиму эту чертову бомбу: сто тысяч человек определенно погибли зря, даже не дав ему возможность подарить своей стране чистую совесть, демонстрируя ей, как он морально и психологически подавлен содеянным. Отец постепенно пришел к мысли, что он жертва общества и виновата во всем армия — прежде чем приказывать человеку подвергнуть атомной бомбардировке город с огромным

населением, надо проверить кандидатов с помощью тестов, потом выбрать из них наиболее совестливого, гуманного и образованного, поистине достойного этой миссии. Так мы сидели, глядя друг на друга, и ни слова не говорили, но мы друг друга понимали, и я по-своему любил несчастного старика. Я чувствовал: он больше не может, и тогда я решил ограбить ювелирный магазин, чтобы дать ему немного передохнуть. Газеты объяснили мой поступок ненавистью к отцу: я стремился наказать его и отомстить за то, что ношу его имя. Меня опять оправдали, но спустили на меня целую свору психиатров. Мать по-прежнему спала с японцами, но ей было проще: она дочь пастора с наследственной предрасположенностью к покаянию. Она понимала, что такое грехопадение, а мы с отцом были грубыми толстокожими мужланами, если говорить честно. Один или два раза он приходил на наши встречи в состоянии пьяной агрессии, орал, что ему все осточертело, осточертела моя мать со своими японцами, а ему лично от этой проклятой Хиросимы ни жарко ни холодно и надоело мучаться оттого, что он не мучается, и если я стыжусь того, что мой отец — такая бесчувственная скотина, то могу катиться ко всем чертям. Потом он начинал все крушить, а когда приезжала полиция, ему опять приходилось объяснять, кто он такой, чтобы не платить штраф, и полицейские просили хозяина заведения не подавать жалобы, потому что этот человек — мученик науки и его надо понять. Отец покидал бар с гордо поднятой головой, а в дверях оборачивался и показывал мне язык, после чего мы на какое-то время переставали встречаться. В конце концов я возненавидел его действительно — за всю кучу неприятностей, которые он мне доставлял. Многие считали, что я должен сделаться педерастом из ненависти к отцу, кажется, так полагается. Я даже перестал ходить к психиатру, несмотря на категорические требования инспектора, под чьим наблюдением я состоял. У меня никак не укладывалось в голове, почему я должен становиться петухом только из-за того, что мой отец сбросил бомбу на Хиросиму, как будто одного этого несчастья недостаточно. Короче, общество окончательно меня достало. И тут опять объявился отец, так как в газетах написали, что он не осмеливается смотреть сыну в глаза. Он явился вместе с журналистами и посмотрел мне в глаза, чтобы они это видели, а мне стало до того противно, что я схватил пивную бутылку и разбил о его лоб, а назавтра, конечно, все это попало в газеты. Америка была потрясена до слез, все бросились посылать мне подарки, в общем, я сбежал в Сан-Франциско и нашел там работу под чужим именем. Но тут разразился новый скандал: отец попытался вытянуть крупную сумму у японского посольства в Вашингтоне под тем предлогом, что им выгодно, чтобы в мире продолжали говорить о вине Америки перед Японией, но, поскольку японцы уже платили сорока двум проходимцам, которые якобы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, они ему отказали. Вместо того чтобы заткнуться, мой папаша сделал заявление для прессы, жалуясь, что японцы отказываются возмещать ему моральный ущерб за перенесенные страдания. Все это происходило как раз, когда японский летчик, который участвовал в авиационном налете на Пёрл-Харбор, совершал покаянную поездку по городам Америки, типа mea culpa[1] и так далее, и отца обвинили в том, что он затеял этот скандал с целью помешать установлению дружеских

1. Моя вина (*лат.*).

отношений между США и Японией. Думаю, вы понимаете, как всё это меня допекло. У меня была единственная мечта — поступить в авиацию и разбомбить Хиросиму, или Нью-Йорк, или все равно что. Я хотел выучиться на летчика, но в авиацию меня, естественно, не взяли, из-за отца. В конце концов я понял, что мне ничего не остается, кроме как стричь купоны со своего положения, профессионально играть роль сына, несущего бремя отцовского греха, и я нашел одного типа, который писал за меня статьи, а я их подписывал, потом я стал разъезжать с лекциями, словом, пошел в гору. Но тут мы снова разругались с отцом: он приехал ко мне в Сан-Диего и заявил, что я отнимаю у него кусок хлеба, что на двоих не хватит, Хиросима принадлежит ему, это дело его жизни, особенно теперь, когда он приобрел великолепный нервный тик, весь дергается, и при его-то сединах — он рассказывал публике, будто поседел через несколько часов после Хиросимы, — он не допустит, чтобы родной сын вздумал с ним конкурировать. В итоге мы с ним поделились по-братски. Я взял себе западное побережье, а он все остальное. Отец немного умел играть на гитаре, и для него кто-то сочинил фолк-сонг "Хиросима, ты меня разбомбила". Это история про ковбоя, который покинул родные прерии и семью, пошел воевать и стал орудием ужасающего преступления, диск продержался целый год на одном из первых мест в хит-параде, сразу за "Роллингами". Во Франции даже фильм сняли на эту тему, и он имел бешеный успех — "Хиросима, любовь моя". Отец с его бомбой запустил настоящий культурный бум. Я тоже хотел урвать свой кусок пирога, купил электрогитару и вместе с приятелями, вернувшимися из Вьетнама, создал собственную фолк-группу, но к тому времени этим уже занималось столько народу, что мы не сумели пробиться. Отец стал мне ненавистен еще больше, и я даже заявил журналистам, что он самозванец и никакую бомбу на Хиросиму не бросал, но военное ведомство выдало ему справку, что он — это он и его права сомнению не подлежат. Вот так. Он не оставил мне ничего, все прибрал к рукам. Его фотографии попадаются мне везде: в витринах, на дисках, он стал символом американской вины перед человечеством и дает возможность всем чувствовать себя виновными и иметь нечистую совесть, что очень приятно, так как доказывает, что она у вас есть and that you really care[1].

Он не посылает мне ни гроша. А когда я прошу у него денег, он пишет мне письма с поучениями, напоминает, что добился всего сам — a self-made man — ценой горя, слез и крови и мне остается лишь последовать его примеру. Идет война во Вьетнаме, почему бы мне не отправиться туда добровольцем, чтобы разделить страдания вьетнамского народа, пошвыряться в него бомбами и тоже стать виновным, а может, если повезет, меня пошлют бомбить Ханой и тогда я тоже выбьюсь в люди. Я вернусь оттуда слегка сдвинутым, зато с кучей сюжетов для песен. Общественные достижения моего отца вам известны — с него началось возрождение фолк-рока: бомба, радиация, Вьетнам, расовая дискриминация, нищета в негритянских кварталах — все пошло в ход, стало темой для огромного количества песен и баллад, от Боба Дилана до Джоан Баэз и еще сотен других. А я уехал на Таити вместе с моим агентом, который придумал гениальную вещь, чтобы меня раскрутить: арендовать белоснежный парусник, назвать его "Человеческое досто-

1. И что вы действительно не остались равнодушны (*англ.*).

инство" и взять курс на Мурароа, когда Франция будет проводить там ядерные испытания, — чтобы облучиться и таким образом выразить свой протест. Разумеется, французские корабли нас перехватят и арестуют, так что мы почти ничем не рискуем, зато представьте себе заголовки в газетах: "Сын человека, сбросившего бомбу на Хиросиму", и т. д. и т. п. Я был уверен, что при такой рекламе на меня должны посыпаться самые блестящие предложения. Но когда мы сюда приехали, мой агент потерял ко мне интерес — кинулся на местных женщин, и больше я его не видел. Мне вечно не везет. Такие дела. Вы спрашивали, как я тут очутился, ну вот, теперь вы знаете. Проклятие отца тяготеет надо мной, да, я проклят, мне нет спасения. Моя судьба исковеркана преступлением, которого я не совершал, но от которого не освобожусь никогда. И все-таки я продолжаю жить, чтобы служить примером, чтобы предостерегать людей. Я даже заключил контракт с директором местного турагентства, он предоставил мне эксклюзивные права на эту роль, и если явится кто-то другой, кто захочет изображать перед туристами сына, двоюродного брата или племянника того типа, который сбросил бомбу на Хиросиму, он обязуется его выслать. Я, и только я имею эту монополию на Таити. Меня называют здесь просто Сын Человека, и этого довольно — всем и так ясно, что это значит. Надеюсь, вы правильно понимаете: я не просто аттракцион для туристов. Я приношу пользу, у меня есть миссия. Когда меня показывают отдыхающим и они видят, как мы с моей вахинэ целыми днями трахаемся, пьем и танцуем, чтобы забыться, то есть забыть, кто я есть, это не оставляет людей равнодушными, они начинают чувствовать себя виноватыми передо мной. Когда я беру гитару и пою свою знаменитую "Балладу проклятого сына", все украдкой утирают слезы: есть что-то трагически прекрасное в образе греха среди земного рая, это волнует куда сильнее, чем если бы я выступал, как Боб Дилан, на сцене мюзик-холла. Моя известность растет, я уже получил предложение от Диснейленда. Что ж вы хотите? Я обесчещен собственным отцом, и когда говорят, что я бездельник, жуир и подонок, мне хочется спросить: кто в этом виноват? Я принял на себя вину Человека и примирился с этим, я даже не скрываю, что счастлив, вот до чего я дошел, ниже пасть невозможно. Я докатился до того, что позирую для порнографических открыток, чтобы еще больше себя унизить и сполна ощутить свое падение. Я продаю их по пятьдесят франков десяток. В сущности, это снимки Хиросимы, самые похабные за все существование человечества. Исторические документы, так сказать. Вот, взгляните...

Кон достал из кармана открытки и бросил на стол. Это были копии знаменитых порнографических открыток, которые Гоген купил в Порт-Саиде, по пути на Таити, и которые находятся теперь в архиве Дюссельдорфского музея.

Миссис Бредфорд плакала от унижения. Лицо ее мужа выражало смятение и гнев. Изумрудные волны, кокосовые пальмы, белый пляж и веселые водопады дышали восхитительным равнодушием — равнодушием природы к делам человека, которые ее не касались. Кон чувствовал, что сумел оказаться на высоте своей благородной ненависти и не зря присвоил имя Чингис: только что во главе стотысячной армии разъяренных защитников природы он предал огню и мечу преступную цивилизацию и на дымящемся пепелище исполнил победный танец со скальпом под смех и рукоплескания отчаянной молодежи.

— Прошу вас немедленно покинуть яхту, — обратился к нему бледный от возмущения Бредфорд. — Это низость. Я знаю, что у вашего поколения нет ничего святого, но существует все-таки предел цинизму.

Кон встал.

— Могу я взять сигару?

— Берите and be damned[1].

"Монтекристо". Кон взял всю коробку. Он был страшно доволен собой, чувствуя себя крестоносцем, который сделал остановку в пути, чтобы разгромить Византию, и готовился двинуться дальше, в Иерусалим, для освобождения Гроба Господня.

— Можете взять шлюпку. Оставьте ее на берегу.

Кон не взял шлюпку. Он прыгнул в воду и поплыл на спине, держа над головой коробку сигар. Он видел, как миссис Бредфорд схватила открытки и вышвырнула в море. Между тем некоторые из них с идеологических позиций вполне могли бы понравиться Мао и его красным псам культуры.

Кон плыл с сигарой в зубах, и глаза его переполняло небо. <...>

Сила в действии

Полтора года назад, едва оправившись от тяжелого душевного кризиса, Кон сбежал на остров Тринидад в Карибском море и жил там на содержании у девушки из "Голубой кошки" — не столько ради хлеба насущного, сколько потому, что роль подонка служила отличным прикрытием: никому не могло прийти в голову искать его среди сутенеров. К тому же он питал к проституткам слабость. На протяжении тысячелетий они были жертвами хитроумной подтасовки, заключавшейся в том, что критерий Добра и Зла устанавливался ниже пояса, и голова, таким образом, оказывалась ни при чем. Девушку звали Ламартина Джонс, она была негритянка и опекала Кона с какой-то интуитивной чуткостью, которую проститутки обычно проявляют по отношению к существам невинным и чистым. Глядя, как она поднимается наверх с клиентом, Кон испытывал приятное ощущение безопасности: со стороны его поведение выглядело вопиющей низостью, и даже в самом буйном воображении не могло зародиться подозрение насчет того, кто он на самом деле. Он находился в бегах уже три месяца и был практически уверен, что сумел ускользнуть от своих ангелов-хранителей — французских, русских, китайских или американских. Теперь он мог позволить себе напиться, ничего не боясь. И вполне успешно боролся со своим тайным демоном-искусителем. Он выбрал путь самоустранения и сидел целыми днями у моря на камне, не делая абсолютно ничего. Перед тем как исчезнуть, он оставил у себя в кабинете в Коллеж де Франс прощальную записку — назавтра газеты сообщили, что он, вероятнее всего, покончил с собой.

Но иногда, среди ночи, Кон не выдерживал, отодвигал москитную сетку, вставал и выходил на берег. Лунная белизна покрывала пляж от края до края, от мыса бухты Соврин до пальмовой рощи Болл-Пойнта и руин крепости Моргана. Океан, затаив дыхание, выжидал, следил за каждым жестом Кона, готовый к нападению при малейшем резком движении. Мелкий, шелковистый, девственно чистый песок манил и звал.

1. И будьте прокляты (*англ.*).

Было очень светло, мир хранил безмятежный покой, словно уверенный, что Кон не предаст его. Всплеск воды у рифа, лунный отблеск на спине краба... Кон пытался устоять, но это было выше его сил...

Взяв палку и убедившись, что в серебристой полутьме нет любопытствующих, он опускался на колени и давал волю своей подлинной натуре. Он даже не задумывался: за долгие месяцы добровольного поста в голове у него накопились готовые решения, их оставалось только записать. Он не думал, он просто открывал шлюзы, отдавался целиком рождавшейся на глазах поэме без слов, ее беззвучной музыке. Так он часами, едва сознавая, что делает, ползал на коленях по песку, иногда вставая, чтобы оглядеть строки, которые тянулись по пляжу между маленькими Везувиями, где затаились перепуганные крабы.

Он улыбался. Получалось очень красиво.

Потом он ждал, пока утренний прилив покроет его творение. Океан подступал к математическим символам тревожно вздрагивая, словно опасался, как бы что-то из начертанного не ускользнуло от него, ибо он выполнял здесь роль отца и хранителя человечества. Иногда Океану не хватало разбега на каких-нибудь несколько сантиметров, и тогда Кон сам тщательно стирал и затаптывал последние строчки. И снова удовлетворенно улыбался: кто знает, может быть, он сейчас, стерев свои записи, спас от гибели целый город, или страну, или гены еще не родившегося ребенка.

Оставалась, разумеется, его голова. Там все было по-прежнему четко записано — не смоешь, не сотрешь, не искоренишь. Но тут он поделать ничего не мог. Он брел по направлению к лодке, стоявшей на песке посреди пляжа, и смотрел, как она краснеет от первых ласк зари. Чтобы облагодетельствовать человечество с помощью воздержания от действия, существовал только один гарантированный способ: привязать на шею камень и утопить в Океане свою грешную голову. Но поздно. Прометей, конечно, мог покончить с собой, чтобы уклониться от своего призвания, но он был уже не в силах вырвать из рук Власти священный огонь, который она у него похитила.

Как-то вечером Кон сидел на пустынном пляже Болл-Пойнта и смотрел, как Карибское море меняет цвет, проходя через весь спектр оттенков и полутонов с удивительным художественным талантом. У самого горизонта, за островком Элизабет, вода и небо соединились в закатном взрыве, разметавшем во все стороны клочья солнечной плоти, и теперь они подрагивали на пальмах, на цветах, окрашивая алым весь берег между старой португальской крепостью и скалами.

А потом Океан вдруг отверг небо, и у ног Кона осталась лежать лишь бескрайняя темная синева, на которой покачивались кое-где фиолетовые лоскутья.

Он услышал тихий свист и увидел что-то похожее на песчаную змейку, промелькнувшую в двух шагах от него. Видимо, местный мальчишка швырнул, как водится, в белого человека камень. Кону уже несколько раз доставалось здесь за свою кожную аномалию. Он оглянулся: никого. В пятидесяти метрах от того места, где он сидел, начиналась пальмовая роща. Кон возмущенно вертел носом в поисках невидимого агрессора и вдруг почувствовал обжигающую боль в икре — в него стреляли, причем пистолет явно был с глушителем, чтобы он ничего не услышал и отправился на тот свет без паники. У него хватило ума не броситься бежать — на огромном открытом пляже не было никаких шансов уйти живым.

Кон поднес руку к сердцу, замер на миг, упал и притворился мертвым. Убийца, похоже, поверил. Никто не вышел из рощи — это означало, что враг не осведомлен о его репутации мистификатора.

Уткнувшись носом в песок и кося по сторонам полуприкрытыми глазами, Кон изображал труп. Спасли его мальчишки, которые прибежали в рощу играть в прятки. Кон услышал их голоса и сразу следом шум отъехавшего автомобиля. Тропическая ночь довершила дело его спасения, опустившись со свойственной ей быстротой. Кон ощупал ногу: рана оказалась поверхностной и жгла скорее его любопытство. Белых пока еще не линчевали на Тринидаде — мировые новшества доходили сюда с запозданием. Какой-нибудь поклонник Ламартины Джонс, боровшийся таким способом за ее благосклонность? Маловероятно, ибо места хватало для всех.

Оставалось единственное объяснение: за ним следили от самого Парижа. Несмотря на все ухищрения, он так и не сумел отделаться от хвоста.

Кон подождал, пока луна затянется муссонными тучами, дополз до пальмовой рощи и явился в "Голубую кошку". Он вошел через черный ход, поднялся на второй этаж, где девушки обслуживали клиентов, и послал одну из них за Диди, хозяином заведения.

Диди был в прошлом ближайшим соратником знаменитого "пастора" Бойзи Синга, имевшего на своем счету более пятисот трупов и вздернутого после двадцатилетнего царствования над преступным миром Тринидада. И хотя Диди давно стал мультимиллионером, бросить заниматься рэкетом, сутенерством и торговлей наркотиками ему мешала мнительность: кто-то ему сказал, что, когда бизнесмены отходят от дел, они вскоре умирают от инфаркта. А его врач подтвердил, что нет ничего вреднее для здоровья, чем резко прервать активный образ жизни.

Это был шестидесятилетний чернокожий великан с явной примесью индейской крови. Он продолжал носить, по моде своей молодости, бриллиантовую фиксу, чего невероятно стыдились его дочери, вышедшие замуж за представителей местной элиты.

— Что это с тобой?

— В меня стреляли, Диди. Мне надо срочно смыться, и по-тихому, иначе они до меня доберутся.

— Кто они?

Кон ответил не задумываясь:

— Люди Кастро.

Бриллиант Диди метнул молнию, за которой последовал гром проклятий, достойных великого Бойзи. Диди на дух не переносил коммунистов.

— За что?

— Я знаю имя выродка, которому они заплатили, чтобы он убил Кеннеди. Им страшно, что я их сдам. Я уже два года скрываюсь. И они опять на меня вышли. Рано или поздно они меня прикончат, Диди.

На следующий день центральная тринидадская газета сообщила, что утром на пляже нашли неопознанный труп бродяги и полиция разыскивает убийцу. А Кон в ту же ночь сел на одно из грузовых судов, принадлежавших Диди, и отплыл в Венесуэлу, где полностью изменил внешность в клинике доктора Муньоса. По закону требовалось представить серьезные основания для пластической операции, и Кон, подделав подпись знаменитого психоаналитика, принес справку, гласившую следующее:

"Болезнь г-на Кона представляет собой типичный случай ненависти к отцу, на которого он, к несчастью, внешне очень похож. Это послужило причиной неоднократных попыток самоубийства, которые, совершенно очевидно, являются не чем иным, как символическими попытками убийства отца. Необходимо радикальным образом изменить черты лица г-на Кона, чтобы ликвидировать, насколько возможно, следы этого сходства и создать тем самым благоприятные условия для дальнейшего лечения".

Хирург отлично сделал свое дело, и Кон отправился на Таити с совершенно новым лицом. На всякий случай он еще обжег себе подушечки пальцев, чтобы избавиться от отпечатков, наверняка хранившихся в полицейских картотеках всех цивилизованных стран.

Он не вспоминал больше о выстреле на Тринидаде, но однажды ему попалась под руку работа французского философа Мишеля Фуко, и там он нашел нечто, что в принципе могло бы послужить объяснением. Человек, пишет Фуко, является изобретением последнего времени, и археология нашей мысли легко приходит к выводу о его недавнем происхождении. И, возможно, о близком конце.

И, возможно, о близком конце... Не следует ли это трактовать как признание? А вдруг выстрелом на Тринидаде кто-то хотел ускорить вышеупомянутый близкий конец? Вполне вероятно. Странно только, что можно вот так, черным по белому, сообщать о своих планах, но тут, скорее всего, был расчет на недоверчивость публики.

Он остановился, сел на песок у воды, спиной к пальмам. На Таити ему нечего было бояться. Если Фуко прав, то у человека нет врагов, кроме него самого. <...>

Сигнал тревоги

Держа Мееву за руку, он шел рядом с ней под раскаленным солнцем, оставлявшим для тени лишь жалкие сантиметры, положенные ей по законам полудня. Небо над мачтами было так насыщено светом, что Океану приходилось одному поддерживать в пейзаже синеву, на которой глаз отдыхал от натиска солнца. Кона охватила тоска от всего этого сверкания, он вдруг остро ощутил присутствие своего настоящего "я", и борьба, которую он вел полтора года, непрерывно перевоплощаясь, чтобы убежать как можно дальше от своей подлинной сущности, показалась ему бесславно проигранной. Скорее всего, виновата была суровая бескомпромиссность солнца, вынуждавшая видеть вещи такими, как они есть, но он чувствовал себя оголенным и непоправимо опороченным, как будто бомба Мурароа уже взорвалась посреди земного рая. Он мысленно видел себя в Париже, получающим перед Домом инвалидов из рук Власти награду за свою капитуляцию — специально учрежденный для него по такому случаю орден Созвездия Большого Пса.

Он провел рукой по бедрам Меевы — это помогало бороться с чувством вины, охватывавшим его всякий раз, когда он терял контакт с безгрешной природой.

— У тебя самая роскошная задница на земле, — сказал он, по-джентльменски оставив шанс неисследованным пространствам космоса.

Она улыбнулась от удовольствия. Когда Меева улыбалась, медный цвет ее лица и глаз приобретал золотистый оттенок, где играли отблески солнца и веселья.

— Мой немецкий попаа говорил, что при такой тонкой талии мой зад напоминает греческую амфору.

Кон почувствовал себя оскорбленным.

— Ну нет! — возмутился он. — Что делать в Полинезии этой старой шлюхе — греческой цивилизации, затасканной до невозможности?

— Откуда мне знать? Не злись.

— Надо быть просто старым похабником, чтобы думать о греческих амфорах, когда под рукой есть такая самодостаточная и прекрасная вещь, как женская попка! Цивилизации несопоставимы между собой! Но люди не успокоятся, пока не загадят все!

Мимо проехал черный "ситроен" губернатора Французской Полинезии с развевающимся трехцветным флагом и с мотоциклистом впереди. Неожиданно машина замедлила ход, и произошло невероятное событие, не оставившее сомнений в том, что бунтарская пляска человека, который именовал себя Чингис-Коном в честь другого непобежденного смутьяна, подошла к концу.

Губернатор высунулся из машины и приветливо ему кивнул.

После чего "ситроен" продолжил свой путь, а Кон, оглядевшись в надежде, что этот дружеский кивок относился не к нему, а к кому-то другому, был вынужден посмотреть правде в глаза: губернатор Французской Полинезии приветствовал именно его, Кона, причем необычайно любезно.

У него задрожали колени. Это приветствие не могло относиться к отщепенцу Кону, отпетому хулигану и распутнику, чье поведение и само присутствие на Таити было для каждого, кто достоин называться человеком, личным оскорблением и которого только вмешательство Бизьена да тень великого предшественника спасали от высылки.

Следовательно, ответ один.

Губернатор знает, кто он на самом деле.

Кона не держали ноги. Он с перевернутым лицом опустился на скамейку.

— Боже милосердный!

— Что с тобой стряслось, Кон?

— Со мной поздоровался губернатор.

Меева пожала плечами.

— Ты спятил?

— Говорю тебе, он со мной поздоровался.

— Лечись!

Это в самом деле выглядело совершенно невероятным, и Кон засомневался, не померещилось ли ему.

— Ладно, посмотрим, — решил он. — Посидим подождем, пока он проедет обратно.

Но долго ждать не пришлось. Правая рука губернатора господин Кайебас проехал на своей "симке" спустя десять минут. Знакомство Кона с этим государственным мужем было весьма поверхностным и ограничивалось ровно двумя словами: "Чертов босяк!", которые Кайебас послал Кону вслед, когда тот едва не сбил его на мотоцикле на площади Маршала Жоффра. Однако на сей раз Кайебас резко затормозил и остановил машину перед скамейкой.

— А, господин Кон! Говорят, вы теперь увлекаетесь живописью? Очень бы хотелось выбраться взглянуть на ваши картины... Но, сами понимаете, вечно не хватает времени... Кстати, вы в курсе, что на Таити приезжает президент в связи с новыми испытаниями на Мурароа? Будет торжественное построение гарнизона и... гм-гм... вручение наград...

— А мне-то что до этого? — в ужасе закричал Кон.

Кайебас улыбнулся.

— Да, да, знаю, знаю... В общем... Отдыхайте, приятных вам развлечений!

Машина уехала. Кон вернулся в фарэ в состоянии полной паники, его знобило. Меева решительно схватила бутылку касторки и налила ему большую ложку. У Кона хватило присутствия духа незаметно выплеснуть ее в горшок с геранью, затем он вышел из дому, улегся в гамак, прикрыл лицо капитанской фуражкой и попытался взять себя в руки. Волноваться не стоит, все объясняется просто: история с Гогеном стала для властей хорошим уроком, и теперь все чиновники, от низших до высших, стараются показать, каким уважением, дружелюбием, можно даже сказать, любовью окружены художники на Таити. Он слегка пришел в себя. Гамак висел чуть в стороне от дома, между двумя высокими деревьями, в чьих густо переплетенных ветвях цвело, казалось, неисчислимое множество сверкающих голубых цветов — небо. Где-то далеко, над рифом Уана, рокотал Океан, и это успокаивало, как успокаивают обычно далекие раскаты грома. Кон позвал Мееву, и она прилегла рядом. Ее большое теплое тело защищало его от внешнего мира, как Великая Китайская стена. Закат застал их вместе и одел лиловатым пурпуром, потом опустилась тьма и укрыла их с заботливым участием, которое она испокон веков дарит беглецам.

Кон не спал. Он провел ночь, борясь с волнами, набегавшими на него одна за другой из недр Океана. Самыми сокрушительными были те, что приходили из двадцатого века, но он ухитрялся страдать и от более далеких, идущих действительно из глубины веков, и к двум часам поймал себя на том, что думает о проститутке, которую крестоносцы швырнули на алтарь Спасителя в храме Святой Софии во время разграбления Византии. Лучше бы они этого не делали. Волна детей из секты катаров[1], уничтоженных Симоном де Монфором, обрушилась на него незадолго до рассвета, сразу вслед за волной Освенцима, и тут же накатила волна чернокожих рабов, которыми Кон, к своему стыду, торговал на невольничьем рынке в Новом Орлеане, а История по-прежнему преспокойно покачивалась на пенных гребнях, как пробка, и волны продолжали выбрасывать к его ногам обломки прошлого, где тоже не обошлось без его участия, и где мелькали лица Робеспьера и Эйхмана. А около четырех утра он уже чувствовал себя в ответе за наводнения во Флоренции, за тайфун Инес и загрязнение атмосферы. Он плавал в поту, деревья тихонько покачивали над ним усыпанные лунными цветами ветви, и его раскаяние было столь велико, что он ощущал себя человеком во всей полноте, всеми сразу и каждым в отдельности, и от этого некуда было деться. Иногда он устремлял взгляд к небу и искал среди сверкающих световых лет созвездие Пса. Человечный или бесчеловечный? Это было одно и то же. Луна присматривала за своим столовым серебром, пляж хранил первозданную белизну и неомраченные надежды, а светлячки

1. Средневековая секта, подвергшаяся гонениям католической церкви.

сновали во тьме с фонариками — крохотные Диогены, не прекращавшие вечный поиск.

Кон — колониалист

Назавтра, когда он проснулся, солнце уже хозяйничало по-полуденному, куры нарушали полинезийский колорит чисто нормандским кудахтаньем, сверкающая лагуна казалась усыпанной битым стеклом. Кон увидел лиловые, желтые, красные цветы, бегущие к нему через банановую рощу, — парео Меевы. Еще не опомнившись от ночных кошмаров, он вскочил с гамака.

— За мной пришли?

— Кон, мотоцикл угнали.

Он пошел за дом, где оставлял по вечерам под гуаявами свою "хонду". Мотоцикла не было. Кон послал в адрес "грязных таитянских макак, которые воруют все, что попадется", серию проклятий, приправленных многочисленными референциями полового характера, ибо именно здесь, в первопричине своего происхождения, люди ищут обычно самые оскорбительные слова. Потом он засуетился, как всякий настоящий буржуа, незаконно лишенный собственности, побежал с жалобой к жандармам и был встречен злорадным хихиканьем — в роли пострадавшего Кон выступал впервые. Его заверили, что мотоцикл рано или поздно найдется в каком-нибудь овраге. Кон в резкой форме выразил свое отношение к тому, как полиция обеспечивает безопасность граждан и охраняет их честно нажитое имущество, и отправился домой пешком. При выходе из парка Республики на него набросилась с дикими криками компания молодых таитян, уже некоторое время шедшая следом. Единственное, что он мог потом вспомнить, это слова "Проклятый янки!", сопровождавшиеся ударом бутылкой по голове. Он пришел в себя уже дома, в кровати, с мокрым полотенцем на лбу, в окружении голосившей Меевы, которая вопила, что убили ее папаа, а также встревоженного Бизьена — если это акция, направленная против иностранцев, то для "Транстропиков" она означает начало катастрофы — и молодого отца Тамила, случайно оказавшегося рядом, когда произошло нападение. У Кона так раскалывалась голова, что он даже не выразил недовольства. Физическая боль — отличное средство против страдания другого рода, которое разве что удары по голове могут иногда ненадолго облегчить.

— Что произошло?

Доминиканец воздел руки к небу.

— Вы навлекли на себя народный гнев.

Кон заинтересовался.

— Да что вы? Почему же только сейчас?

— Вы доигрались, господин Кон. Вам же известно, до какой степени таитяне суеверны. На днях — кажется, это случилось, когда лежал при смерти вождь Вириаму, — вы сказали крестьянам, будто собираетесь поймать его дух и засунуть в двигатель мотоцикла. Туземцы, в сущности, просто большие дети, а вы цинично заявили им, что ваш мотоцикл работает на энергии человеческой души, поэтому вы сейчас дождетесь, когда Вириаму умрет, и поместите его душу в бензобак, а потом — и это уже была настоящая провокация, — когда смерть наступила, вы сразу же

укатили, как будто на самом деле заправились, и даже не попрощались с семьей покойного.

Кон нехорошо посмотрел на Мееву.

— Я рассказала только Полетте Фонг, — пролепетала она. — Я же понимала, что ты шутишь.

— А упомянутая Полетта Фонг рассказала, естественно, всем и каждому, — продолжал доминиканец. — В результате крестьяне толпой явились в Папеэте и утащили ваш ни в чем не повинный мотоцикл. Они разобрали его до последнего винтика, чтобы освободить тупапау своего возлюбленного вождя, после чего сбросили обломки в океан.

Кон поцокал языком, качая головой.

— И он не взорвался?

— Что?

— Бак. Им крупно повезло. От Таити не осталось бы камня на камне. Для пополнения вашего религиозного образования могу сказать: когда человеческая душа взрывается, происходит по меньшей мере революция. Это же страшная разрушительная сила... Сотни мегатонн.

— Не валяйте дурака, Кон, — сурово сказал Бизьен. — Надо уважать верования этих людей.

Кон все еще не мог прийти в себя. Он никак не ожидал, что его слова кто-то примет всерьез.

— Все-таки забавно, — сказал он. — С чего это таитяне вообразили, будто у них еще есть душа? Мы ее украли давным-давно. Последние остатки находятся в музеях Европы и Америки. Вы же сами знаете, Бизьен.

— Очень смешно, — хмуро сказал Наполеон туризма. — Просто сейчас расхохочусь.

Кон поднес руку ко лбу.

— Так они за это чуть не проломили мне череп?

И тут он получил возможность насладиться истинным совершенством.

— Нет, вас побили не деревенские, — ответил Бизьен. — Это было бы занятно и, следовательно, полезно для туризма. Пережитки древних верований и так далее... Нет, это были не простодушные дикари, а совсем другие.

— Какие другие?

— Развитые. Или, если предпочитаете, сторонники прогресса. Те, кто хотят создать независимое индустриальное государство Океания. Они обвиняют вас в том, что вы поощряете дикость и получаете от меня мзду за то, что помогаете "империалистам" держать народ в невежестве и суеверии. Короче, Кон, вы колониалист. Они очень резко настроены против вас, и лучше вам на время исчезнуть. Я не шучу. Они ненавидят людей, которые пытаются сохранить на Таити "чистоту и невинность", как мы с вами выражаемся. Вы рискуете головой.

Кон закрыл глаза. Исчезнуть? Он только об этом и мечтал.

— Съешьте конфетку, — предложил Тамил участливо. — Угощайтесь. И оставьте себе всю коробку.

Кон взял шоколадную конфету. Утешение из рук Церкви.

— Куда же мне деваться?

— Можете провести пару недель на полуострове Таиарапу, — предложил Бизьен. — У меня там есть для вас кое-какая работа. Расскажу, когда вам станет получше.

Апофеоз Барона

Назавтра Бизьен изложил свой план.

Полуостров Таиарапу был самой неосвоенной частью Таити — нагромождение гор, воюющих с напористой и необычайно буйной растительностью, чей натиск удавалось сдержать лишь самым высоким вершинам. А на побережье обитали в пещерах так называемые "дети природы", причем кое-кто из них жил там со времен Первой мировой войны.

— Это единственный уголок Таити, — говорил Бизьен, — действительно заслуживающий названия "земной рай". Я намерен открыть его для туристов. Туда обещают провести дорогу, но пока что мы организуем доставку людей на пирогах. По-моему, это настоящий Эдем, идеальное место для Адама и Евы. Вы ведь помните, сколько у меня было проблем с Сарразеном и его вахинэ, которым я доверил эту роль на холме Пуа. Теперь предлагаю ее вам. Мы уже начали работы по установке декораций. Конечно, больше месяца вы вряд ли выдержите, но за это время здесь про вас успеют забыть.

Кон не раздумывая согласился. Он не раз бывал на полуострове Таиарапу и успел познакомиться кое с кем из "белых дикарей". "Дети природы" стали достопримечательностью Таити, и местные власти всячески их привечали. Бизьен лично следил за тем, чтобы пещеры не пустовали, и постоянно находил для них новых обитателей, платя им по пятьдесят франков в неделю. Это пещерное поселение привлекало туристов со всего мира и было предметом жгучей зависти Диснейленда во Флориде. Отважные гости Таити и члены Средиземноморского клуба с готовностью пускались в двухчасовое плавание на пироге, чтобы взглянуть на людей, служивших живой связью с каменным веком. Все известные путеводители по Таити упоминали о "детях природы" с ноткой лиризма: "В наш век необратимого прогресса, — писал Жан-Мари Лурсен в труде, опубликованном издательством "Сёй", — утешает и ободряет мысль, что этот край останется, вероятно, еще надолго тайным тихим раем бананоядных Адамов, светлокудрых поклонников бога Пана". Мысль о боге Пане сразу понравилась Бизьену, и он поручил этнологам разобраться, есть ли хоть малейшая зацепка для установления связи между культом Вакха и Венеры и оргиастическими ритуалами полинезийцев. Достаточно было бы доказать, что мореплаватели эпохи Гомера побывали на Таити и оставили здесь следы своего посещения, примерно как Тур Хейердал, совершив плавание на "Кон-Тики", доказал наличие связей между цивилизацией инков и полинезийскими идолами.

Короче, "дети природы" представляли собой бесценный капитал, и Бизьен бдительно охранял их, менял, когда они приходили в негодность, как, например, бывший механик с заводов "Рено", который, не выдержав, смастерил себе движок и установил в пещере холодильник и электрическую плиту, что Бизьен счел профанацией и надругательством над идеей. Даже самые перспективные из новичков доставляли ему массу хлопот. Так, швед Арне Бьоркман, молодой великан с лицом викинга, который жил в пещере уже около пяти лет и чья борода достигла такой длины, что делала ненужным фиговый листок, стал вдруг капризен и несговорчив. Когда ему запретили глушить рыбу динамитом, он на следующий день принял туристов во фланелевом костюме,

замшевых туфлях и при галстуке, сидя в шезлонге со стаканом виски в руке, рядом с включенным транзистором, и читая роман Скотта Фицджеральда. После этого, так и не выдав ему официального разрешения на использование динамита, власти старательно закрывали глаза на учиняемое им массовое истребление рыбы. Планировалось даже наградить его медалью "За заслуги перед туризмом". Затем была история с рекламой лимонада "Грейпс", для которой он очень эффектно позировал. Фото появилось во всех американских иллюстрированных журналах, разъяренный Бизьен пригрозил уволить шведа за вандализм, и тогда он слегка образумился. Вид этого первобытного красавца, выходящего нагишом из пещеры и потрясающего дубиной, производил необычайно благоприятное впечатление на представительниц слабого пола.

Кон и Меева были не против поработать Адамом и Евой для туристов. Бизьен трудился не щадя себя и, несмотря на отсутствие кредитов, готовил фестиваль "Звук и свет", этакий культурный дайджест, воспроизводящий в миниатюре знаковые моменты человеческой истории — библейские сцены, Парфенон, Распятие и все, что за ним последовало, — причем значительно раньше, чем этим занялись американцы, перехватив идею и начав делать то же самое, только с бóльшим размахом.

Кону не терпелось уехать: почтительное приветствие губернатора тревожило его гораздо сильнее, чем удар бутылкой по голове. Пора было пускаться в бега, если он не хотел снова увидеть себя на первых страницах газет, и месяца на полуострове Таиарапу должно было хватить, чтобы в благоприятных условиях, без лишних глаз, подготовить побег на какой-нибудь необитаемый атолл архипелага Туамоту.

По пути на полуостров они остановились в Фареуа: Меева непременно хотела совершить туда паломничество, чтобы положить курицу и несколько банок американских консервов к алтарю Великого белого идола и, по древнему обычаю, прикоснуться к нему лбом, чтобы он даровал им удачу.

Деревня являла собой сплошную строительную площадку. По указанию Бизьена здесь строился ашрам, точная копия ашрама в Пондишери, способный пропустить семьдесят тысяч посетителей в год, из которых примерно шесть тысяч смогут остаться здесь на девять месяцев для медитации. Паава встретил их с распростертыми объятиями и показал проект, сделанный на общественных началах одним из учеников Ле Корбюзье. Решили пока построить что-то поскромнее, а затем уж заниматься расширением. Двести комнат по семьдесят франков в день, включая обслуживание. Хилтон в доле. И все очень своевременно, ибо срочно требовалось предложить туристам что-то интересное помимо красот природы. К тому же давно пора Западу создать противовес советской атеистической пропаганде, мобилизовав все ресурсы духовности, включая трансовую медитацию. Предполагалось импортировать из Индии нескольких гуру, которые будут постоянно сидеть у входа в ашрам, а заодно, если получится, внедрить культ священной коровы: вокруг ритуальной хижины Кон действительно обнаружил нескольких представительниц крупного рогатого скота, которых фотографировала туристическая группа из Бенилюкса. Внутри тоже имелась корова и несколько голландцев, которым Пуччони тихим голосом рассказывал, что первые мореплаватели, прибывшие на Таити из Ин-

дии, оставили здесь следы своих верований, которые таитяне стараются теперь возродить.

Большой белый тики, такой же чистый и незапятнанный, как на заре культа Человека, восседал на своем алтаре среди коровьих лепешек, заваленный цветами по самую шею, отчего голова, по-прежнему увенчанная серой шляпой, казалась отсеченной и смотрелась в этом качестве очень недурно. Шляпа вместо ленты была украшена гирляндой тиаре.

Кону показалось, что, когда он вошел, у Барона мелькнула в глазах веселая искорка, но он не был уверен. Мгновение спустя взгляд маленьких голубых глаз вновь стал неподвижен и приобрел отсутствующее выражение, таинственное, как всякая настоящая пустота. Голова иногда слегка вздрагивала, а щеки раздувались, как будто брат пикаро делал бешеные усилия, чтобы не засмеяться. Вокруг алтаря расположились в живописных позах молодые таитянки и несколько беззубых старух, которые прилежно бормотали молитвы и целовали время от времени ноги белого тики, утопавшего в ворохе цветов, так что наружу торчали только голова и туфли с серыми гетрами. Это длилось уже полгода, и ни разу живой истукан не вышел из состояния загадочной отрешенности, что позволяло судить о масштабе его амбиций.

Все вокруг было заляпано навозом.

— С ним стало трудновато, — пожаловался Паава. — Отказывается сидеть на алтаре больше четырех часов в день. В остальное время отдыхает у меня в фарэ или исчезает невесть куда. На днях затащил в постель мою вахинэ — еще слава богу, что мою, она никому не скажет, а то ведь какой скандал! Шок для верующих, да и миссионеры растрезвонят повсюду, сами понимаете. Но Бизьен кое-что придумал. Пойдемте покажу.

Он повел Кона к себе в мастерскую. Там стояла прислоненная к стене великолепная деревянная статуя Барона, точная его копия — в клетчатом костюме, при шляпе, перчатках и тросточке, очень профессионально раскрашенная. Она напоминала фигуры, которыми в древности украшали нос корабля. Кон был потрясен. Веков через пять-шесть... Трудно даже вообразить, какой великой религии суждено родиться из мифа о Человеке.

— У Запада еще все впереди, если хотите знать мое мнение, — сказал Паава. — Поверьте, Бизьен — настоящий гений. Говорят, он уже создал в Африке десяток древних цивилизаций. И ни разу не попал в тюрьму, ни разу! Все-таки творческие возможности Человека в самом деле неисчерпаемы, и когда-нибудь, можете не сомневаться, он создаст себя заново, воплотит образ, им же самим от начала до конца выдуманный за минувшие века. Достичь подлинности через самозванство — согласитесь, это красиво!

Кону стало так тошно, что хотелось сдохнуть. Меева набрала большой букет цветов и положила к алтарю Человека вместе с отварным цыпленком, пачкой сигарет "Кэмел", бутылкой виски и парой банок консервов "Либби". <...>

Ловушка для Кона

В пещерах восточной части полуострова обитало около полудюжины "детей природы", но большинство сейчас составляли новенькие. Как

сказал однажды Бизьен шведу Арне Бьоркману, это были либо белые, затравленные травлей негров в Южной Африке и искавшие на земле уголок, которого травля южноафриканских негров еще не коснулась, либо люди, порвавшие с обществом, но не порвавшие с чувством вины, из-за того что они порвали с обществом. Эти невротики были здесь на плохом счету, им хотели даже запретить селиться на полуострове, потому что они приезжали сюда со спальными мешками, термосами и прочим оснащением из магазина военных излишков[1], чем нарушали первозданный пейзаж и идиллическое ощущение затерянности в дебрях дикой природы, ради которого сюда так стремились туристы. Ветераны пещерной жизни написали протест в Папеэте и встретили полное понимание: теперь, чтобы стать "детьми природы", нужно было подать заявление на специальном бланке, получить разрешение администрации и удостоверение с гербовой печатью.

В числе немногих, считавшихся "действительно настоящими", был некий Маэ, чья пещера находилась меньше чем в километре от хижины Кона. Бизьен считал Маэ особо ценным экземпляром, потому что тот был настолько волосат, что его шерсть казалась скорее частью растительности острова, нежели его тела. Гид Пуччони не упускал возможности поведать туристам о трагических событиях, толкнувших Маэ на стезю мрачного отшельничества на краю Океана.

Рассказ Пуччони варьировался в зависимости от обстоятельств, но суть оставалась неизменной. Идея, разумеется, принадлежала Бизьену. Маэ, как и Кон в начале своей карьеры, стал живописным элементом современной мифологии, без которого не могли обойтись сегодня ни кино, ни литература: он стал "бывшим". Бывший сталинист, сломавшийся на венгерских событиях; бывший капитан десантных частей, воевавший в Алжире; бывший голлист, ставший оасовцем; бывший американский летчик из Вьетнама, терзаемый угрызениями совести и истязающий себя всяческими лишениями; бывший идеалист, разочаровавшийся в человечестве и не простивший ему этого; раскаявшийся бывший нацист; бывший хирург, специалист по абортам, которому не дает покоя мысль о своих преступлениях, поэтому он каждое утро просит у природы прощения и целует головки цветов, напоминающие ему головки детей, не рожденных по его вине. Последний вариант особенно нравился Маэ, и, когда было настроение, он выходил из пещеры и целовал цветы, что неизменно вызывало обильные слезы у экскурсанток.

— Он страдает, — лаконично пояснял Пуччони.

Кон считал себя одним из величайших ныне живущих специалистов по "бывшим", однако признавал Маэ если не равным себе, то по крайней мере достойным соперником и братом по оружию. Иногда они очень весело проводили вместе часок. Маэ поведал Кону, что на самом деле он бывший парижский таксист, которому осточертели пробки, и место пещерного отшельника, полученное им благодаря мохнатому торсу и секретарше Бизьена, питавшей слабость к волосатым мужчинам, имело в его глазах одно-единственное неудобство: слишком напряженный график общения.

Для немецких туристов он придумал специальный вариант "бывшего", очень им гордился, и текст, произносимый Пуччони, был кратким, но впечатляющим. Он указывал туристам на Маэ, который стоял к ним

1. Магазины, где после Второй мировой войны продавались остатки американского армейского снаряжения, одежда и т. д.

спиной и смотрел на Океан, словно отвернувшись от мира и от своего прошлого:

— Нам не известно, кто он такой, хотя есть основания считать...

Тут Пуччони делал многозначительную паузу, потом, словно наконец решившись, продолжал:

— Одно мы знаем наверняка. Это не Борман.

Действовало безотказно.

Кон и Маэ часто виделись, но строго соблюдали корректность в вопросе о прошлом и подлинных именах друг друга, ибо этикет профессии требовал не вынуждать воображение коллеги работать вхолостую, дабы оно не изнашивалось зря и сохраняло бодрящее обаяние загадочности и свежесть тайны, столь необходимые в ремесле пикаро. Иногда Кон признавался, что сделал для Франции водородную бомбу, которую скоро взорвут на атолле Мурароа, и его потянуло, как убийцу, на место преступления. На это Маэ отвечал, что является изобретателем талидомида и повинен в рождении тысяч детей-уродов. Все это было отчасти правдой: или ты человек, или не человек, но если все-таки человек, то ты — это не только ты, а все люди, какие есть на земле. Кон прекрасно знал, что Маэ не шофер такси, точно так же, как Маэ знал, что Кон никакой не Кон, и этого было достаточно для взаимного уважения.

В демистифицированном мире мистификация стала гигиенической потребностью, искусственным дыханием, жизненно необходимым, пока не восстановится естественный и свободный ритм сердца.

Нейлоновый змей-искуситель тихо покачивался на пластиковой яблоне, а туристы внимали рассказу Пуччони:

— Недавно мы приступили к осуществлению идей великого короля Помаре Пятого, переводчика Библии на таитянский язык, мечтавшего, чтобы его любимый остров стал живой иллюстрацией к его любимой книге.

Иногда их навещал преподобный Тамил. Он выкуривал трубку в обществе Кона, который на все лады воспевал перед ним немеркнущее величие красивого женского зада. Доминиканец одобрительно кивал и уходил, не забыв оставить коробочку шоколадных конфет, которые Кон, обожавший сладкое, мог поедать в любых количествах. Однажды он долго слушал, как Кон воспевает формы Меевы, после чего сказал:

— А вы знаете, что, по Бовису, материализм был для древних полинезийцев проклятием Те-Фату, когда от человека после смерти не остается ничего?

Вот кто был настоящим змеем, которого стоило бы посадить на дерево вместо нейлонового. Прощаясь, он сделал вороватое движение, пряча что-то под сутану.

— Что это у вас там?

— Где? А, это? Ничего. Газета. Позавчерашняя.

У Кона потекли слюнки. Нет, он ни за что не станет спрашивать, что нового в мире. Лучше сдохнуть. А змей-доминиканец махнул на прощание рукой, даже не предложив заглянуть в газету. Кон вынужден был сам протянуть к ней руку.

— Ладно, оставьте мне ее. Я ведь знал, что вы пришли в мой маленький рай, чтобы его отравить.

У доминиканца мелькнула на губах усмешка далеко не христианского свойства, он положил "Фигаро" на стол, вышел и исчез за стволами пальм.

Кон провел ужасную ночь.

Он опять промахнулся, бомбя Камбоджу, и стер с лица земли дружественную деревню — мужчин, женщин, детей. Он ошибся жертвами — мужчинами, женщинами, детьми. Это оказались не те.

В Китае вместе с хунвейбинами он избил ногами и прикончил дубинками "гнусного уклониста" и обрил наголо знаменитую артистку Пекинского оперного театра, обвинив ее в ревизионизме. После этого она выбросилась с одиннадцатого этажа. Что ж, одно очко в пользу маоистского Китая — у них там есть одиннадцатиэтажные здания.

В Бразилии он вызвал страшное наводнение — больше тысячи погибших и пропавших без вести.

Дальше выяснилось, что он слишком быстро размножается. Если так пойдет, то планета скоро не выдержит и треснет под тяжестью четырех миллиардов жителей. Неудивительно: ему всегда говорили, что он слишком много трахается.

Кроме того, он устроил землетрясение в Чили и убил в Париже старуху, чтобы украсть у нее тридцать франков. В Лионе в довершение всего он избил до смерти свою трехлетнюю дочь.

Зато в Германии он изобрел новое удобрение, которое может даже самую скудную почву сделать плодородной. Наконец-то евреи станут для этого не нужны.

В Индии он оставил толпы людей умирать с голоду, а в Нигерии уничтожил двадцать тысяч человек из враждебного племени, включая детей и женщин.

В общем, старый девиз "Женщин и детей вперед" на глазах менял значение и для поколения самое позднее 2000 года обещал обрести новый смысл, не известный благородным капитанам прошлого.

Он прочел также, что его брату Океану грозит опасность, ибо он, Кон, вылил в его воды сотни тонн мазута, а заодно отравил воздух в городах окисью углерода. И в довершение всего отказался сдать в Париже комнату какому-то студенту из-за того, что он негр.

Кон страдал. У него болело все тело — от Северного полюса до Южного, на западе и на востоке. Он наглотался аспирина и среди ночи попытался найти прибежище между бедер Меевы, а она пробормотала: "Ох, как же тут москиты кусаются!" — и даже не проснулась. Кона охватило чувство бессилия, которое проявление мужской силы только обострило. Люди все-таки неправильно употребляют выражение "мужская сила". Однако он проявил ее еще раз и остался собой доволен. Определенно, у него была очень богатая внутренняя жизнь.

Наутро он выглядел так скверно, что Меева ни слова не говоря потянулась к бутылке касторки. Кон раскричался: у них с Гогеном по крайней мере одно общее свойство — геморрой, и врач сказал, что все из-за этой вечной касторки, которой она его пичкает. И в самом деле, перед приходом туристов у него начались адские рези в заднем проходе, как будто там поворачивали кинжал. Он засунул туда палец, нащупал что-то твердое, ловко подцепил и, вопя от боли, извлек наружу инородное тело.

— Кон! Что с тобой?

Кон с изумлением смотрел на крохотный, не больше рисового зернышка, круглый кусочек металла. У него не было ни малейшего пред-

ставления, что это такое. Одно он понимал ясно: невзирая на его двухлетние старания освободиться от мира и от самого себя, очиститься, причем не только в физиологическом смысле, предмет, только что извлеченный им из собственного зада, не был ни миром, ни им самим, хотя ему тут же вспомнились бессмертные слова Гамлета: "Я мог бы замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства"[1].

Меева осторожно потрогала загадочный предмет.

— Что это за железка, а, Кон?

— Что бы это ни было, раз она оказалась там, значит, я ее проглотил и...

Он пристально вгляделся в кусочек металла. Ужас шевельнулся в нем. Он побледнел.

— О господи! — прошептал он, едва не лишившись чувств.

Он выбежал из хижины, схватил кокосовый орех и, положив шарик на камень, разбил его, использовав орех в качестве молотка. Ему хватило одного взгляда. Перед ним был микроскопический передатчик УКВ, своего рода рыболовный крючок современных спецслужб, который они ухитряются дать заглотать тому, кого боятся упустить. Эта электронная дрянь испускала волны на три километра, а то и дальше. Гады, они наловчились засовывать микрофоны в маслину из мартини, вставлять "жучки" в стены...

Они нашли его. Они знают, кто он такой. Вот почему сам губернатор не удержался и приветствовал его.

Но кто, где, каким образом заставил его проглотить это проклятое чудо техники?

На миг у него мелькнула действительно непереносимая мысль, он бросил подозрительный взгляд на Мееву, но в ту же секунду догадался.

— О дьявол! — взвыл он. — Конфеты! Чертов монах! Легавый!

Кон кинулся в дом и схватил коробку конфет, которую ему оставил Тамил: он приносил их каждый раз, когда появлялся на полуострове. В коробке оставалось еще около двадцати штук. Кон взял одну и ударил по ней орехом — электронные внутренности крохотного передатчика вывалились на камень. Кон хотел сесть, но у него подкосились ноги, и он потерял сознание.

Профессионалы

Человек, чье имя было не Виктор Туркасси, хотя именно так он зарегистрировался позавчера в гостинице, сидел в пижаме на краю кровати и, стуча зубами, пытался надеть носок. Его знобило, руки тряслись, нога никак в носок не попадала, и тому, кто должен был через час или два стрелять из револьвера, это не сулило ничего хорошего. Последние тридцать восемь часов он пролежал под одеялом с температурой сорок один, не решаясь даже позвонить и попросить чаю, потому что боялся в бреду сказать лишнее. Он подхватил малярию в Северном Вьетнаме, где провел некоторое время на рисовых полях, выполняя особое задание, но скрывал это от начальства, потому что никто не стал бы посылать за

1. Цитируемая реплика Гамлета в переводе М. Лозинского полностью звучит так: "О боже, я мог бы замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства, если бы мне не снились бурные сны".

границу агента, способного в любой момент начать бредить, а человек, которого звали не Виктор Туркасси, не собирался доживать остаток дней кабинетной крысой.

Ему удалось наконец натянуть носки и одеться: филиппинский чесучовый костюм, калифорнийская рубашка в цветочек и соломенная шляпа, купленная в Вайкики[1], где он недавно провел три месяца, занимаясь оздоровлением агентурной сети, в которую просочились китайцы. По этой части он был асом. После ареста полковника Абеля в США он в одиночку произвел зачистку в организации, которую ФБР и ЦРУ уже практически держали в руках. Человек, которого звали не Виктор Туркасси, знал себе цену, и его оскорбил приказ вылететь на Таити с заданием, напомнившим ему времена, когда он был простым исполнителем. Расшифровав радиограмму, он впал в раздражение, повинное отчасти в приступе малярии, задержавшем выполнение приказа на два дня. Разумеется, его выбрали только потому, что он находился в тот момент в Гонолулу и оказался единственным свободным агентом в регионе. Но он уже лет восемь не держал в руках оружия и даже не носил его при себе: все такого рода дела давно перешли к его подчиненным. И вот теперь он сидел на кровати и собирал американский кольт из множества частей и деталей, рассованных по карманам и по разным углам чемодана. Руки все еще дрожали, и он десять минут прилаживал пружину затвора. Многообещающий результат! Придется стрелять в упор: в таком состоянии он мог не попасть в человека с трех метров.

Мысль, что придется выступать в роли киллера, при его-то звании и квалификации, была ему глубоко отвратительна. Потом он, конечно, потребует объяснений, но сейчас хочешь не хочешь надо выполнять приказ, переданный с кодом, означавшим первоочередную срочность — инфляция первоочередности была причиной постоянных трений в их ведомстве — и особую важность. Только трижды за всю свою карьеру он получал такие "горячие" инструкции. Однако сейчас за ними чувствовалась какая-то поспешность, непродуманность и, попросту говоря, неразбериха. Он почувствовал это мгновенно. Распоряжение явно основывалось на сведениях, полученных с Таити, то есть из местного источника. Он тут же среагировал и попросил вывести его на связь с информатором. Ответ пришел за два часа до вылета, и имя было помечено двумя крестиками, что означало "двойной агент", а в сопроводительной инструкции говорилось, что надо воздержаться от любых контактов с ним в ходе выполнения задания. Иначе говоря, жизненно важная операция планировалась на основании данных, поступивших из сомнительного источника.

Но верхом нелепости был условный код "звезда-звезда", так называемое "требование личной безопасности", что всегда смешило его, но в данном случае выглядело просто-напросто бюрократическим идиотизмом. "Звезда-звезда" означало, что, если вас убьют, тело должно быть ликвидировано во избежание проблем с полицией и прессой. Такое предписание предполагало наличие по крайней мере еще одного агента, если не целой местной сети. А его посылали на задание одного. То есть, если его пристрелят, он должен убрать *потом* собственный труп. Человек, которого звали не Виктор Туркасси, был настоящим профессионалом, и его злила такая небрежность. По

1. Туристский пляж в Гонолулу.

опыту он знал, что она всегда влечет за собой риск и в большинстве случаев — провал операции. И вдобавок никакой "общей ориентировки", вообще ничего. Срочно лететь на Таити, убрать художника по фамилии Кон, Чингис-Кон — странное имя, скорее всего, псевдоним, — и незаметно изъять все бумаги, а также электрическую бритву и зубную щетку, тоже электрическую. Всё. Бритва и зубная щетка, видимо, содержали микрофильмы, но и тут никаких уточнений он не получил. Вероятно, это было как-то связано с грядущими ядерными испытаниями на Мурароа, но все равно непонятно, почему надо посылать на такое задание разведчика его класса, не снабдив хоть какой-то информацией.

Сразу по приезде он взял в аренду автомобиль, отправился к дому художника, изучил обстановку, но внутрь проникнуть не удалось. Там были люди — монах-доминиканец, еще какой-то мужчина и молодая женщина, они стояли у порога и разговаривали. Он остановил машину чуть поодаль и стал ждать, пока они разойдутся, но тут дали себя знать первые признаки малярии — он еле успел доехать до гостиницы, рухнул на кровать и почти сразу же впал в беспамятство. Сокрытие болезни было единственным темным пятном на его безупречной служебной биографии. Сделка с профессиональной совестью во имя любви к профессии.

Он зарядил револьвер и сунул его в карман. Он настолько от этого отвык, что чувствовал себя чуть ли не американским гангстером. Это было все равно что послать полковника генерального штаба в штыковую атаку. Либо дело и вправду превосходило по важности и срочности все остальное, либо в Москве кто-то спятил.

Человек, которого звали не Виктор Туркасси, был по национальности грузин, имел борцовский торс, густые черные брови, казавшиеся еще гуще и чернее из-за огромной лысины, по обе стороны которой две длинные пряди волос были тщательно зачесаны за уши. Большой нос над короткими усами и темно-карие глаза цвета спинки майского жука. Ему часто говорили, что он похож на Кагановича, зятя Сталина[1].

Он вышел из гостиницы, сел в "фольксваген" и поехал в Пунаауиа, где оставил машину в километре от фарэ художника.

Он обошел дом и осторожно приблизился к двери. В его подготовке был один пробел, более чем существенный для такого рода миссии, — он не знал, как выглядит человек, которого надо убить. Он решил войти, как бы намереваясь купить картину, убедиться, что перед ним именно тот, кто нужно, и тогда уже действовать. Если там окажется кто-то из посторонних, то, учитывая срочность задания и то обстоятельство, что он не может себе позволить оставлять свидетелей, церемониться он не станет. Лагуна рядом, в тридцати метрах, и скоро стемнеет.

Дверь была не заперта, он услышал в доме какой-то шорох. У него не было причин прятаться: он уверенно вошел и закрыл за собой дверь. Он очутился в мастерской, почти совсем пустой, только в углу стояло несколько картин. В глубине висела занавеска из бамбука и ракушек. Он подошел к ней и хотел отодвинуть.

Когда он увидел торчавший оттуда ствол револьвера, у него не сработал профессиональный рефлекс. Точнее, сработал рефлекс пятнадцатилетней давности, когда от него требовалось не размышлять, а дейст-

1. Автор не всегда точен в исторических реалиях.

вовать. Как будто к нему вмиг вернулась молодость и с ней все ошибки и опрометчивость начинающего. Он отпрыгнул в сторону, выхватил оружие и выстрелил — одновременно с человеком за занавеской.

Тот, кто не был Виктором Туркасси, получил пулю в правый бок. В ту же секунду он услышал крик и стук упавшего за занавеской тела. Он отодвинул ее.

На полу, раскорячившись, прислонившись спиной к стене, сидел китаец, толстый, лоснящийся, в дорогой одежде, обхватив обеими руками живот, словно ребенка. Он плакал, и человек, который был не Виктором Туркасси, понял, что перед ним дилетант. А заодно понял, что у него самого задеты печень и почка и его грузинских сил, считающихся самыми крепкими в мире, хватит в лучшем случае на четверть часа. А может, через двадцать-двадцать пять он умрет.

Китаец продолжал плакать. Рядом с ним на полу валялись револьвер, электробритва и зубная щетка. Комнату окутывали сумерки, снаружи доносились мирные звуки вечного лета.

Грузин все еще стоял. Но не за счет своей богатырской силы, а исключительно за счет воли. Он поймал себя на том, что думает о жене и сыне, оставшихся в Москве, и тут же сказал себе, что при его профессии лучше было не иметь ни жены, ни сына. "Звезда-звезда". Надо срочно, любой ценой избавиться от своего тела, прежде чем умереть. Он шагнул к двери, решив добраться до лагуны, но едва не потерял сознание и рухнул в плетеное кресло рядом с китайцем. Потом увидел бритву и зубную щетку и поддел их ногой.

— Что там в них? — спросил он по-английски.

Чонг Фат посмотрел на него с нежным упреком. Нежность относилась к самому себе, упрек к противнику.

— Американец? — выдохнул он. — Но тогда... почему? Я работаю... на американцев... я тоже... за свободный мир... За что вы меня убили? Кто... кто вы?

— ЦРУ.

— Почему меня не предупредили? Агент ЦРУ здесь — это...

Человек, который не был Виктором Туркасси, сам удивился своей непроизвольной реакции: за несколько минут до смерти он жадно следил за губами китайца, стремясь узнать имя агента ЦРУ на Таити. Но Чонг Фата начало рвать.

— Господи, — прошептал он наконец, — Мне плохо... Я умираю... Почему вы меня убили? Я работаю на вас, на ЦРУ. Почему...

— Вы первым выстрелили...

— Я думал, вас послали китайцы, — пролепетал он. — Они преследовали меня... Я увидел револьвер... Испугался...

Человек, который уже почти не был Николаем Васильевичем Орджоникидзе, сидел в кресле очень прямо, откинув голову назад и теряя кровь. Он видел перед собой толстого китайца, двадцать толстых китайцев, и все они описывали в воздухе плавные круги. Но, слава богу, он хоть не видел больше лиц жены и сына. Лучше уж так, чтобы перед смертью понапрасну не отвлекаться.

Он указал на электробритву.

— Микрофильм?

— Нет! Там ничего нет! — простонал Чонг Фат. — Нас обманули... Я все осмотрел... Ничего! Вещи... из магазина... "Вестингхаус"... О боже милосердный!

Полковник Николай Васильевич Орджоникидзе стиснул подлокотники кресла и закрыл глаза.

— Зря! — крикнул Чонг Фат. — Все зря! Вы убили меня зря, ни за что ни про что!

Нет. Не зря. Виноградники и кавказские девушки его юности встали у него перед глазами. Ради них. Он услышал шаги и открыл глаза. Бамбуковая занавеска шевельнулась, и над ним склонилась какая-то белая фигура. Он сделал усилие, чтобы умереть, пока еще не поздно. Ему случалось видеть, как люди с последним вздохом выдают всех.

Борясь с остатками жизни в себе, он резко встал в надежде, что это последнее резкое движение его прикончит.

Человек, которого звали не Тамил, смотрел на едва державшегося на ногах незнакомца с лицом турка и фигурой борца. Он обхватил его за плечи, заставил снова сесть, быстро произвел осмотр. Пуля в печени.

Затем он наклонился к умирающему будде, который стонал на полу, держась за живот.

— Вы болван, Чонг Фат. Я же велел вам сидеть тихо.

"Лучшая кантонская кухня" на глазах уходила в небытие. Китаец устремил на Тамила глаза, расширившиеся от боли и страха до такой степени, что перестали быть раскосыми. За окнами Океан с яростным грохотом кидался на риф.

— Китайцы... заставили меня... работать на них, — пролепетал он. — Родственники... одиннадцать человек... заложники в Кантоне... Но я работал... на американцев... по убеждению... чтобы искупить... Против... красных китайцев...

— А на нас? — спросил Тамил. — Из патриотизма?

На лице китайца появилась умильно-мечтательная улыбка.

— Я... француз... я был поваром... Тихоокеанский батальон... Бир-Хакеим[1]... "Сражающаяся Франция"[2]... де Голль... патриот... крест "За боевые заслуги"...

Человек из SDECE[3] почувствовал спазм в горле: единственный в мире китаец, говоривший с неподражаемым акцентом корсиканских жандармов, вот-вот должен был присоединиться на небесах к своим предкам галлам.

— Но все это не объясняет, зачем вы работали еще и на русских, — мягко сказал он.

Чонг Фат из последних сил выдавливал из себя слова оправдания.

— Они... знали, что я... работаю на китайцев... угрожали... сообщить... американцам... Шантаж...

Агент четырех держав пробормотал что-то еще, но получилось одно бульканье, а в глазах уже начинало застывать навсегда выражение безграничного удивления, в котором тот, кого звали не Тамил, увидел выражение глаз целого поколения. Сзади послышался шорох, он обернулся: второй болван с нетерпением ждал смерти первого.

— У вас есть еще какие-то планы? — спросил француз холодно.

Бывали минуты, такие, например, как эта, когда его охватывала бешеная ненависть к своей эпохе и к тем, кто ее такой сделал, — к самому себе в первую очередь.

1. Местность в Ливии, где в 1942 г. французы прорвали окружение армии Роммеля.
2. Возглавляемое де Голлем движение за освобождение Франции от фашистской оккупации (до 1942 г. называлось "Свободная Франция").
3. Французская служба разведки и контрразведки.

Человек, который не был Виктором Туркасси, ощутил прилив сил — последняя попытка самозащиты сердца, которое вот-вот разорвется.

— Я офицер советских спецслужб.

— Очень приятно.

Кипя от ярости, он указал на кресло.

— Садитесь. Сигарету? Что предложить вам выпить? Шотландское виски, водку?

— Франция и Советский Союз...

— Понимаю.

— Наши народы... Вам нет никакой выгоды в том, чтобы полиция... обнаружила меня здесь. Во имя дружественных отношений...

— Между нашими двумя странами, так-так...

Великан прислонился к стене.

— Ликвидируйте... мое тело...

— Ладно, но при условии, что вы скажете свое настоящее имя, — быстро ответил француз.

Он просто не мог упустить такой случай.

— Вы слышите меня? Мы ведь все равно узнаем, но вы сэкономите нам несколько недель... Скажите свое настоящее имя, и обещаю бросить вас в море, как только вы умрете... или даже раньше, если хотите. Идет?

Человек, которого звали не Виктор Туркасси, опустил голову. Он напоминал быка, готового упасть на колени.

— О'кей, — сказал он наконец.

Потом поднял глаза.

— Виктор Туркасси, — выдохнул он и упал на руки человеку, которого звали не Тамил.

Гром и молния

Кон греб с неутомимостью викинга, соперничая в скорости с полинезийскими вождями, и пирога перелетала с волны на волну с такой легкостью, что он чувствовал присутствие Справедливости, Достоинства и Прав человека, которые гребли вместе с ним, хотя подвесной мотор сзади тоже, бесспорно, облегчал дело. Мысль, что враг коварно проник в его утробу и, не засунь он отважно палец в недра своего организма, он так и продолжал бы тешить себя иллюзией безопасности и собственного инкогнито, приводила его в неистовство, которое его брат Океан, казалось, полностью разделял. Он оставил на полуострове заплаканную Мееву, тщетно вопрошавшую, какой тупапау, какой злой дух вселился в ее попаа, и теперь у него было одно-единственное желание — добраться до проклятого шпиона Тамила и отправить его месяца на полтора в больницу, желательно в гипсе. В деревне Фиваэ в ожидании водителя стоял грузовик, явно ниспосланный ему Высшей Справедливостью, и Кон, к великой радости пассажиров, решительно уселся за руль и рванул с места, а Куоно, шофер, бежал за своей машиной, крича: "Пожар! Пожар!" — единственное слово, которое он мог нормально выговорить.

В течение пяти часов, выгружая постепенно пассажиров, их клетки с курами, велосипеды и корзинки, Кон объехал весь остров на взбесившемся грузовике и посетил такое количество церквей, миссий и прочих религиозных учреждений, что этого хватило бы на целую

жизнь доброго христианина. В монастыре Святого Иосифа он насмерть перепугал монашек, обвинив их в том, что они прячут Тамила под кроватью, а в Папара так стремительно вклинился в похоронную процессию, увидев, как ему показалось, во главе ее подлую рожу псевдодоминиканца, что скорбящие родственники все как один залезли на пальмы. Грузовик отдал богу душу за неимением горючего в Пунаауиа, не доехав семнадцати километров до Папеэте, где Кон намеревался призвать народ к революции. В любом случае, поскольку враги знали настоящее имя Кона, с ним должны были обходиться бережно, и он мог позволить себе, по сути, все что угодно. У него даже мелькнула мысль, что именно этим и объяснялась полная безнаказанность, которой он пользовался на острове, но мысль эта привела его в такое отчаяние, что он решительно ее отмел.

Подлого предателя ему нигде найти не удалось, как будто сам Господь Бог оповещал того о всех передвижениях Кона, и в четыре часа пополудни, когда он, терзаемый неутоленной жаждой мести, поджидал Татена у входа в епископскую резиденцию, чтобы задать пару вопросов, его схватили жандармы, грубо затолкали в полицейский джип и швырнули в камеру в Папеэте, что вернуло ему некоторую надежду: если с ним так обращались, значит, только на самом верху знали, кто он, и следовательно, есть шанс продержаться еще какое-то время и даже сбежать на какой-нибудь затерянный островок архипелага Туамоту.

Рикманса на месте не оказалось. Он, как выражались его подчиненные, глумливо хихикая за его спиной, праздновал день святого Рикманса: африканская республика Батанга отмечала памятную дату — день, когда Рикманс сослал на Змеиный остров некоего уголовника, который вскоре стал боготворимым соотвечественниками главой нового государства. По такому случаю в батангских школах вывешивали портреты Рикманса и дети должны были подходить и плевать в него. У самого же Рикманса в этот день наблюдались любопытнейшие психосоматические явления — на лице появлялись стигматы, он источал сильный запах роз — святой Иуда и мученик в одном лице — и кричал, что Иисус поджег дом в Папеэте, и это явная провокация, но он, Рикманс, ни за что не пойдет у него на поводу, даже если из-за этого мир останется без христианской цивилизации.

Назавтра в семь часов утра заместитель Рикманса принес Кону на подносе глазунью, тосты с маслом, кофе, коробку гаванских сигар, после чего отпустил. Завтрак наверняка тоже прислали сверху — заместитель ничего не знал, это было видно по его ошеломленному лицу. Выходя, Кон наступил ему на ногу, и тот извинился. На его пути все расступались и кланялись. У Кона было такое чувство, что, взорви он сейчас бомбу в пятьдесят мегатонн посреди Тихого океана, все будут в восторге. Тем не менее он все-таки ухитрился подраться на улице с китайцем, которого обозвал "сражающимся французом", что было страшным оскорблением из-за вспыхнувшей задним числом массовой ненависти к де Голлю. К полудню ему уже хотелось только одного — очутиться в объятиях Меевы, ради этого он даже готов был временно оставить без синяков фальшивую физиономию подлеца Тамила. За четыре часа он добрался на грузовике до Порт-Фаэтона, но там рыбаки сказали ему, что с минуты на минуту начнется буря и лучше не сердить Папатоа, который дует с севера: Папатоа очень не любит встречать на своем пути лодки и рассматривает это как неуважение, если не прямой вызов. Кон тем не менее сел в пирогу и по-

плыл. Если великий Папатоа все-таки подует, то он швырнет ему свою пирогу в морду — Кону до смерти надоела Власть во всех ее формах.

Угрожающе черное небо и рифы, почти незаметные в серо-зеленой воде под багровыми гребешками волн, с каждым броском поднимавших мотор над водой выше солнца, от которого над горизонтом виднелась лишь пурпурная макушка, меньше страшили его, чем перспектива снова взвалить на себя свою подлинную судьбу и принять звание командора ордена Почетного легиона перед Домом инвалидов в Париже, под звуки "Марсельезы", неизменно напоминавшие ему о прославленных покойниках и безвинно убитых мальчишках, обрушивая в очередной раз на его голову всю мировую Историю. Он благополучно осилил если не Историю, то плавание через бухту, и счел это в порядке вещей, ибо жизнь припасла для него немало других неприятностей.

Меева, следившая за пирогой с берега, встретила его на верху лестницы, которую Бизьен распорядился вырубить в скалах для удобства туристов. Гроза раскалывала купол неба, и с каждой новой ослепительной трещиной казалось, будто он неминуемо рухнет, но тут же опять воцарялась тишина, неподвижность и гнетущая тяжесть, и уже новое рокочущее предупреждение обостряло тоску природы, ждавшей освобождающего взрыва, которому какое-то непреодолимое табу мешало осуществиться. И ни капли дождя в воздухе, насыщенном призрачной фиолетовой влажностью: он давил на землю и сливался с Океаном — густая, вязкая третья стихия, ни небо, ни море. Внезапно в этом серо-лиловом куполообразном пространстве, рассекаемом молниями, появились птицы, которых Кон никогда прежде не видел, словно буря принесла их с собой с далеких архипелагов. Вдали невидимая гора иногда проступала в наплывах туч и содрогалась со страшным грохотом, где сливались эхо и его источник, голос грома и голос камня. Дракон с фиолетовым брюхом по-прежнему выпускал ежесекундно сверкающие когти, а Кон тщетно пытался испытать перед ним омолаживающий первобытный страх. Электричество, ничего больше. Но рука Меевы в его руке дрожала, и это вселяло надежду.

— Пойдем домой, Кон, мне страшно. Они гневаются там, наверху...

"Они"... Кон с минуту наслаждался "их" близостью и вновь вернувшимся на землю простодушием. Хижина плавала в теплом поту неба, а кокосовые пальмы изящно покачивали кронами в ожидании готового обрушиться с небес потопа с бездумностью, достойной королевских семейств, которые принимают восставшую толпу за очередь к бесплатному супу. Великий Матаи затаил дыхание, и тучи, притиснутые к горе, ждали момента, чтобы прорваться, ждали в напряженной неподвижности и время от времени грохотали, будто с бессильной яростью трубили в рог. Океан исчез за непроницаемой воздушной стеной. За ней лишь угадывалось местами тайное содрогание стальной воды вокруг рифов.

Кон жадно съел приготовленного Меевой петуха с бананами, глядя, как огромные тени ночных бабочек исполняют свой недолгий танец, исчезая вслед за смертью их обладательниц в пламени лампы. Снаружи по-прежнему не было ни дождя, ни ветра, только грохочущая неподвижность и недоступная свежесть огромных масс воды, томившихся в плену у неба. Он бросился на кровать, Меева прижалась к нему и тут же заснула. Лежа на спине, он чувствовал ее согнутую ногу на своем животе, движение ее груди подле своей, и вспыхивавшие за окном образы зримого

мира терялись в ее густых волосах, которые он тихонько поглаживал. Только один раз, когда гром обрушил на гору особенно величественный разряд, Меева на секунду проснулась и с укором пробормотала:

— Нельзя так объедаться бананами, Кон!

Он даже не знал, спит он или нет, но вдруг почувствовал беспокойство, перешедшее в сильную тревогу, и унять ее было ему не под силу. Ему хотелось бежать, бежать прочь, чтобы справиться с охватившей его паникой, в которой к его обычным страхам примешивалась невыносимая тяжесть грозы, взявшей его в кольцо грохота и непрерывного сверкания.

Кон вылез из постели и как был, голый, вышел на порог. Его окутала липкая, словно влажная шерсть, темнота, и впервые за все время его дружбы с таитянской ночью ни один светлячок не зажег во мраке свою земную звездочку. Он сделал дрожа несколько шагов, вернулся в хижину, хотел лечь, но тревога не ослабевала, и у него снова возникло непреодолимое желание бежать. Он бросился вон из хижины, помчался куда-то в непроглядную тьму, натыкаясь на стволы деревьев, и оказался наконец на вершине холма, в прерывистом белом сиянии электрических разрядов, следовавших один за другим с такой быстротой, что ночь ни на миг не успевала сомкнуться.

Им овладел животный страх и такое острое ощущение опасности, что он резко обернулся и увидел метрах в двадцати две темные фигуры, приближавшиеся к пальмовой роще. От этого простого человеческого присутствия он испытал облегчение и радостно замахал обеими руками:

— Эй! Эй!

Дальше все произошло так быстро и так неожиданно, что Кону отказала способность думать и чувствовать, он просто замер среди пульсирующих вспышек, опутавших его своей колышущейся паутиной. Незнакомцы рывком повернулись к нему, и он увидел два направленных на него автомата. В тот же миг где-то справа раздалась очередь, двое с автоматами на миг застыли, выронили оружие, согнулись пополам и повалились наземь, а справа раздалась новая очередь — видимо, с целью убедиться, что они не бессмертны.

Кон закричал, но не сдвинулся с места. Ноги не слушались его. Холм заливала смертельная бледность непрерывных электрических вспышек. Потом вдруг Хуано-но втянул свои желтые когти, и ночь накрыла бесстыдную наготу земли.

Чья-то рука легла на его плечо.

— Караул! — заорал Кон, который не желал умирать, не произнеся вдохновенных слов, которые в миг озарения выражают порой итог всей жизни.

— Ну-ну, успокойтесь. Все уже позади.

Тамил, машинально отметил Кон, нисколько не удивившись. Он и без того был настолько ошеломлен, что в голове у него уже не осталось места для удивления. Свет электрического фонарика выхватил из темноты подножие холма. Два тела лежали одно на другом с восхитительной неподвижностью. На Тамиле был непромокаемый плащ с капюшоном, как у старых добрых бретонских капитанов, и руку он по-прежнему держал на плече Кона.

— Теперь вы в безопасности. Они убиты. Пойдите взгляните сами.

Это были китайцы, они лежали с открытыми глазами, сложив руки на животе. Кон никогда раньше их не видел.

— Чего они от меня хотели, эти ублюдки?

— Хотели убить вас. Вас уже дважды пытались убить на Таити. И один раз на Тринидаде... Итого трижды, насколько мне известно. С вами не соскучишься. Ваша голова слишком много весит на весах ядерного равновесия.

Все просто, как дважды два, но Кон не мог в это поверить. Два года они следовали за ним по пятам, знали каждый его шаг, знали, где он и кто он... Они опекали его, как наседка цыпленка, в надежде, что рано или поздно он снесет еще какое-нибудь гениальное яйцо.

— Какая мерзость!

— Что поделаешь! Человек жив не только тем, что прекрасно, а Бог не в состоянии за всем уследить.

— Избавьте меня от вашего лицемерия!

— Пойдемте со мной, не стоит будить Мееву, лучше ей всего этого не видеть. И вообще, мы не жаждем огласки. Я пришлю людей за телами моих китайских коллег и попрошу подобрать для них бухточку с тихой водой. А мы с вами тем временем...

Он обхватил Кона за плечи.

— Думаю, пара стаканов горячего вина будут вам кстати. Ваш приятель Маэ с удовольствием вас угостит.

Кон просто ошалел.

— Маэ? — закричал он. — Нет, вы мне скажите, остался на Таити хоть один человек, который не был бы шпионом?

— Конечно, — ответил Тамил с уверенностью, которая показалась Кону чрезмерной и потому подозрительной. — Но поймите, нам иначе нельзя, у нас здесь стоят войска — пятнадцатитысячный гарнизон, — а кроме того, приближаются испытания на Мururоа. Все страны большой пятерки прислали сюда тайных "наблюдателей". Ну, и есть еще вы, господин... Кон. Думаю, вы предпочитаете, чтобы я продолжал называть вас так. А для Франции — мне следовало бы сказать, для Запада — вы в сто раз важнее пятнадцати тысяч солдат и даже испытаний на Мururоа. Поверьте мне.

Кон верил. Ему хотелось сдохнуть. Он плелся в темноте, голый, как червяк, все еще дрожа от страха и опираясь на Тамила. Небо опять несколько раз великолепно громыхнуло, но Кон был настолько пришиблен, что у него не достало гордости ответить на эти величественные звуки столь же громогласной очередью из собственной утробы. Он совершенно выдохся.

— Нам пришлось создать целую специальную сеть для вашей защиты. Вы стоите французским налогоплательщикам двадцать миллионов старых франков ежегодно, не считая бессонных ночей ответственного за вашу безопасность... вашего покорного слуги.

Через десять минут Маэ встретил их у входа в пещеру. "Дитя природы" был в камуфляже с унтер-офицерскими погонами. Он разговаривал с двумя морскими пехотинцами в такой же пятнистой форме. Он приветствовал по-военному Тамила и Кона, на что последний, чувствуя себя в крепких сетях беспощадной реальности, неспособный даже сочинить какую-нибудь легенду, чтобы все опровергнуть, обрушил на якобы "бывшего", или бывшего "бывшего", мощный поток ругательств. Тот выслушал их со спокойным любопытством, какое профессиональные военные обыкновенно проявляют к литературе, и гостеприимным жестом пригласил в "столовую". За тяжелой дощатой дверью, хорошо Кону зна-

комой, он увидел рацию и двух аквалангистов — Тамил тут же отправил их убирать трупы, напомнив, что тела ни в коем случае не должны всплыть или вызвать водовороты. Кон рухнул в плетеное кресло и закрыл глаза. Он открыл их только после того, как выпил два литра горячего вина, приготовленного Маэ с сахаром и корицей. Шпионы участливо склонились над ним.

— Ну как, вам получше?

Он вяло обругал их, но без вдохновения, это прозвучало скорее как признание собственного бессилия. Маэ пошел было за пижамой для него, но Кон категорически отказался. Да, голый, с голой задницей, несмотря на блистательные покровы цивилизации, предлагаемые с тех пор, как зашевелилась в мире правда, величайшими искусниками одевать человека, чтобы скрыть его преступления. Нет, он таков, каков есть, и желает таковым остаться. Именно с наготы и правды надо начинать все заново, если это еще возможно. Он пил, и вино вскоре возвратило ему энергию для священного гнева, необходимого человеку, чтобы не дать сердцу застыть и умереть.

— Для чего им понадобилось меня убивать? Помимо общего соображения, что человек есть нечто такое, с чем в принципе примириться невозможно?

Тамил огорченно посмотрел на него.

— Господин... Кон, вы слишком умны, чтобы задавать такие вопросы...

Кон прищурился. Пальцы его крепко сжали стакан. Силы возвращались, и вместе с ними насмешливая злость, от которой ничего не меняется, но на душе становится легче. Снаружи шумела буря, но в сравнении с бурей у него внутри это было нежным детским лепетом.

— У вас богатое воображение, господин Кон. Но иногда вы далековато заходите в своих шутках, забываете о колоссальном авторитете вашего имени... вашего настоящего имени, господин... Кон. Возьмите хоть историю с мотоциклом. Один наш уважаемый русский коллега и еще один китайский коллега убили друг друга несколько дней назад из-за этой выдумки. Мы выловили их трупы в лагуне... Рука торчала из воды...

Кона это потрясло.

— Они что, правда поверили?

— Нет, конечно. Какой вы ни есть гений, они не поверили, будто вы действительно открыли способ ловить то самое, что в просторечии называется человеческой душой, и использовать как бесплатное горючее, этакий неиссякаемый источник энергии, вечный двигатель. Но они поверили, что вы открыли *нечто*. Любые слухи о научном открытии, если они связаны с вашим именем, всегда воспринимаются всерьез и немедленно проверяются. Двое уже отправились из-за этого на тот свет... плюс двое сегодняшних.

Кон задумался.

— Четыре трупа — это как-то маловато. Меня недооценивают. Я стою гораздо больше. Сами подумайте, одной моей бомбой вы сможете стереть с лица земли столицу кого-нибудь крупного государства... Четыре трупа! Да это просто черная неблагодарность!

Тамил с интересом посмотрел на него.

— Вы страдаете гипертрофией совести, господин Кон. Напрасно вы так терзаетесь уже целых полтора года.

— Я терзаюсь, как вы изволили выразиться, гораздо дольше, с тех пор, как живу на земле, — сердито ответил Кон. — Уже около двух тысяч лет.

— Да-да, знаю, знаю, — согласился Тамил. — Но каковы бы ни были ваши удивительные дарования, от вас мало что зависит. Человечество никогда не испытывало недостатка в гениях и никогда, благодарение Богу, испытывать не будет. Не вы, так другой. Даже у китайцев уже есть бомба, а говорили, будто они очень отстают. Конечно, вы представляете для нас большую ценность — возможность получить перед другими странами преимущество в несколько лет. Поэтому кое-кто и пытается вас убрать, а другие, вроде нас с Маэ, вас оберегают. В вопросе ядерного равновесия вес научного гения, способный перетянуть чашу весов, играет действительно решающую роль. Отсюда и... внимание, которым вас окружают... с той и с другой стороны. Но вы не хуже меня знаете, что даже если бы вы самоустранились... если бы ваш знаменитый "прорыв" не позволил так быстро создать оружие, которое сейчас готовится к испытанию на Мурароа, это бы сделал рано или поздно кто-нибудь другой... Так что мысль приехать на Таити и бродить на месте "преступления"... разыгрывать "про́клятого гения"... терзаться и бушевать — это, знаете ли... Гипертрофия совести легко лечится. Ваш врач в Париже, доктор Бирдек, наблюдавший вас во время вашей последней нервной депрессии, наверняка вернул бы вам душевный покой, который так необходим сегодня крупному физику, пусть даже верующему христианину, чтобы продолжать плодотворно работать...

Кон не слушал. Волнение, усталость, пережитый страх в сочетании с алкоголем привели его в полубессознательное состояние, и осталась только мечта, острая, мучительная в своей недостижимости, о далеком неприступном острове, который Океан охранял бы со всех сторон. "Я ищу того, кем я был до начала времен"... Кон был неспособен сейчас постоять за себя. Он поднял на Тамила взгляд, полный страдания, в котором тонуло все, кроме последнего путеводного огонька — негодования.

— В сущности, — пробормотал он, — это вопрос теории вероятности. Цифры все есть, они опубликованы в газетах, но они никого не волнуют... Степень деморализации, психологического давления и пассивности людей такова, что народы больше ничего не замечают... Да их и нет уже, народов, остались только государства. Кстати, напомню вам признание, сделанное не так давно Организацией Объединенных Наций и Белым домом: шестнадцать миллионов детей, по самым скромным подсчетам, должны родиться неполноценными вследствие радиации, уже накопленной в генах человечества с тех пор, как ведутся ядерные испытания[1]. И эта цифра занижена — некоторые биологи оценивают количество будущих уродцев в шестьдесят или даже восемьдесят миллионов. Это официальная цифра, Тамил, всеми утвержденная, всеми признанная и на которую всем насрать. Людей, правда, немного беспокоит грядущая атомная война, но преступление уже совершено, самое страшное преступление за всю историю. И знаете, ради чего?

Он стукнул кулаком по столу, и по небу прокатился гром. Тамил засмеялся.

— Великолепно! — сказал он.

Кон потерял голос и на миг замолчал, отыскивая его в глубинах горла.

1. Кон приводит общеизвестный факт, отмечавшийся, в частности, генералом Бофром в статье 1966 года. (*Прим. авт.*)

— Шестнадцать миллионов детей-дегенератов уже ждут в наших отравленных генах... *Есть шанс, что теперь родится... новый Христос... вполне нас достойный... Христос-дебил... глухонемой младенец Христос, к тому же умственно отсталый... его наконец-то перестанут бояться... преступное чудовище, которому можно смело доверить... духовное руководство... делами нашего мира...*

Кона вырвало, и он рухнул на стол.

— Бедняга, — сочувственно вздохнул Маэ. — Трудно быть одновременно хорошим парнем и великим человеком.

— Надо отнести его домой, — сказал Тамил. — Помоги мне... Трудно быть человеком, вот и все. К счастью, это большая редкость. <...>

Благая весть

Вечером он возвращался домой по пляжу в обнимку с таитянской ночью, которая по природе своей — женщина. Самая прекрасная среди всех и единственная среди всех таинственная.

Засунув руки в карманы, он тихонько насвистывал. Воображение работало на полную катушку. Он страшно гордился своей выдумкой. Поймать отлетающую душу и навеки заточить в нашем земном содоме ради промышленной выгоды! Не нужны больше ни нефть, ни уран... Просто блеск! Но Кон был не вполне собой доволен. Можно придумать и получше. Мало взять в плен душу, надо еще ее расщепить и подарить великим державам поистине неотразимое оружие.

Он шел и свистел в темноте, повеселевший, с легким сердцем, смакуя высочайшее достижение в ремесле пикаро, когда можно открыто говорить правду и никто тебе не верит. Такое удается только истинным виртуозам.

Он вытащил сигару и закурил. Огонек во тьме мог в принципе навести на цель снайперов, но русские, китайцы и французы уже его атаковали, и теперь, по всем законам, должна была наступить передышка.

Кон подошел к фарэ в состоянии легкой эйфории. Все вокруг дышало гармонией, контуры пейзажа были словно выведены рукой мастера. На лунном фоне, прильнув к небу, спала гора, кокосовые пальмы склонялись над белизной песка, от которого поднимались морские запахи.

Кон толкнул дверь.

Из постели метнулся какой-то танэ, схватил со стула штаны и выскочил в окно.

— О, пардон, — сказал Кон.

Меева не пошевелилась, она спокойно лежала, раскинув ноги. По ее счастливому, умиротворенному лицу Кон понял, что пришел вполне вовремя и ничему не помешал. Она улыбнулась ему и потянулась. Он что-то пробормотал и направился к умывальнику. Бритва была еще влажная, со следами мыла и волос. Это его возмутило.

— Какого дьявола! — заорал он. — Я не выношу, когда пользуются моей бритвой! Безобразие! Стоит только выйти за порог...

— Вечно ты из-за пустяков поднимаешь шум, Чинги.

— И потом, что это за манера выскакивать в окно, ни мне здрасьте, ни тебе до свидания?

— Он застенчивый.

— Застенчивый-застенчивый, а зубы моей щеткой не постеснялся почистить. Просто свинство!

— Что же ему было делать? Он ведь не знал, когда сюда пришел, что ему понадобится зубная щетка!

— Кто этот олух?

— Понятия не имею. Я с ним только что познакомилась.

— А, ну ладно. Что можно поесть?

— Знаешь, я приготовила тебе обед, но он все умял.

Кон подошел к кровати.

— Ну вот что, я не собираюсь читать тебе мораль, но когда вахинэ позволяет всяким проходимцам брать бритву и зубную щетку человека, с которым она живет, да еще скармливает им его обед, это значит только одно: что она не умеет обращаться со своим попаа. Я очень недоволен.

— Кон, погоди...

— В холодильнике пусто?

Меева чуть не плакала. Нет ничего оскорбительней для таитянки, чем сказать ей, что она не умеет обращаться со своим попаа.

— Я думала, ты не будешь есть сегодня дома, и потом, сам знаешь, когда занимаешься любовью...

Кон смягчился. Она была права. Невозможно делать сто дел одновременно. Меева — настоящая таитянка. Она знает, что важно, а что нет. Любовь на первом месте. Все остальное может подождать.

Он присел на кровать и погладил ее по щеке.

— Ладно, не реви. Ты хорошая девочка.

Она обвила его руками, прижалась к нему.

— Мы ведь счастливы вместе, правда, Кон?

— Да.

Он все еще сердился.

— Но ты должна понять, что зубная щетка попаа священна.

— Я куплю тебе другую, завтра, у китайца.

Он положил голову ей на грудь.

— Тебе было хорошо?

— Очень. Все-таки Господь Бог здорово все устроил.

— Да. Кое-что ему удалось. Однако он оставил нам еще кучу работы.

— Но ее же можно не делать!

Кон восхитился. Это было на сто процентов верно.

Масляная лампа не нарушала мягкость окружающей полумглы. Прибой стих. Где-то вдалеке петух, обманутый прозрачной ясностью ночи, настойчиво и рьяно возвещал рассвет с упрямой убежденностью лжепророка. На москитную сетку шлепнулась ящерица, в ужасе замерла на секунду и умчалась стрелой прочь. Меева ласково гладила его по голове и крепко обнимала, как всегда, когда чувствовала в нем тревогу. Она не понимала причин тревоги. Кон, впрочем, тоже. Это и было самое тревожное в тревоге.

— Кон...

Он повернулся к ней, сжал ее руку:

— Я с тобой.

Хотел добавить: “Я всегда буду с тобой”, но осекся. Он не мог взять ее во Францию. Таитянки во Франции чахнут, бледнеют, тают на глазах. Она лежала окутанная длинными черными волосами. Ее огромные глаза стали вдруг еще больше. Она в нерешительности умолкла, и Кон думал о том, какие потаенные мысли посещают это живое сокровище, которое

боги забыли случайно на земле в своем поспешном бегстве, когда кончилась эра мифов и настало время реальности.

— Почеши мне спинку, — сказала она наконец грудным голосом.

Таитянка всегда найдет чем удивить. Он послушно начал чесать. Меева мурлыкала.

— Ты потрясающе это делаешь!.. Ох, как приятно! Как приятно!

Кон был в своей стихии. Он знал, что он великолепный любовник. Он мог чесать спинку без устали, целыми часами.

— Кон, Флора, кухарка губернатора, сказала мне, что там у них только о тебе и говорят. И вроде бы, ты важный человек. Я не хочу, чтоб ты уезжал. Если ты важный человек, значит, обязательно уедешь, бросишь меня. И теперь, когда мы ждем ребенка...

Кон замер.

— Мы ждем ребенка? С каких пор?

— Я беременна.

— От меня?

— Не знаю, от тебя или не от тебя, но хочу, чтобы отцом был ты. Все, что у меня есть, твое, Кон.

Кон знал, что у таитянок это считается высшим проявлением любви. Он был растроган и даже — неожиданно для себя — слегка горд, оттого что станет отцом. Извечное мужское тщеславие, ничего удивительного.

— И ты не знаешь, от кого?

— Нет, конечно, как я могу знать?

— Не обижайся, я спрашиваю просто так, имею же я право полюбопытствовать, от кого он, мой будущий сын. Обещаю о нем заботиться. Я страшно рад, честное слово.

Она улыбнулась:

— Правда?

— Ну да, я такой же человек, как все. Я и не думал, что во мне дремлет любящий папаша. Мне бы хотелось, чтобы это был мальчик. Забавно, я даже представить себе не мог, что на меня это так подействует.

— Он будет красивый, вот увидишь. Я никогда не спала с некрасивыми. Ты сможешь им гордиться.

Кону вдруг показалось, что его жизнь удалась. У него даже заколотилось сердце. Это была первая хорошая новость за много месяцев. Он смахнул слезу. Меева схватила его за руку.

— Не плачь, Чинги!

— Да ведь это потрясающе! — вскричал Кон.

Меева гладила его по руке.

— Я тебе потом еще рожу, сколько захочешь. Я люблю тебя, правда.

Кон пришел в необычайное возбуждение. Его сын, не им зачатый, наверняка будет парнем что надо. А может, и того лучше. Древняя мечта о чудесном рождении жила в нем как последняя надежда людского рода.

— Ну хватит плакать, Кон.

Он рыдал. Это же великолепно — подарить миру сына, который не связан с тобой кровными узами! С тех пор, как не стало его родителей, Кону ни разу еще не было так хорошо. Он сознавал, что расчувствовался. Оказывается, он так долго топтал в себе все человеческое, чтобы стать наконец человеком.

— Ну хватит, Чинги, не реви...

— Ты что, не видишь, я взволнован! Такое нужно отпраздновать. Одевайся, пошли танцевать...

Вдруг он забеспокоился:

— А тебе танцевать-то можно? Он не вывалится?

— Он не может так просто вывалиться. Уж если зацепился, так зацепился.

— Вот, кстати, напомнила, надо купить серую мазь. Понятия не имею, где я подцепил эту дрянь. Такая грязища кругом, не знаешь, куда деваться.

— От Унано, — сердито процедила Меева. — Эта девка не француженка. Совершенно не следит за собой.

Он закурил сигару. И снова мысль о том, что у него будет сын от неизвестного отца, пробудила в нем волнующие надежды.

Они встали, вышли из фарэ, пошли по пляжу, держась за руки. Километры белого песка были рассыпаны, казалось, исключительно для того, чтобы им было приятно ступать по нему.

— Когда ты едешь во Францию?

— Почему ты решила, что я еду?

— Потому что у тебя вид побитой собаки.

Он понимал, что оставаться на Таити уже невозможно. Но еще был шанс сбежать. Существуют ведь где-то другие острова, необитаемые, в далеких атоллах. Но его все равно очень быстро отыщут. Они берегут его как зеницу ока и не упустят ни за что. Как якобы сказал ему де Голль, когда он якобы осуществил свой знаменитый ядерный "прорыв": "Я считаю для себя честью жить в одно время с таким выдающимся человеком".

Он улыбнулся. Он еще не сдался. Он продолжал бороться, сбросив бремя собственной личности, которая была для него такой же случайной, как и все прочие. Как будет благодарен мир, когда первый механизм — автомобиль, стиральная машина или зерновой комбайн — с мотором в две-три души (говорить станут попросту в два-три "духа") поступит в продажу!.. Никто тогда не посмеет заявить, что человечество утратило духовность.

Накануне он виделся с Бизьеном и подробно рассказал обо всем, что с ним произошло. Бизьен вежливо выслушал, не выказав ни малейшего удивления или скепсиса, и вообще был необыкновенно учтив. Кон так и не понял, поверил бывший патрон его исповеди или счел ее очередной творческой импровизацией, по части которых сам был большой мастер.

— Фантастическое совпадение! Интерпол разыскивал меня за мошенничество, и я сделал в Венесуэле пластическую операцию. И кто бы мог подумать, хирург совершенно случайно сделал меня похожим как две капли воды на крупного французского ученого, бесследно исчезнувшего около двух лет назад, скорее всего убитого. Отец французской водородной бомбы, многообещающий исследователь, с массой перспективных идей... Его везде искали, ну и, естественно, в какой-то момент вышли на меня и "опознали"... Сходство, видимо, разительное... В результате одни пытаются меня убить, другие ночей не спят — охраняют... Все хотят, чтобы я работал именно на них. Представляете? Надеются, что я придумаю новое сверхмощное оружие... Это я-то!

Бизьен задумчиво сосал маслину. Лицо его не выражало ничего.

— Красиво, — сказал он.

— Не верите?

— Отчего же? Верю, — вежливо ответил Бизьен.

— И, между прочим, я его сделаю. Я способен на все.

— Знаю.

— Ведь я — Человек! — воскликнул Кон мелодраматическим тоном, как бы пародируя самого себя, что позволяло путать карты и высказываться вполне откровенно под видом шутовства. — Я — Человек и в этом качестве обречен на уничтожение, потому что наши выдающиеся мыслители предрекают мне близкий конец. Короче, меня пытаются истребить и одновременно меня же спасти. И то и другое правильно. Я ведь непредсказуем. Могу добровольно пойти на крест, как Спаситель, могу сделать страшнейшее оружие. Это уж как получится. Такой вот я, ничего не поделаешь!

Бизьен одобрительно кивнул. Означало ли это, что друг-пикаро ему верит или просто выражает профессиональное уважение коллеге? Кон не знал.

— Конечно, можно было бы сказать им, что это не я. Но, в сущности, это все равно я. И я не стал отпираться. Не имело смысла. Это все равно что утверждать, будто не я распял Христа, не я обратил негров в рабство, не я устроил в Китае "культурную революцию", будто уничтожение евреев, Вьетнам, Хиросима, отравление атмосферы, Крестовые походы не моих рук дело... Естественно, моих, чьих же еще?.. Во всяком случае, бежать я уже не могу. Некуда.

Маленькие, лишенные выражения глаза великого промоутера медленно поднялись, чтобы встретиться с глазами Кона. Кон выдержал его взгляд не моргнув. По лицу Бизьена скользнула улыбка.

Номер не прошел. Впервые за всю карьеру пикаро Кон покраснел.

— Крестовые походы были из рук вон скверно организованы, — строго сказал Бизьен, то ли решив тактично сменить тему, то ли сожалея, что его там не было. Уж он бы организовал все как надо.

Светало. За пальмовой рощей хижины деревни Таэ приветствовали рождение дня столбиками неподвижного дыма. По Океану пробегала легкая дрожь, подгоняя к берегу длинные белые полукружия. Мужчина и женщина, держась за руки, шли по розовому песку. Кон пел. <...>

Повинная голова

"Эр Франс" известил Кона, что билет первого класса на парижский самолет ждет его в агентстве, надо лишь сообщить не позднее чем за сорок восемь часов дату вылета. Кон провел день с рыбаками в бухте Пуа-Пуа и, вернувшись домой, застал Мееву сидящей перед мешком корреспонденции, которую Шавез переправил ему из Франции с припиской: "Мы счастливы, что ты жив и здоров. Вся команда ждет тебя с нетерпением. Без тебя мы топчемся на месте".

Кон записку порвал. Она затронула кое-какие тайные струнки его души. Значит, от него еще ждут новых свершений. Когда он открыл огонь, изобрел пращу, лук со стрелами, а затем и порох, каждый раз все охали и ахали от восторга. А потом приходили опять и требовали чего-нибудь получше. Что ж! Надо так надо.

Когда у него в Париже случился "душевный кризис" — как же это было давно! — врач сказал ему: "У вас так называемый синдром Спасителя, медицине хорошо известный. Он может привести как к терроризму, так и к святости, а иногда человек предается своеобразной дикарской пляс-

ке, силясь сбросить со своих плеч тяжесть мира. Вы же сами как-то сказали, что Атлас был плясуном".

Истина состоит в том, что каждый человек — Атлас и несет на своих плечах бремя мира. Как от него освободиться? За этим вопросом таится несбыточная мечта — отмежеваться. Когда Кона спрашивали, откуда у него такая страсть к танцам, он отвечал: "Я не танцую. Я топчу". Говорят, в России был такой случай: в местечке после погрома подобрали умирающего еврея, его грудь была рассечена шашкой. Кто-то спросил: "Тебе очень больно?" Он ответил: "Только когда смеюсь".

Кон лихо сдвинул на ухо капитанскую фуражку.

Он без страха поджидал врага. У него еще хватало сил бороться.

Меева по-прежнему смотрела на гору писем. Кон сел на корточки рядом с ней. Она взяла его за руку.

— Надо купить тебе чемодан, — сказала она. — И костюм. Ты же не можешь ехать так во Францию... Там ведь холодно.

— Перестань, пойдем выкинем все это в море.

Письма теперь приходили каждый день, некоторые полугодовой давности, адресованные ему в Коллеж де Франс и исправно пересылаемые Шавезом. Приглашения на конгрессы, симпозиумы, коллоквиумы, предложения прочесть курс лекций, написать статью, дать интервью, разнообразные поздравления. Сообщение о присуждении ему звания доктора honoris causa одного из американских университетов. Институт фундаментальных исследований спрашивал, не согласится ли он занять место, освободившееся после смерти Оппенгеймера. Восторженные статьи, доказывавшие как дважды два, что, если бы не его решающий вклад, создание французской водородной бомбы затянулось бы еще лет на десять. Он предвидел, что не сегодня завтра толпы журналистов высадятся в аэропорту и набросятся на него с сакраментальным вопросом, что он чувствует в момент триумфа, когда *его* водородная бомба вот-вот озарит ослепительной вспышкой небо над Океанией.

Однажды прибыл посыльный на мотоцикле и вручил ему официальный пакет. В нем вместе с личным приветствием от губернатора лежала вырезка из "Фигаро". Всего несколько строк, зато на первой странице и крупным шрифтом. Заметка гласила: "Французский физик Марк Матье, бесследно исчезнувший более полутора лет назад, обнаружился на одном из островов Тихого океана. Молодой ученый, чья определяющая роль в разработке французского ядерного оружия общеизвестна, восстанавливает там силы после тяжелой болезни". Кон скомкал заметку.

Он не имел причин отвергать имя, которое ему таким образом предлагалось. Еще один недоразвившийся плод, не более того. Его друг поэт Мишо не зря написал: "Пошатнувшийся от брошенного камня уже двести тысяч лет шагал, прежде чем услышал крики ненависти и презрения, которыми его хотели застращать". Приходилось признать, что он является также и Марком Матье, как являлся некогда Гомером или Эйхманом. Тут главное — верить в эти метаморфозы и продвигаться наугад к некоему чудесному будущему воплощению, которое ждет его после поругания.

— Что с тобой, Кон? — забеспокоилась Меева. — Ты совершенно зеленый.

— Зеленый? Это, наверное, зрелость. Понимаешь, я ведь принадлежу к категории людей, которых называют интеллигентами. А у них про-

цесс созревания происходит в обратном порядке. В молодости они, как правило, красные. Потом становятся зелеными. В этот период у них, пожалуй, вкус лучше.

В тот же день он получил несколько поздравительных телеграмм из Национального центра научных исследований. В преддверии испытаний на Мururоа его наградили орденом Почетного легиона. Меева читала телеграммы через его плечо.

— Что ты для них сделал, Кон, что они так с тобой носятся?

У него не хватило сил соврать. Он опустил голову.

— За что тебе навесили орден Почетного легиона?

— Его обычно дают посмертно. Мне дали за Гогена.

Но у него возникло странное ощущение, что она все понимает. Уже и дома не стало покоя!

Двое молодчиков, которых он никогда прежде не видел, деликатно следовали за ним на расстоянии, сопровождая его, куда бы он ни пошел, а ночью слонялись вокруг фарэ с электрическими фонариками. Франция трогательно заботилась о нем. В один прекрасный день, заглянув под кровать в поисках сандалии, он заметил круглую штучку, прикрепленную к стене. Оказалось, микрофон. Он осмотрел все кругом и обнаружил еще один — в другой комнате, под столом. Но теперь это было уже не важно. Он ни на миг не расставался с Меевой и все время держал ее за руку. Никогда он не нуждался в ней так остро, как сейчас. Она была последней ниточкой, тянувшейся к первозданному миру, к эпохе нерастраченных возможностей, к "тому, кем он был до начала времен". Она не имела даже аттестата о среднем образовании. И готовилась родить ему сына от неизвестного отца, что вселяло большие надежды.

Меева с ним почти не разговаривала. Он никогда не видел ее такой деловитой. Как-то утром она молча перегладила все его вещи и аккуратно сложила в небольшой чемодан, который сама же купила накануне. При известной доле воображения можно было бы счесть, что она страдает.

Потом нарядилась в свое лучшее платье, красное с синими цветами.

— Ты куда собралась?

— Пойду потанцую.

Она страдала действительно. Кон знал, что она будет плясать несколько часов кряду, а потом отправится на пляж с каким-нибудь танэ заниматься любовью. Ей было тяжело. Кон впервые в жизни чувствовал себя любимым.

Последний удар, окончательно добивший его, он получил около шести часов вечера, когда солнце уже начинало раздуваться, чтобы лопнуть над Муреа. Кон сидел на песке перед домом, опустив бороду на поджатые колени, в фуражке набекрень, и курил свою последнюю сигару. Он не знал, как быть. Невозможно везти Мееву во Францию. Для таитянки это будет не жизнь. Она сразу же утратит всю свою невинность и чистоту. Да и сам он в Париже постоянно будет чувствовать себя рогоносцем. На Таити никто не был рогат, здесь вопрос так не стоял, местные традиции делали нелепым само понятие супружеской измены. А в Париже все воспринималось иначе, искажалось, извращалось. Там он неизбежно начнет требовать от Меевы верности, и она этого не вынесет. Можно, конечно, закрыть глаза, но это недостойно. Ничто не вызывало у него такого омерзения, как снисходительные мужья-рогоносцы.

Так он сидел и мучался, как вдруг увидел человека, шедшего в его сторону через гибискусы. Это был элегантный седоватый турист, с которым Кон несколько дней назад поболтал минут пять на террасе "Ваирии". Немец, вспомнил Кон. И тихо выругался. Сейчас он испортит ему весь закат.

Немец подошел ближе. Он выглядел действительно очень элегантно. На нем был безукоризненный серый костюм с бабочкой, в руках он держал шляпу. Волосы разделял идеально ровный пробор. Лицо было симпатичное, с длинным аристократическим носом.

— Извините, пожалуйста...

Кон и ухом не повел. Таитянские правила запрещают приставать к человеку, который спокойно курит сигару на берегу Океана, смакуя заход солнца.

— Господин... Кон, не так ли?

Кон обладал особым даром предчувствовать дерьмовые ситуации. Где-то в заднем проходе у него имелся небольшой радарчик, и за несколько секунд до катастрофы он начинал вибрировать, вызывая холодную мелкую дрожь. Сейчас радар работал в бешеном темпе. Кон взглядом дал понять чужаку, что тому лучше отвалить.

— Прошу прощения за беспокойство, но я ищу свою дочь.

— Не там ищете.

— Я знаю, что она не хочет меня видеть. Но ее мать очень тоскует. Она больна, почти при смерти. Мне бы хотелось, чтобы Либхен поехала во Франкфурт, хоть на несколько дней.

— Здесь нет никакой Либхен.

Либхен! Только этого не хватало!

— Позвольте представиться. Моя фамилия Кремниц, я профессор международного права в Тюбингенском университете. В юности у меня случился, так сказать, романтический порыв, вполне обычный для этого возраста. Я сбежал в Полинезию... Не мне вам объяснять, как это бывает. Я женился на таитянке. В конце концов я, разумеется, вернулся в Германию с женой и дочерью. Она изучала этнологию в университете.

Кон вздохнул с облегчением. Ложная тревога. Радар, похоже, испортился.

— Либхен принадлежит к бунтующей молодежи, которая непрерывно воюет с нашей бедной цивилизацией... Она уехала из Германии и решила поселиться в Полинезии. Старая тоска по земному раю, невинности, мечта современных людей вернуться назад к истокам, как будто можно оттуда двинуться в другом направлении...

Кон вытащил изо рта сигару.

— Я-то тут при чем?

— Прошу меня извинить. Я пришел сюда не затем, чтобы размышлять вслух в присутствии незнакомого человека. У нас уже год нет никаких известий о дочери... Я занялся поисками. Написал в несколько учреждений в Папеэте. Нам сообщили, что Либхен живет здесь уже около двух лет под именем Меева...

Кон одновременно раскрыл глаза и рот. Сигара выпала из пальцев. Он разразился такой кошмарной бранью, что от нее покраснел бы сам Господь Бог, если бы Он умел краснеть. Потом Кон рывком вскочил на ноги.

— Либхен, да? Либхен!

Он дико захохотал. Немец смотрел на него с изумлением.

– Простите, я не понимаю...

Кон сделал глубокий вдох, задрал голову. Сын приготовился выложить Отцу, все, что он о нем думает, но вдруг вспомнил, что там наверху никого нет. Он бросился бежать к Океану.

Бухта лежала в четырехстах метрах, там, где вытекал из-под земли источник среди скал и мангровых. Пирога стояла на своем обычном месте, привязанная к свае. Кон потрогал веревку. Она оказалась длинной и крепкой, как раз такой, как нужно. Оставалось только найти камень потяжелее, ибо тяжесть на душе, будучи всего лишь фигурой речи, веса не имеет и ко дну утянуть не может. Кон ощущал себя выбитым из седла, родео кончилось, и уже не стоило пытаться снова вскочить на коня. Только недоумки вроде Гогена способны верить, будто надо "упрямо и страстно держать курс, – как пишет он в своем дневнике, – к гостеприимной земле, восхитительной и чудесной, дивной родине свободы и красоты".

Наконец он нашел здоровенный валун, килограммов в тридцать, который едва смог поднять. Кое-как доволок его до пироги.

Пришла ночь. Кону даже показалось, что она нарочно поторопилась, чтобы увидеть конец бунтаря. Ночь любит поучительные финалы. Кон поднял глаза. Звезды сгрудились над ним, как ярмарочная толпа. Он поискал среди них свое созвездие и не нашел. Оно было, наверно, очень занято и не могло заботиться одновременно обо всех своих подопечных.

Кон принялся грести.

Фосфоресцирующая вода светилась миллиардами невидимых жизней, дававших знать о себе лишь едва уловимым трепетом. Пальмовые рощи тонули во мраке, виднелись лишь их неподвижные лохматые головы. Луна высунула из-за туч бледную лысину, словно придирчиво выбирала парик. Океан нес в своих складках блестящие монетки разменянной бесконечности.

Когда пирога достигла середины лагуны, Кон положил весло, крепко привязал камень к концу веревки, а на другом конце сделал петлю и накинул на шею. Связал на всякий случай себе запястья. Опасался, что сработает инстинкт самосохранения.

Стоя в пироге со связанными руками и петлей на шее, Кон еще раз взглянул на то, что за неимением достаточно сильного слова именуется небом: ночные светила явились на представление в полном составе, трибуны были заполнены мирами. Он почти слышал крики продавцов мороженого, орешков и лимонада.

Ему почудилось, что бессчетные световые годы источают особый торжествующий блеск. Галактики были на стороне Отца. Ему давно следовало избавиться от своего неблагодарного Сына. Кон стоял в пироге во весь рост.

Камень оказался еще тяжелее, чем представлялось на берегу. Трижды не получалось его ухватить. Мешали связанные запястья. Пирога опасно раскачивалась. Кон боялся сделать себе больно.

Наконец ему удалось поднять камень, прижимая его локтями к животу. Он машинально набрал в легкие воздуху, потом сообразил, что это естественный рефлекс и, следовательно, лишь продлит агонию. Он выдохнул воздух, закрыл глаза, сжал зубы и бросился за борт.

Ко дну он не пошел. И, открыв глаза, обнаружил, что его держит веревка. Он слишком рано выпустил из рук камень, и тот упал обратно в пирогу.

В груди Кона закипела такая злость, что Океан вспенился и вокруг поднялись волны. Отец издевался над ним. Играл с ним в кошки-мышки. Со всей яростью и силой настоящего безбожника он разразился проклятиями. В своем неистовстве он совсем забыл, что Отец любит в Сыне подобные проявления беспомощности и веры и что природа чувств, которые Он внушает, Ему безразлична, лишь бы служить источником вдохновения.

Кон решил снова залезть в пирогу, чтобы довершить начатое. Через несколько минут он понял, что ему это не удастся никогда. Связанные руки не позволяли ухватиться за борт как следует. Он дернул за веревку, чтобы вытащить камень наружу. Но единственное, что смог сделать, это подтянуть к себе пирогу.

Он попытался утопиться без камня, но при каждом погружении, как только ему начинало не хватать воздуха, терял самообладание и выныривал.

Так он болтался в воде, разрываясь между праведным гневом и радостью, оттого что остался в живых. Люди только что потеряли блестящий шанс лишиться крупного ученого. Он же, со своей стороны, сделал все, чтобы стать подлинным благодетелем человечества — привязал себе на шею камень и честно хотел утопиться.

Кон поплыл к берегу. До пляжа оставалось километра три. Со связанными руками и тяжелой пирогой, которую он невольно тянул за собой, у него не было никакой надежды доплыть. Он глотал воду и начал нервничать — так ведь и утонуть недолго.

Он перевернулся на спину, придерживая веревку. Пирога очутилась в лунной дорожке, как и он сам, так что оставалось лишь ждать. На пляже наверняка должны быть какие-нибудь парочки. Он закричал.

— На помощь! Караул!

Это было несколько унизительно для записного циника, но ему ничто не мешало всюду потом рассказывать, что это полиция, власть и церковь привязали ему на шею камень, стремясь от него избавиться. Все же знают, что они довели Гогена до могилы.

— Помогите! Убивают!

Примерно через час какая-то пирога отделилась наконец от берега и начала двигаться в его сторону.

— Убивают! Спасите! Помогите!

Это оказалась Меева.

Кон замолчал. Решил поберечь голосовые связки. Скоро они ему пригодятся.

— Кон! О мой любимый Кон!..

— Шлюха! Дрянь! Сука!

— Кон, миленький, я тебе сейчас все объясню...

— Заткнись! Что я ненавижу больше всего, так это ложь!

Она подогнала свою пирогу к его и потянула изо всех сил за веревку.

— Тише, идиотка, ты меня задушишь!

Меева дрожала. Волосы ее растрепались, она даже не успела надеть платье и была совершенно голая. Кон возмущенно зашмыгал носом. Эта потаскуха-немка трахается на пляже с первым встречным, как невинная вахинэ. Нимфоманка, вот она кто! Сексуальная маньячка! Только немка

может так себя вести. Кому еще придет в голову явиться на Таити и осквернить последний уголок невинности в этом мире, единственный прекрасный остров, где не существует чувства греха.

– Проститутка! Мразь!

Меева плакала. Но Кона и без того мутило от соленой воды.

– Давай-давай, поплачь, мне как раз хочется посмеяться.

– Кон, моя мать – таитянка, клянусь тебе...

– Да какая разница, кто твоя мать! Мне это совершенно неинтересно.

– Ты же знаешь, что в каждой таитянке обязательно есть хоть несколько капель европейской крови!

– Несколько капель! Ха-ха!

Он приготовился сразить ее наповал.

– Либхен! – процедил он с убийственной иронией. – Либхен!

– Я до двенадцати лет жила на Туамоту. У меня таитянский ментали-тет... Честное слово!

Кон зажмурился. Что могло быть ужаснее, чем услышать из уст Мееы слово "менталитет"!

– Да, мой отец – немец, но он всегда был антифашистом и...

– Имея такую доченьку, как ты, он загладил свою вину перед фюрером. Я уверен, что Гитлер на том свете его простил!

– Подплыви ближе, дай я тебе помогу. Ты же простудишься! Вот вернемся в фарэ, и можешь меня побить.

– Не прикасайся ко мне! Убирайся! Не желаю жить с такими людьми, как ты и я.

Но у него не хватало сил следовать своим убеждениям. Он очутился на дне пироги с таким количеством камней на душе, что хватило бы построить собор.

– Кон, ты должен меня выслушать. Я хотела стать настоящей таитянкой, как моя мать. Хотела вернуться к своим корням. Ты можешь это понять?

– Ну конечно! Пришлось даже проучиться пять лет на факультете этнологии, чтобы обрести утраченную невинность. Тьфу!

– Я не хотела быть немкой. К тому же во времена Освенцима мне было всего три года...

Кон сел. Не будь она голая, он бы, наверно, ее задушил. Но у нее было действительно роскошное тело. Он закрыл глаза.

– Я не хотела там оставаться. Я ощущала себя таитянкой, и только таитянкой. Не могла приспособиться к условностям, предрассудкам, притворству...

– Вот-вот, давай поговорим о притворстве.

– Я не могла сказать тебе правду. Ты бы убежал от меня, как от зачумленной. Ты хотел Мееву, а не Либхен Кремниц.

Кон сплюнул.

– Сколько тебе платили за то, что ты шпионила за мной?

– Я жила с тобой не для того, чтобы шпионить. Это несправедливо! Когда меня заставили это делать, у нас уже полгода была любовь. Я люблю тебя, Кон. Люблю всей душой.

– Еще слово про душу – выброшу в воду.

– Сначала их интересовало только одно – не работаешь ли ты на русских или китайцев. Когда они разнюхали, кто ты такой, они страшно удивились – думали, ты давно где-нибудь за железным занавесом. А по-

том я уже не могла от них отвязаться. Носила им время от времени клочки бумаги, какие-то записи, которые ты забывал на столе. У меня же немецкий паспорт. Мне угрожали высылкой, если я откажусь. Он крепко держал меня в руках, гад.

— Что за гад?

— Отец Тамил.

— Никакой он не отец и вообще не священник, — вяло сказал Кон, вдруг осознав, что еще пытается спасти лицо, и вдобавок не свое.

— Про это я ничего не знаю. Знаю только, что это он.

— Он тебе платил?

— Ты что? За кого ты меня принимаешь?

Берег был уже совсем близко. Меева перестала грести.

— Кон...

— Нет, все, хватит. Сыт по горло. Еще немного, и начну блевать.

— Но мы ведь были счастливы вместе, разве нет?

— Мы друг друга не знали.

— Мы были счастливы.

Да. И он жалел, что все кончилось.

— Вот что я тебе скажу, Либхен. Пока мужчина и женщина друг друга не знают, они могут друг друга любить. И это даже бывает иногда прекрасно. Но когда они узнают друг друга по-настоящему... это уже невозможно.

Она уронила лицо на руки. Волосы упали ей на грудь, на колени.

— Ладно, не плачь, — смилостивился Кон. — Все равно мне надо уезжать. Так даже легче.

Он обшаривал глазами небо. Искал свое созвездие.

— Забавно, — сказал он. — Что-то я не могу сориентироваться.

Меева рыдала.

— Ненавижу своего отца...

— Я тоже, — отозвался Кон.

— Как он посмел сюда явиться, испортить все!..

У Кона возникла идея, подсказанная страстью к совершенству.

— Едем со мной во Францию, Либхен. Я буду делать бомбы еще более мощные, а ты пойдешь на панель. Из нас выйдет идеальная пара.

Они были в нескольких метрах от берега. Кон встал. Что это всё — человечность или бесчеловечность? Или это одно и то же?

Он снова сел, обнял ее за плечи.

— Не плачь, детка, — сказал он, и в его голосе было столько доброты, что Меева резко вскинула голову. — Не плачь.

Он улыбался.

— Я хочу тебе кое-что сказать... Меева. Невинность обрести вновь нельзя... И знаешь почему?

Она ждала.

— Потому что ее нельзя потерять.

Она схватила его за руку.

— Кон, я знаю один островок в атолле Атура... Там никто не живет. Настоящий рай. Мы могли бы там поселиться. Начать сначала. Начать все сначала.

Острова. Бегство. Новое начало. Вернуться назад и пойти по другому пути. Нетронутый пляж на берегу Океана. “Я ищу того, кем я был...”

— Давай уедем туда, Кон. Все забудем.

— Это незабываемо.

— Я даже могу родить там ребенка. Это было бы чудесно. Как в первый день творения...

Кона вдруг обуял ужас. Теперь, после всего этого вранья, он опасался самого худшего.

— От кого он?

— Я уже говорила. Не знаю.

— Ты уверена, что не от меня? Уверена?

Он не хотел подложить такую свинью своему сыну. Он уже был хорошим отцом.

— Я правда не знаю, от кого он. Со всеми этими танэ, которые у меня были за последнее время... Тебе не о чем волноваться.

Она помолчала.

— Он будет чудесный. Добрый, не такой, как все. Из меня получится хорошая мать, вот увидишь.

Пирога уткнулась в песок. Кон шагнул за борт и подтолкнул ее. В глазах у него стояли слезы. У него будет сын, не его кровь и плоть, и это вселяло головокружительные надежды.

— Твой остров далеко отсюда?

— Триста миль. Туда корабли не заходят — он в стороне от морских путей. Никто там никогда не был, кроме меня. Девочкой я плавала туда с Уаной, старым вождем Туамоту, он давно умер... С тех пор я все время мечтаю о своем острове... Ты не представляешь, как там красиво. Когда долго живешь на свете, это уже невозможно вообразить. Но я его никогда не забывала. Давай попробуем, Кон. Давай попробуем!

— У тебя есть карта?

— Его нет на карте. Но я знаю, как туда добраться. Ты согласен?

Кон привязал пирогу. Пальмовая роща казалась сплошной черной массой с подвижными контурами. Таити вздымал над ними свой бычий хребет. На склоне, с той стороны, где Бизьен выбрал место для встречи Моисея с Богом, вспыхивали, гасли и снова вспыхивали красные, желтые, оранжевые неоновые огни: там испытывали неопалимую купину. Из репродукторов, укрепленных на верхушках пальм, ночной ветер доносил до Океана звуки церковной музыки. Лучи фар скользили по темным зарослям. Автобус вез туристов к Крестному пути: этой ночью должно было состояться Распятие под председательством губернатора. На Мурруроа работали день и ночь, чтобы преодолеть отставание Франции.

“Из жизни райского сада”

Стихи болгарских поэтов

Перевод с болгарского Натэллы Горской

В наше время разобщенности появление этого совместного сборника кажется просто чудом. Свидетельством тому, что не все нити между нашими странами порвались, что в Болгарии по-прежнему любят русскую поэзию, а русские поэты любят Болгарию. В 1998 году Римма Казакова и поэты, участники литературного салона “Московская муза”, совершили поездку по Болгарии, выступая перед

© “Компас”, Варна, 2000
© И. У. Тер-Аракелян. Оформление, 2000
© Н. Горская. Перевод, 2001
© М. Тарасова. Вступление, 2001

читателями, а через год другая группа наших поэтов была приглашена на юбилей болгарского классика Ивана Вазова и фестиваль "Варненское лето" и выступала на вечерах с чтением уже не только своих стихов, но и переводов болгарских собратьев. Из этого общения и родилась мысль об издании совместного сборника. Идею его предложила участница обеих поездок Галина Климова. Антологию стихов русских поэтов о рае, как бы книгу из жизни райского сада, она давно подготовила в надежде, что когда-нибудь представится случай ее издать.

Идея была с энтузиазмом встречена всеми собравшимися в тот августовский вечер. Болгарский критик Панко Анчев составил, можно сказать, в рекордный срок болгарскую часть сборника, и хотя в процессе работы было много споров и затруднений, благодаря поддержке Союза писателей Москвы, генерального консульства России в Варне, русских и болгарских предпринимателей, ставших спонсорами издания (их имена указаны в книге), антология уже через месяц после ее передачи в издательство вышла из печати. И на Рождество 2000 года к празднованию двухтысячелетия христианства на книжной ярмарке в Софии состоялась ее презентация.

Книга была издана очень быстро, но в ней не чувствуется следов спешки или непродуманности, наоборот, все в ней сделано с большим вкусом, который отличает и художественное оформление (московский художник И. У. Тер-Аракелян).

Рай — слово персидского происхождения и означает сад. "Почти известно географическое положение Эдема, — пишет Галина Климова в предисловии к русской части антологии, — на Востоке, в той стороне света, откуда восходит солнце. Точнее — в северной части Месопотамии, где позднее возник один из центров древней цивилизации с государствами Ур, Урук, Вавилония, Ассирия и другими".

Созданный Богом Сад — это уникальный микромир, упорядоченный и дружелюбный, место гармонии и вечного блаженства, но самая "значимая" особенность райского сада, подчеркивает Г. Климова, — его огражденность. Адам и Ева первыми вышли за круг правильной жизни, и тоска по Саду терзала сердца первых изгнанников из рая до самой смерти. Она передалась затем многочисленному потомству, всему человечеству.

Только закрою горячие веки —
Райские розы, райские реки...

М. Цветаева

"Сад, — пишет Г. Климова, — стал одной из точек отсчета человеческой культуры, мерилом цивилизации и одной из вечных тем поэзии".

Читая русскую часть антологии, невольно удивляешься, как много места занимает тема рая (разумеется, понимаемая широко — мечты о счастье, любви, грех, страдания, искушения) не только в творчестве поэтов-классиков — в антологии представлены Ф. Тютчев, Я. Полонский, Ф. Сологуб, И. Бунин, М. Волошин, Н. Гумилев, М. Цветаева, В. Ходасевич, Б. Пастернак, но и современных поэтов, среди которых — А. Тарковский, С. Липкин, Н. Горбаневская, К. Ковальджи, М. Кудимова, Т. Кузовлева, М. Исаева, И. Жданов и многие другие пишущие в наши дни, молодые и не очень известные широкому читателю авторы.

Одних стихотворений, озаглавленных "Ева" или " Рождение Евы", а у Казаковой "Монолог о Еве" и даже "Еще раз о Еве", наберется в книге более десятка. Адам вызывает меньший интерес, хотя и он не обойден вниманием: три стихотворения Н. Гумилева, стихи Н. Панченко, О. Щепалиной.

При всем осознании Евы как праматери, прародительницы:

Радуйся, праматерь, в каждом слове,
в каждом вздохе нашем, в каждый час —
в нас Акафист этот уготовив,
предвкушая каждую из нас.

И. Суглобова

образы первых обитателей Эдема не абстрактные, мифологические, а конкретные, земные, как бы по-свойски знакомые:

Баюкая Еву, дивился Адам
Земным, незнакомым, невзрачным садам.

С. Липкин

Ева, девочка, дикарка,
в мокрых космах до крестца.

А. Ревич

Идиллические картины Эдема, созданные Набоковым:

Блистает лестница в раю,
потоком с облака спадая...

Проходят ангелы в лучах.
Сияют радостные лики...

вытесняются другой, может быть главной, темой его творчества:

Я тоже изгнан был из рая
лесов родимых и полей,
но жизнь проходит, не стирая
картины в памяти моей.

Тема изгнания присутствует, конечно, и у других авторов, но рай видится современному поэту совсем иначе.

Непонятно радушье Господне,
странен вохровский сон ключаря.
Мы не завтра — сегодня, сегодня
согрешим, никого не коря.

Ю. Ряшенцев

Болгарскую часть антологии представляет критик Панко Анчев.

"Гармония и красота райского сада и драма, порожденная неспособностью первых людей противостоять искушению, — пишет он в предисловии к ней, — стали благодатной темой поэзии многих христианских народов. Но не болгарской. Или, по крайней мере, не в той трактовке, которая отличает, к примеру, русскую литературу, что не трудно заметить по этому общему русско-болгарскому поэтическому сборнику.

Для болгарских поэтов рай — не райский сад, не мир Адама и Евы, не райские плоды и птицы, не красота непорочного зачатия, а нечто гораздо более гру-

бое, суровое и приземленное. Жизнь болгар всегда была столь мрачной и трагической, что поэтам не до библейских сюжетов и образов. Поэтому болгарской поэзии не свойственна созерцательность, в ней почти нет тем и сюжетов вне реальной личной и общественной жизни.

Болгарский быт складывается вокруг очага, он ограничен рамками своего клочка земли, покосившегося дома, хлева, двора, которые создаются не ради любования красотой. Все здесь подчинено насущным потребностям: пропитанию и выживанию. Конечно, в каждом доме, в каждом дворе есть немного места для цветов, которые разнообразят серую повседневность и радуют глаз, хотя надо сказать, что болгарского поэта больше привлекает дикая природа. Ведь быт включает в себя обязанность заботиться о доме и семье, несвободу, и тут не до проявления высоких чувств.

Но рай для болгарского поэта — не только быт, это прежде всего влечение двух душ и тел к вечной общности, их утешение и наслаждение. Любовные отношения между мужчиной и женщиной так многообразно и тонко переданы в болгарской поэзии, что их не охарактеризуешь в нескольких словах. Рай — это счастливая, разделенная любовь. Разумеется, ад — неразделенная. Человек может изведать и ту и другую, и потому еще на земле он знает, что такое ад и что такое рай.

Вообще же в болгарской поэзии, да и во всей болгарской литературе рай — это место, где человек обретает гармонию и возможность проявить все доброе и прекрасное, что заложено в нем. И, пожалуй, именно такое воплощение темы рая и райского сада чаще всего встречается в болгарской поэзии. Но жизнь сложна, и поэтому поиски рая — своеобразное бегство от действительности, уход в мир мечты. Недостижимость красоты и добра рождает драму, разлад в душе, чувство безнадежности и отчаяния. Отсюда социальный пафос и социально критическая направленность большей части стихотворений сборника. Тема рая и райского сада в болгарской литературе — тема социальная. В этом ее отличие от других литератур — в том числе от русской. Когда мы читаем одновременно русскую и болгарскую части этой любопытной книги, то видим, как важны условия, в которых жили народы, сколь различны даже близкие по духу и родственные литературы".

С мнением П. Анчева трудно не согласиться, хотя нельзя не заметить и многих перекличек в осмыслении темы рая в русской и болгарской поэзии. Как созвучны болгарским стихам, представленным в антологии, строки А. Тарковского:

Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый, белый день...

Вернуться туда невозможно,
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Этот райский сад.

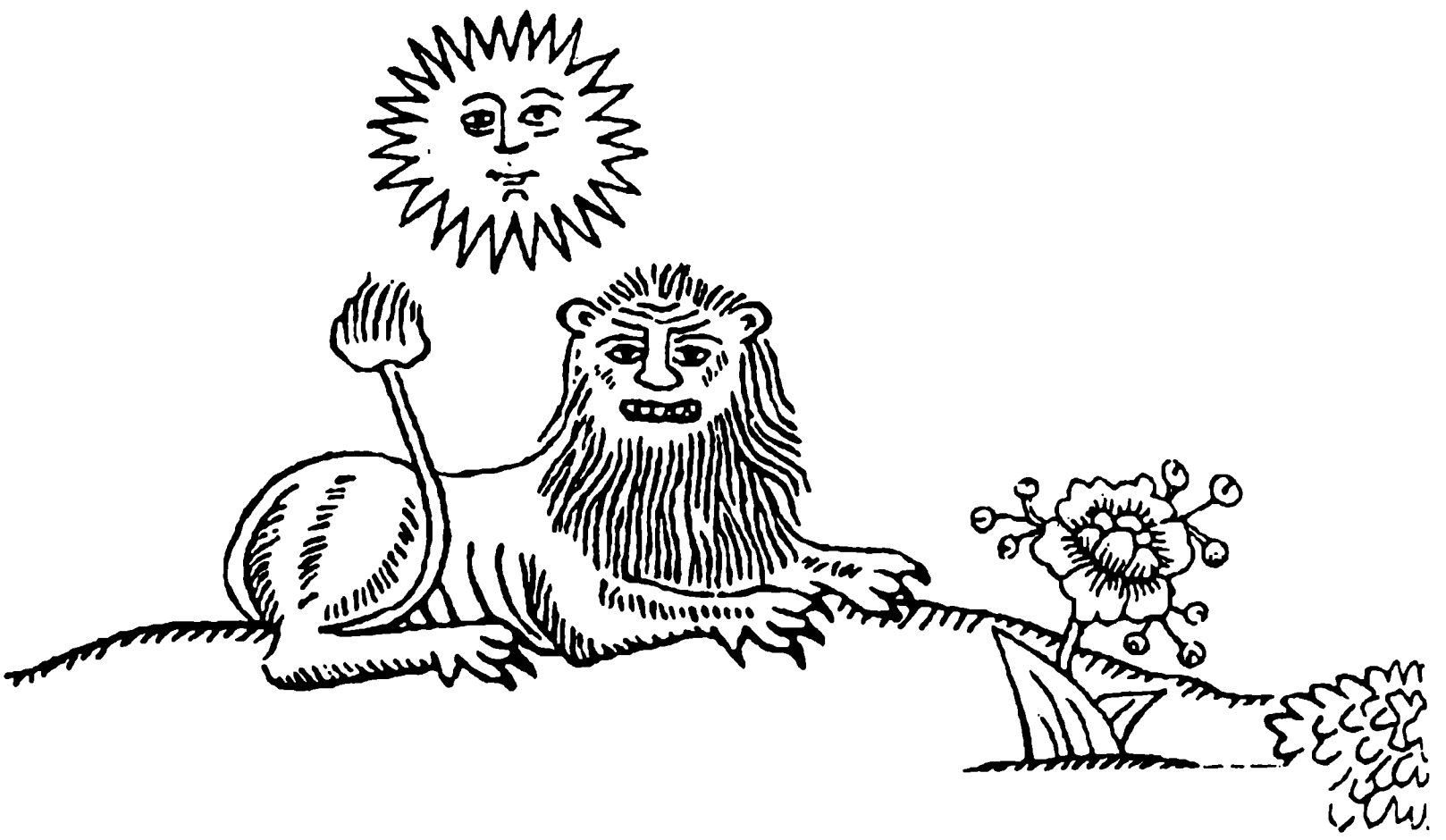
или лирическое настроение Е. Сулимы:

День летний, длинный, полный — через край.
Обед в саду, и детский смех — на даче.
Да неужели может быть иначе?
Да неужели это все — не рай?

"Впрочем, различие в подходах к теме, — считает П. Анчев, — возможно даже увеличит удовольствие от знакомства с этой книгой о рае".

Предлагаем вниманию читателей несколько стихотворений болгарских поэтов из этой антологии.

Мая Тарасова



Атанас Мочуров

П*етухи*

Ивану Николову

Был в детстве у меня свой райский сад –
там пели петухи и день и ночь.
С тех пор их песня – столько лет подряд! –
мои невзгоды прогоняет прочь.

Был в детстве у меня свой райский сад.
Два ангела рогатых жили там –
ленивых два вола! Года летят,
но до сих пор я радуюсь волам.

Был в детстве у меня свой райский сад.
Сидел там строгий седовласый дед.
Пускай года летят, пускай летят,
но для меня другого бога нет.

Недялко Йордан

Познание

Я испугавшись отпрянул, видя змею на дороге,
но моей пятки коснулось тонкое скользкое жало.
Был я отравлен мгновенно. И понесли меня ноги
в темную лавку, где грудой множество яблок лежало.

Ножик блеснул за прилавком. Срезать ли нежную кожу
с яблока, что из корзины взял я во мраке случайно,
иль, кожуры не срезая, зубы со сладостной дрожью
в мякоть вонзить молодую — в нежную терпкую тайну...

Плод соблазнительный съеден. Буднично все и обычно.
Розовощекий амурчик смехом исходит лукавым.
Мир обнаженный прозрачен. Страх исчезает привычный.
больше запретного нету, тайное сделалось явным.

Что я скажу тебе, мальчик, — маленький светоч чудесный?
Все, что тебя ожидает, хочешь узнать ты заране
и в заоконные дали смотришь из комнаты тесной.
Веришь ли мне — я не жажду, больше не жажду познанья.

Валерий Петров

* * *

Любимая, зачем — как дети —
мы упивались сладкой ложью:
мол, "падший ангел" есть на свете
и "воспаривший дьявол" — тоже?

Хмельным соблазном сбитый с толку
и грязной похотью объятый,
я с неба в бездну падал долго,
и вот разверзся круг девятый.

На серебристых крыльях перья
сменились перепонкой грубой,
подобно мерзостной химере,
кривлю в ухмылке злобной губы:

"Пустяк! Нелепая накладка!
Я в ночь шагнул, рожденный ночью!.."
Бодрюсь, а на душе несладко —
ужасен приговор бессрочный:
Смотреть с тоской, как в небе где-то
мерцает искра, не сгорая,
и с пеньем кружатся планеты
у врат потерянного рая.

Танё Клисуров

Смоковница

Смоковница лист протянула в окно.
Сорвать и прикрыться зеленым листом?
Но что нам скрывать — мы супруги давно,
мы стали с тобою одним существом.

Ночами, когда ты была молода,
боялся я — вдруг ты покинешь меня.
Сейчас все иначе, прошла без следа
пустая тревога вчерашнего дня.

Ты мне все грехи и ошибки простишь,
состарюсь — ты будешь все так же нежна.
В любви моей ныне осенняя тишь,
и смена сезонов душе не страшна.

Под знаком познанья судьба нас вела,
мы вместе с тобой миновали зенит.
А юная дочь между тем подошла
к смоковнице древней, что тайну хранит.

Александр Геров

Странно

Вода в пруду сияла серебристо,
роняли розы пряный аромат,
и песня молодого гитариста
сквозь тишь ночную долетала в сад.

Обнявшись, в сад вошли жених с невестой,
под звездным небом сели на скамью.
Им так мечталось в этот миг чудесный
излить друг другу всю любовь свою.

Меж тем родные шутки отпускали,
хихикали, судачили о них,
старухи с умным видом бормотали:
“Одно, мол, на уме у молодых”.

И в этот миг, надеждой озаренный,
суливший счастье им на много дней,
в свою невесту выстрелил влюбленный,
потом в себя — и рухнул рядом с ней.

Господь взирал на них оторопело
со всех икон, что были на земле,
а племя козлоногих свиристело
и кувыркалось бешено во мгле.

Родные выли, исходя слезами,
не сознавая истины простой:
они их довели до смерти сами,
казня своей душевной нищетой.

А мертвые в густой траве лежали,
искрящейся росой окроплены.
Перехитрили всех и убежали
от собственной судьбы и сатаны.

Димитр Пантелеев

Р*аскаяние*

Мой дом в веселом солнечном огне,
и я ликую, как ребенок малый...
Искал я рай, о нем мечтал, бывало, —
прости, Господь, такую дерзость мне.

Уйти туда, где вечна тишина?
Я не готов к такому новоселью!
Мне мрак и стужа были колыбелью,
судьбой мне буря в спутники дана.

Каков он, этот рай, — не знаем мы.
Да есть ли там дожди, зарницы, тучи,
и ржи весенней шепоток летучий,
и серебристые снега зимы?

Коренья пожую, медком запью —
на рай не променяю радость эту.
Господь неведомый, поверь поэту:
от скуки я умру в твоем раю!

Андрей Германов

Четверостишья

* * *

Спросила ты: рай — что такое? Все знают, что сущностью рая
является высшая благость — любовь без конца и без края,
мы примем, ее защищая, и смерть и мучения ада...
Спросила ты: ад — что такое? Все та же любовь, дорогая...

* * *

Поверьте мне, женщина знает: любовь — наивысшее чудо.
Ей ведома радость земная: любовь — наивысшее чудо.
Любовь позовет еле слышно — на зов поспешит безрассудно,
прекрасна, как Дева святая! Любовь — наивысшее чудо...

* * *

Мне сто соловьев отвечают, лишь свист мой разбудит округу,
сто горлиц в ответ заворкуют, слетаясь к зеленому лугу...
Так как же я встречусь с тобою, когда все живущие твари
томятся любовною жаждой и весть посылают друг другу?..

* * *

Сердца наши бились согласно, когда молодыми мы были,
и ласки мы жаждали страстно, когда молодыми мы были.
В наш сон не врывалась тревога, и корочка вкусной казалась,
и вдаль нас манила дорога, когда молодыми мы были.

Биргит Вандербеке

К Альберте придет любовник

Повесть

Перевод с немецкого Е. Соколовой

Альпиньо

ПЕРЕД самым праздником Вознесения мы сбежали.

В конце марта мы вдруг сделали открытие, что всю жизнь любили друг друга, с начала времен и до Страшного суда.

Вообще-то мы делали это открытие уже не в первый раз, к такому выводу мы регулярно приходили раз в три-четыре года, и тогда жизнь становилась вдруг настолько эмоциональной и напряженной, что через некоторое время нас уже обуревали сомнения, действительно ли мы любили друг друга всю жизнь, а недавняя уверенность, что мы запросто можем провести вместе в одном помещении больше пяти минут и что это не чревато никакими опасностями и несчастьями, представлялась нам уже огромным заблуждением, — и все же однажды мы сбежали, вдвоем, потому что поняли: такой огромной любви, как наша, долго противостоять невозможно, приходится ей уступать. Собственно говоря, уступали этой большой любви мы тоже уже не раз, но до сих пор подобного рода попытки заканчивались одинаково: взяв себя в руки, мы оба бросали все силы рассудка на борьбу с чувством — ибо это была одна из тех любовей, которые вроде бы запросто сходят на нет, если этому не противиться, не упираться руками и ногами, да только через пару лет налетают на вас с новой силой. Как саранча. В один прекрасный день мы вдруг ощущали усталость, может быть, утрачивали ненадолго бдительность — хотя бы потому, что были больше не в состоянии в полную силу сопротивляться возможности пожить два-три года спокойно, заняться наконец работой, обустроить жилье — но это в любом случае не имело смысла, ведь рано или поздно саранча вернулась бы вновь и быстренько все это сожрала, изгадила, уничтожила. Так велика была эта любовь, так ненасытна, что самое большее за три месяца ей удавалось пожрать без остатка нашу жизнь, работу, дом. Чтобы стереть с лица земли нас самих, ей требовалось обычно не более двух недель. Думаю, именно это обстоятельство не совсем нас устраивало, и мы решили сбежать. Корень зла заключался, наверное, в нашей постоянной борьбе с собой. На этот раз

© Alexander Fest Verlag, Berlin, 1997
© Е. Соколова. Перевод, 2001

решено было действовать иначе: примем все как есть и без оговорок отдадимся чувству целиком. Учитывая прошлый опыт нашей взаимной любви, похоже, ничего другого нам и не оставалось.

У Надана была машина, а у меня нет, поэтому для бегства мы решили воспользоваться его автомобилем. Куда? Мы подумывали об Амстердаме, Париже, Копенгагене. Бегство было запланировано на май, а в апреле мы начали ссориться: я хотела в Париж, Надан же считал, что я хочу в Париж, только чтобы его позлить – он ведь не знает французского, – чтобы доказать свое превосходство и обеспечить себе тылы, а я думала, он хочет в Амстердам, потому что знает, как я ненавижу Голландию. В Копенгагене мы не были оба, он мог бы стать для нас своего рода нейтральной территорией, но мне почему-то казалось, особых отличий от Голландии там нет.

– В Голландии шторы достают ровно до середины окна, – говорила я, – вряд ли это подходящая страна, чтобы от всех скрыться. Шторы у них такие короткие специально, чтобы с улицы были видны цветы на подоконниках; ведь Голландия – страна не только тюльпанов, но и горшков с анютиными глазками, бегониями и гиацинтами. А мне вовсе не нужно никуда уезжать, чтобы полюбоваться комнатными растениями – это я могу сделать и дома.

Надан сказал:

– В Париже все загажено, в гостиницах полно тараканов, а в метро жутко воняет.

Меня страшно разозлило, что он нападает на мой любимый Париж. Лично я в Париже не видела ни одного таракана – ну, или почти ни одного. Крыс, одичавших кошек я там видела, а вот тараканы попадались мне крайне редко. Несмотря на цветочные горшки, Надан продолжал настойчиво предлагать Амстердам и стал рассказывать, как однажды в парижской гостинице всю ночь гонялся за тараканами и давил их, и я даже посмеялась, потому что это была одна из его "историй про Беттину" – в этих историях он почему-то хочет казаться особенно романтичным, а тяга к романтизму всегда приводит у него к противоположному результату, по крайней мере в том, что касается его самого. Я очень ярко представила себе, как Надан в пижаме встает с постели, вытаскивает из-под кровати тапочек и испытывает глубокое удовлетворение оттого, что может обратить свое недовольство против этих тварей, и потом всю ночь убивает тараканов одного за другим, оставляя на обоях все новые коричневые пятна.

Конечно, представив себе такую картину, я пару раз не сдержалась и засмеялась. Надан же решил, что я смеюсь над ним, и обиделся – ведь все это было серьезно, это касалось его жизни, его прошлого и будущего, а если дело касается твоей жизни, становишься особенно обидчивым.

Подобного рода обидчивость чревата проблемами, особенно во время бегства. Из-за нее легко приходишь в ярость или, что еще хуже, впадаешь в уныние. В любом случае смешного тут ничего нет.

И бегство показалось мне вдруг не таким уж логичным и необходимым, как еще несколько минут назад, когда это было абстрактное бегство вне времени и пространства, без определенной цели. Но ведь мы решили любить друг друга до скончания века, а от подобного решения не

отступаются внезапно, только из-за того, что не могут прийти к согласию, куда ехать.

Впрочем, по мне было бы, наверное, даже лучше не ехать в Париж, где все пропитано Беттининой историей, которая хоть и не удалась, но в воспоминаниях стремилась приобрести романтический ореол. А ведь известно, что именно неудавшиеся истории вторгаются в нашу жизнь с особенно завидным постоянством.

В конце концов мы решили: бегство — это приключение, а не отпуск, который планируется за несколько месяцев с проспектами и каталогами в руках. Самое главное — назначить день, все остальное произойдет само собой, а день давно уже установлен, определен церковным календарем и соответствующими праздничными днями, а также сверхурочной работой Надана, которая продлится почти до праздника святой Троицы.

Лично я предпочла бы сбежать прямо сейчас, в апреле: я боялась, что до Вознесения у меня будет слишком много времени для размышлений, я успею еще раз все обдумать и понять, какая это глупость: ведь бегство тогда только необходимо, когда для него есть причины, а у нас вроде никаких причин не существовало. Для бегства нужен по крайней мере один враг, от которого ты спасаешься, еще лучше — два врага, а то и целый мир врагов. Или нужно нарушить хотя бы один закон.

Но обнаружить врага в своем окружении мне так и не удалось. Выдумать тоже. Не было злобного супруга, не было вообще семьи, которую бегством мы могли бы разрушить, не было никаких запретов, нас никто не преследовал, мы не были параноиками и давно уже достигли совершеннолетия. У каждого была своя жизнь, работа, квартира, у Надана был даже собственный дом, и до Вознесения он, конечно, одумается и решит, что все это полная чушь, ведь в том, что касается наших с ним отношений, Надан смотрит на вещи так же, как я, мы знаем друг друга и прекрасно понимаем, что из всех неудавшихся историй наша с ним самая неудавшаяся, несмотря даже на то, что тянется она от Сотворения мира и до Страшного суда. В нашей жизни эта история в определенном смысле является предысторией всех прочих неудавшихся историй. Поэтому она постоянно нам мешает. И пока эта предыстория регулярно вторгается в нашу жизнь, все другие истории со временем тоже становятся неудавшимися. Пока саранча у тебя за пазухой, бегство вряд ли поможет.

— Если бы мы умели целоваться, — сказал однажды Надан в полной растерянности, когда мы вдруг задним числом осознали, что у нас не получаются поцелуи. Даже теперь, когда мы уже кое-чему научились. А тогда не получались вовсе.

Если бы тогда мы что-нибудь смыслили в поцелуях, мы бы, наверное, провели какое-то время за этим занятием, и впоследствии чаще приходили бы к согласию, вместо того чтобы постоянно спорить. Разойтись — совсем не значит, что что-то “не удалось”. Вообще говоря, разойтись — недостижимый идеал.

Мне казалось, ему полагалось бы знать, как люди целуются, ведь он скоро должен был получить водительские права. По правде говоря, нам обоим полагалось бы это знать, ведь тогда это знали все, тогда целовались повсюду. Так много целовались тогда, наверное, из-за войны во Вьетна-

ме — мы все были против войны, — и в конце концов это как будто помогло, война закончилась, а когда она подошла к концу, все опять-таки целовались. Я тоже была против войны во Вьетнаме и ничего не имела против поцелуев, но Надан ни с кем не целовался, а без него я не хотела.

А ведь нас запросто могли заподозрить в предательстве и даже в тайной приверженности империализму.

Это было трудное время. Я ходила на фильмы Феллини и была тощая, как палка. Намечались городские соревнования по легкой атлетике, и мы поехали в спортивный лагерь. Я еще не достигла необходимого возраста, зато отлично стартовала. На коротких дистанциях это важно, и меня взяли тоже. Надан стал чемпионом города на дистанции в два километра. У меня сперва был фальстарт, потом я споткнулась о барьер и потеряла эстафетную палочку.

А перед этим мы провели целую неделю в спортивном лагере. Мы играли в пинг-понг, придумывали, как срезать дистанцию, обманывали секундомер; нас кормили фруктовым джемом, макаронами с мясом и каждый день давали настой шиповника; по вечерам мы ходили в ближайший поселок, сидели в кафе и пили пиво, а на следующий день нам было плохо. Все то и дело целовались, и так как нам хотелось попробовать целоваться в темноте, когда не видно, кто с кем, однажды мы отправились на прогулку ночью. Это была холодная ночь. Светила луна, и было очень хорошо видно, кто кого обнял, поэтому мы решили пойти обратно.

Вдруг стало по-настоящему темно, луна скрылась, звезды пропали, и я провалилась в какую-то яму. Яма оказалась довольно глубокая, к тому же в ней была вода. Надан шел сразу за мной и тоже свалился в яму. Больше к нам никто не свалился. Сначала я хотела закричать — ведь девчонкам полагается кричать, когда они в кромешной тьме проваливаются в яму и еще в некоторых случаях, — но потом решила не кричать: я ведь вроде ничего не сломала и не ушибла, а когда вслед за мной в яму свалился Надан и больше никто не свалился, мы оказались так близко друг к другу, что мне показалось, нам следовало бы поцеловаться, раз уж все так обернулось. Я прекрасно чувствую, когда ситуация становится классической, а эта ситуация, по моим ощущениям, как раз и была классической, но мы только промочили ноги, отстранились друг от друга, с трудом выкарабкались из ямы и отправились дальше.

Это был особый вечер. Нам выпал шанс. И даже не один, а целая серия шансов, целая ночь, можно сказать, потому что пока мы падали в яму и из нее выбирались, все остальные куда-то пропали, а потом мы умудрились еще и заблудиться — более благоприятной ситуации просто невозможно себе представить.

Как мне помнится, вскоре опять выползла молочно-белая луна, и на небе появились звезды. Надан говорит, стояла кромешная тьма. Так или иначе, мы оба помним, что просидели тогда почти полночи на поваленной сосне. Мы сидели и сидели. Так и сидели. До Страшного суда. Все на той же поваленной сосне.

Бывают моменты, когда жизнь вдруг останавливается, потому что она поперхнулась. Вот она поперхнулась, остановилась, задержала дыхание — надолго задержала дыхание — и уже не знает, как пойдет дальше; вдруг она делает выдох — но пока не найдет потерянный ритм, можно подумать, она позабыла, как вообще дышат; и вот уже она снова дышит

и идет дальше. И все же был момент, когда она остановилась, и что-то так и осталось проглоченным, запертым в том остановленном мгновении, и оно так там и останется, никогда уже из этого мгновения не выберется и не последует за жизнью, когда та продышится и пойдет своим чередом.

В лунном свете я вижу Надана сидящим на той сосне, а Надан ничего не видит в кромешной тьме.

Это проглоченное и запертое, разумеется, не стареет. Оно так и сидит там, чуть моложе возрастного порога, незадолго до получения прав, и умнее не становится тоже.

А то, что продолжается, так или иначе умнеет: например, с того самого вечера я твердо усвоила, что, когда хочешь кого-нибудь поцеловать, долго сидеть рядом с ним и молчать противопоказано; или уж сразу целуй, долго не раздумывая, пусть это даже будет смешно выглядеть, или еще что-нибудь делай, но только не сиди рядом молча. Как только молчаливое сидение затягивается дольше чем нужно, начинаешь терять необходимую для поцелуя решимость, и вот поцелуй уже кажется не таким уж необходимым и неизбежным: вроде он и в ситуацию не очень вписывается, даже совсем в нее не вписывается и вообще выглядит весьма сомнительным, еще через некоторое время — предосудительным, а в конце концов к тому же и малоприятным. Ты просто больше не хочешь, хотя еще пять минут назад пребывала в полной уверенности, что очень даже не прочь. Молчаливое сидение пробуждает мыслительный процесс. И тогда в голову вдруг приходит: зачем вообще это нужно, пусть даже этот человек тебе очень нравится, но стоит ли только из-за того, что это Надан, что у него голос Надана, его едва уловимый диалект, его умные глаза, стоит ли вообще кому-то — кто тебе, предположим, особенно сильно нравится — засовывать свой язык в рот, где есть вообще-то собственный язык и полно слюны, а слюна не больно-то аппетитна, и все вроде бы знают, зачем это нужно, а в пятнадцать лет знают точнее и лучше всех.

Пока я сидела и размышляла, поцелуй стал мне казаться вульгарностью, чуть ли не извращением.

Чем дольше я сидела рядом с Наданом и думала о том, что самое время поцеловаться, тем невыносимее становилась для меня сама мысль об этом.

Если молчать, сидя вот так, бок о бок — через некоторое время желание пропадает.

Да-да. Просто больше не хочется. И все из-за мыслей. Начинаешь даже немного на него злиться, просто за то, что он тоже здесь торчит. То, что он рядом, уже тяготит. И потом, когда в мокрых туфлях долго сидишь в лесу на поваленном дереве, постепенно замерзаешь, а когда у тебя ледяные руки и ноги, красный кончик носа — чего Надан, правда, видеть не мог, ведь он говорит, что было совершенно темно, луны не было, впрочем, я тоже не видела своего носа, потому что рассматривала в лунном свете траву под ногами и неторопливо размышляла, как бы мне, уже наверняка утратившей часть своей привлекательности, выбраться все же из этого ночного молчаливого сидения, избежав поцелуя.

Молчание бывает очень разным. После этого первого молчания на поваленном дереве мы испробовали множество других молчаний — совместных, враждебных, утомительных и взрывоопасных; некоторые молчания просто выбивают из колеи, Надан в таких случаях закатывает гла-

за; бывает идиотское молчание, бесконечное молчание по телефону, которое подтачивает силы; но то самое первое молчание в лунном свете на поваленном дереве отличалось от всех последующих разновидностей молчания, постепенно освоенных нами, переведенных и составивших особый язык, наподобие воркования у голубей. У каждой неудавшейся истории свой словарь молчания, а если история не удается, как наша, до Страшного суда, ее словарь молчания больше похож на толстую энциклопедию, но все равно то первое молчание в нее не вошло; оно ведь совершенно ничего не значило, просто постепенно сгущалось, и я судорожно подыскивала какую-нибудь волшебную формулу, чтобы изящно вывернуться, но мне долго-долго ничего не приходило в голову, потому что жизнь остановилась.

Потом она выдохнула.

Стала искать утраченный ритм.

И мне пришла на ум формула, может, и не наделенная необходимой волшебной силой, зато в высшей степени элегантная: "Любите ли вы Брамса?". Так называлась книга, которую я только что прочла, и поэтому книга, а особенно ее название сразу пришли мне в голову, но когда я пару раз проговорила про себя эту фразу для пробы, она звучала уже не столь элегантно, скорее напыщенно, и по стилю совершенно не подходила для леса. Кроме того, Надан удивился бы, если бы я вдруг обратилась к нему на "вы". Тогда я попыталась изменить грамматическую форму, но стало еще хуже: "Ты любишь Брамса?" Эта фраза давит, в ней нет парения, к тому же из осторожности я не хотела произносить ни одного из слов, родственных слову "любовь", потому что от любви Надана могло потянуть целоваться, а этого мне определенно не хотелось. Если бы мне было все равно, я могла бы, конечно, спросить: "Тебе нравится Брамс?" По стилю это было неплохо. Только Брамс — не клубничное мороженое, и невозможно сказать, нравится он тебе или нет, он велик, он мертв и давно уже выше всех этих "нравится — не нравится" — можно спорить о том, допустимо ли исполнять его в более быстром темпе или нет, не лучше ли сократить вдвое инструментальный состав или, наоборот, его расширить, но сводя свое понимание Брамса к банальному "нравится — не нравится", оскорбляешь его и позоришь себя.

Тем временем мы просидели молча уже довольно долго, и теперь наша первая фраза имела бы особый вес. Ей предстояло пронзить ледяную глыбу молчания, прорубить ее, рассечь на части, а внизу на земле со щелчком или грохотом воспрянуть вновь — и тогда мы уже были бы избавлены от этого сидения и от ощущения, что нам непременно следует поцеловаться, жизнь пошла бы своим чередом, мы как-нибудь отыскали бы дорогу домой, во время ходьбы у нас согрелись бы ноги и руки, а после, в постели, и кончик носа. Поэтому так важна была эта волшебная фраза, хотя, честно говоря, меня не слишком интересовало отношение Надана к Брамсу. Но именно потому, что фраза эта имела такое значение, в определенном смысле историческое, я решила, что Брамс вполне подходит, потому что он велик и потому что он мертв.

С тех пор как я научилась говорить, меня мучают вопросы стиля, а необходимость ночью в лесу найти заклинание против поцелуя — проблема в первую очередь стилистическая. И от этого я ужасно устала.

Вдруг меня осенило — ведь жизнь уже пошла своим чередом, и одна небрежная и вместе с тем грациозная фраза в свете молочно-белой луны

идеально соединила в себе величие Брамса и мою собственную независимость. Мне хотелось плакать от нежданной красоты, элегантности, ощущения удачи и усталости, оттого, что замерзли ноги. И Надан сказал потом, что услышал, как дрожит мой голос, и это было тревожно и странно, ведь мы уже так долго сидели в лесу и ничего не говорили, стало уж совсем непонятно, что вообще можно теперь сказать, и тут я запинаясь произнесла: "Что ты думаешь о Брамсе?"

И все кончилось. Действие этой фразы оказалось именно таким, каким и должно было быть: она упала откуда-то сверху, расколола наше молчание, пролетела его насквозь и упала вниз с неприятным звуком. Замок защелкнулся.

Надан сказал:

— Мне больше нравятся "Роллинги".

И мы пошли. Пока мы добирались до дома, постепенно рассвело, и у меня оставалось еще целых полтора часа на самокопание.

На следующий вечер мы развели костер, потому что это был последний вечер в лагере. А ведь с тех самых пор как существует огонь, молодежь всегда в последний вечер разводит костры, и девочки стараются покрасивее одеться, даже моют голову, и когда я с мокрыми волосами, натянув лучшие темно-синие джинсы и розовую мужскую рубашку, которую стащила из шкафа своего отца — она доставала мне почти до колен, когда я вышла на место сбора, костер еще как следует не разгорелся, я увидела, что Надан то ли стоит на коленях, то ли сидит на корточках перед неким стулом, а на стуле сидит этакая Беттина и тихонько вопит, примерно так, как и должны вопить девчонки, когда падают в яму и еще в некоторых случаях, а Надан что-то там делает то ли с ее ступней, то ли со щиколоткой, то ли с лодыжкой или коленкой, во всяком случае — с ее ногой, и абсолютно не обращает на меня внимания, поскольку поглощен этой ногой целиком. С чего это вдруг Надан опустился перед кем-то на колени и что это он там такое делает, что даже не поднимает глаз и не видит меня, хотя мои волосы уже почти высохли, а одета я так здорово, что самой себе кажусь почти красавицей?

Костер еще не разгорелся, потому что все чувствовали себя усталыми после вчерашней ночной прогулки, и никому не хотелось собирать хворост. И когда наконец Надан поднял глаза, он увидел, что я, так с ним и не поздоровавшись, в развевающейся рубахе направляюсь в лес вместе с Руди. После этого он наскоро наложил повязку, он, собственно, и не думал, что кость сломана, ни на минуту не верил в это и быстро побежал в лес, чтобы вместе с нами собирать хворост. Однако, выйдя из леса, я увидела, что Надан сидит на земле, а рядом с ним, на этот раз тоже на земле, сидит, наклонившись к нему, вернее, навалившись на него всем телом, та же самая Беттина. Костер уже разгорелся, но для такого большого костра нужно много хвороста, и в этот вечер всем стало совершенно ясно, что ни Надан, ни я не являемся тайными империалистами, напротив, мы на стороне Вьетнама. Мы за мир.

Вскоре Надан пошел служить во флот, тогда как почти все остальные в своей профилактической борьбе с империализмом умудрились приобрести астму или повредить мениск, о чем получили медицинское заключение.

Чтобы как-нибудь поскорее преодолеть возрастной порог, я ходила на фильмы Феллини, Руди чаще всего ходил со мной, еще мы с ним вме-

сте ходили на фильмы Бунюэля и Бертолуччи. Я научилась пить пиво, и меня уже не выворачивало наизнанку, потом Руди нашел квартиру. Мы покрасили стены в зеленый и синий цвет, я помогла ему перевезти вещи от родителей, потом он помог мне перевезти вещи, и когда наши с ним вещи оказались в этой квартире, все это вдруг показалось мне совершенно неправильным, хотя мы с ним всегда ладили. Я немного поплакала и сказала, что хочу домой. Руди сказал:

— Пойдем чего-нибудь выпьем.

Мы пошли и выпили столько пива, что я перестала понимать, от чего именно мне так плохо.

В конце концов мы стали жить с ним в этой квартире и даже считали, что это в порядке вещей. Поначалу мы понемножку работали и понемножку учились, затем все больше и больше, постепенно привыкли к совместной жизни, к тому, что готовим по очереди, по очереди убираем, а в прачечную ходим вместе.

Пока Надан служил, Беттина тоже подыскала квартиру, тоже выкрасила стены в какой-то там цвет, а когда туда въехал Надан, они стали по очереди приглашать к себе всех знакомых, чтобы таким образом отметить помолвку. Так вот и получилось, что однажды мы с Руди оказались у них на кухне. Мы были смущены, вели себя чересчур официально, ели салат с макаронами и пили кофе из Беттининых старинных чашек.

Все новые квартиры довольно унылы, но особенно унылы квартиры молодых людей, которые только что съехались, а ведут себя, словно они уже настоящая пара и у них общее будущее, хотя на самом деле они совершенно друг другу не пара, а общего в их будущем только то, чего они боятся, что на них давит и о чем они не хотят думать. Мы все вели себя как супруги со стажем, будто у нас серебряная свадьба не за горами.

Потом я захотела курить и попросила пепельницу. Надан не курил, Руди тоже не курил, только я, и Надан вместо пепельницы дал мне блюдце. Мы продолжали уныло беседовать обо всем на свете: если подумать, то это просто ужас, какое количество глупостей приходит нам в голову в течение жизни. В то утро улетел белый попугай Надана; смешно, о таких вещах всю жизнь вспоминаешь, и это ужасно мешает — ведь знаешь, что на самом деле это совершенно не важно, но так уж устроена память, ее не волнует, важно это или нет, она способна творить истории как из важных событий, так и из мелочей. Подорожали билеты на городской транспорт — и мы говорили сначала о попугае, потом о транспортных расходах, потом о противодействии властям: когда человек, ложась на пути, перекрывает движение в надежде хоть как-то противостоять повышению цен, что это — давление на власть или самозащита? В конце концов мы перешли к общечеловеческой проблеме: что предпочтительнее — пассивное мирное противостояние власти или борьба с оружием в руках. Надо сказать, что один только Руди высказался против вооруженной борьбы, и то просто потому, что он в жизни и мухи не обидел. Я закурила. Только и всего. И вдруг Беттина вытаращила глаза, уставилась на мою сигарету и выразила удивление, что кто-то курит у них на кухне. Сама она для этого выходила на лестничную клетку. Она принесла свои сигареты и сказала с сомнением:

— Когда у нас гости, можно сделать исключение.

При этом она не смотрела на Надана, а говорила вроде бы сама с собой. Очевидно, для данной ситуации правила еще не были установлены. Надан посмотрел на нее и сказал:

— Ты считаешь?

Похоже, назревала ссора. У Надана была определенная манера говорить "Ты считаешь?" — вроде бы в ней не было ничего враждебного, но когда он таким образом произносил "Ты считаешь?", становилось ясно, что назревает ссора или, на худой конец, скандал со слезами.

Неприятно, когда ты в гостях, а хозяева вдруг начинают ссориться, и ты же сама подала к этому повод — куришь без разрешения, пусть ты и не знала, что здесь не курят, по крайней мере, не могут обойтись без долгих предварительных обсуждений, кому и при каких условиях курить здесь, а кто для этой цели должен выходить на лестничную клетку.

Беттина сказала:

— А ей можно или как? Почему ей можно, а мне нет?

Больше всего мне тоже хотелось спросить:

— Почему это ей можно, а мне нет?

Надан сказал:

— Потому что она Альниньо.

Я не знала, что такое Альниньо. И существует ли оно вообще.

Глядя на Руди, можно было предположить, что он тоже не знает. Это было больше похоже не на имя, а на название биологического вида, племени, секты, тайного общества, но я не была членом никаких организаций и даже в церковь давно не ходила. Беттине, наверное, показалось, что это какая-то льгота или привилегия, какой-то исключительный статус, раз можно курить, а мне было неудобно, я была уверена, что назревают скандал, слезы и вооруженная борьба, которой всегда чревато чересчур официальное общение. Кроме того, именно Беттина была виновата в утреннем несчастье с попугаем; нам об этом уже прожужжали все уши и даже заставили поглядеть на пустую клетку, в которой попугай, правда, не сидел ни минуты, потому что был не в себе, когда она его принесла из магазина, и в ужасе удрал в комнату, забился под двуспальную кровать и вылезал оттуда исключительно по ночам, чтобы поесть, пока все спят. Утром Беттина открыла окно, не подумав, что он может вылезти из-под кровати еще и для того, чтобы улететь, а он вылез и улетел. Надан уже несколько раз повторил:

— Из-за твоего дурацкого проветривания мои восемьсот марок вылетели в окно.

Это был его попугай, хотя совершенно непонятно, зачем ему понадобился попугай, тем более что Надан вообще-то старался избавиться от всего, что не представляло для него крайней необходимости, а ведь даже не такие аскеты, как он, признают, что попугаи — это как раз то, без чего человек обойтись может, если, конечно, он не хочет выбросить или выпустить в окно восемьсот марок, которым он, будучи студентом, мог бы найти другое применение.

Так вот, открыв утром окно, Беттина весь день чувствовала себя виноватой. Было уже около семи вечера, и я думаю, ей изрядно надоело сидеть, выслушивать упреки и ощущать свою вину вместо того, чтобы на своей собственной кухне закурить свою собственную сигарету.

И сейчас Беттина очень хотела бы знать, что это еще, скажите, пожалуйста, за Альниньо. Я попыталась поймать взгляд Руди, потому что мы могли бы в последний момент встать и уйти, но Руди был слишком хорошо воспитан для подобного бегства. Возможно, ему тоже было интересно узнать, что же такое Альниньо. Надан некоторое время подумал, глядя на кухонный стол, с которым его теперь связывало общее будущее, и сказал:

— Альниньо — это чуть ли не самое страшное, что может случиться с мужчиной. Это бедствие. Нашествие саранчи. И с этим ничего не поделаешь.

Услышав, что он говорит совершенно серьезно, Беттина наконец получила возможность встать и пойти курить на лестничную клетку, а я почувствовала себя оскорбленной — и потому, что Надан говорит такое, и потому, что Руди не защищает меня, а сидит как истукан и молчит.

Хотя мы были еще очень молоды, но все-таки уже достигли совершеннолетия. Мы были как раз в том возрасте, когда быть подлинно юными уже не получается, и поэтому мы изображали из себя взрослых, но тоже не совсем по-настоящему — мы просто не знали, как надо, и вели себя так, как, мы думали, должны вести себя взрослые, и это было мало похоже на правду. И вот мы все четверо сидели и с важным видом разглядывали кухонный стол, на котором уже почти не было видно общего будущего, зато были квадратные салфетки и пластиковые тарелки с остатками салата, Беттинины старинные чашки с цветочками и луковичками, которые ей к переезду подарила бабушка, и еще пять нарциссов в пивном стакане, которые принесли мы с Руди.

Я подумала: "Каждый из нас играет чужую роль. Причем все в разных фильмах".

В конце концов Беттина сказала:

— Тогда мне, пожалуй, лучше собрать вещи.

А Надан спросил Руди:

— Мне часто приходит в голову, что большую часть жизни мужчина проводит не с той женщиной и не в той постели. Тебе это знакомо?

Руди сказал:

— У нас у каждого отдельная комната и отдельная постель.

Мне это не понравилось. Не то, что у нас так было заведено, а что Руди это сказал.

Беттина собрала свои вещи не в этот вечер, а чуть позже, когда собирали свои вещи Надан, и Руди, и я, и все мы мирно разъехались друг от друга в разные стороны.

Через некоторое время Надан начал раздумывать о правильной жизни, о правильном будущем вместе с правильной женщиной и начал строить дом, который в конце концов был почти построен и опять оказался под угрозой полного уничтожения, когда мы, сидя в этом доме десять лет спустя в апреле, в очередной раз сделали открытие, что любим друг друга, и это на всю жизнь, до Страшного суда.

А потом мы сбежали.

Небо было, можно сказать, голубым, а в городе, как обычно, душно. Я еще не закончила работу над переводом Валло, и поэтому с удовольствием поехала бы именно в Париж, чтобы вместе с Валло еще раз просмотреть последнюю главу, особенно трудную из-за множества цитат, но с начала апреля мы ни разу не обсуждали, куда поедем, и из осторожности вообще старались пореже встречаться — только иногда вместе обедали в городе, чтобы без необходимости не ставить под угрозу нашу затею.

Наша затея сама по себе представляла собой угрозу, и, учитывая это, я бы на всякий случай надела темный бархатный плащ с капюшоном, но у меня его не оказалось: из такого рода вещей я обладала лишь белым пальто, к сожалению, шерстяным, и поэтому для мая месяца слишком теплым. Потом Надан рассказывал, что, увидев из машины через окно меня на кух-

не в зимнем пальто, он впервые расценил эту затею как полное безумие. Надо жать на газ и смываться, подумал он, и я видела, как он трижды медленно проехал мимо моего дома, но в конце концов остановился наискосок от въезда в оптовый магазин, где вежливые охранники только и ждут, что кто-нибудь там припаркуется, чтобы обрушиться на нарушителя в тот самый момент, когда он будет вылезать из машины. Я вижу, как Надан отчаянно машет руками в сторону моего окна, потому что охранники неумолимы и только качают головами, а когда я наконец решаюсь сдаться и спуститься с вещами вниз, из глубины гаража выползает одна из этих громадных фур, груженных бутылками, сигналит и не может выехать. Водитель высовывается из окна, страшно ругаясь, а потом вылезает и оказывается, что он на две головы выше Надана. И наше бегство начинается с того, что Надан сражается с великаном и в конце концов платит двадцать марок штрафа монстру государства, а я в это время смотрю из окна, потом бегу вниз в своем псевдоплаще, в котором ужасно потею.

Последующее молчание в машине было из разряда взрывоопасных. Я влезла в машину и сказала:

— Н-н-да-н, — я всегда говорю так при встрече с Наданом и при прощании. Потому что это звучит почти как Надан, а может, я и в самом деле говорю "Надан", но звучит это просто как "Н-н-да-н", и никто этого точно не знает. Но я никогда не говорю "Надан", на самом деле и при встрече, и при прощании я говорю: "Н-н-да-н", я осторожна с именами, потому что имена обесцениваются, если произносить их слишком часто. Поначалу этого не замечаешь, просто имя все время вертится у тебя в голове, ты произносишь его громко, или шепотом, или выкрикиваешь, постепенно к нему привыкаешь и произносишь уже неосознанно, не замечая, что оно стало меньше, и в один прекрасный день оно полностью исчезает, растворяется, а вместе с ним все, что в этом имени было от того, кто его носит и им называется. Надан поступает примерно так же — он никогда не называет меня Альбертой, а всегда говорит Альниньо. С годами мне стало ясно, что это вовсе не имя и даже не обозначение какой-то общности, это прежде всего заклинание от всего того, что он под этим подразумевает, не такое заклинание против поцелуя, как моя волшебная фраза о Брамсе, а настоящее, магическое, которое защищает его от нашествия саранчи, как чеснок от вампиров. Он никогда не произносит моего настоящего имени, не пишет его на конвертах — он боится, что вся его оборона полетит к чертям, а это означало бы для него чистилище и ад одновременно, так он говорит. И хотя мне не очень-то приятно, когда он говорит это, достаточно на него взглянуть, чтобы понять: он по-настоящему боится.

Так вот, я влезла в машину, сказала "Н-н-да-н" и молча уставилась на галстук, который выбрал для бегства Надан. Это был темно-синий галстук, весь испещренный маленькими зелеными слониками. Во всяком случае, решила я, забыть этот галстук я не смогу. С каменным лицом Надан тронулся с места. От нашего первого молчания на поваленной сосне нас отделяли уже четырнадцать лет, и мы отлично понимали, что означало наше нынешнее молчание. За ним стоял целый диалог.

Надан: "Ты, наверное, думаешь, что заарканила меня... Только потому, что мы уезжаем".

Я: "Если ты думаешь, что я хочу тебя заарканить, ты ошибаешься".

Надан: “Ну уж нет. Или ты будешь со мной, или уж я наконец от тебя отделаюсь”.

Я: “Вот как! Заарканишь меня и тут же отделаешься. Не выйдет на этот раз”.

Надан: “Это пальто, оно и зимой-то было не очень, а сейчас тридцать градусов жары”.

Я: “Если позволишь, я закурю, а то мне вовсе не улыбается смотреть на полчище маленьких зеленых слоников у тебя на шее”.

Надан: “Я полагаю, ты хочешь закурить. Ну конечно, ты же свободный человек. Но если ты думаешь, что мы едем в Париж, просто потому что сейчас мы едем на юг...”

Я: “Подождем до Дармштадта, там все и решится, там мы поругаемся, потом я возьму такси и поеду ночью домой”.

Надан: “Это все уже было. Теперь будет иначе”.

Я: “Ну так мир?”

Надан: “Мир. За Вьетнам”.

Потом мы вместе посмеялись над этим молчаливым сражением, я наконец смогла снять пальто, и тут мы попали в пробку. А когда выбрались из нее, то находились мы все еще отнюдь не в Дармштадте, хотя уже наступил вечер — но ведь в мае светло и тепло допоздна, и если едешь по автобану на юг, слегка приоткрыв окно, чтобы сигаретный дым не мешал Надану, чье лицо тем временем смягчилось — а это бывает очень редко — и глаза слегка улыбались в разговоре, а в окно весьма ощутимо врывался Май, и во имя этого Мая мне хотелось даже попросить Надана сделать радио немного потише, ведь если б не радио, весна ощущалась бы, наверное, еще сильнее — эти звуки были совершенно чужды и разговору, и паузам, и улыбающимся глазам, а вот Май, напротив, сочетался с ними превосходно, и хотелось сохранить его в первозданном виде, но возникало опасение, что наш хрупкий мир вновь вернулся бы в состояние вьетнамской войны, которую мы гнали прочь поцелуями — к сожалению, порознь — еще когда были детьми; мы оба так радовались, что его вообще удалось заключить, и сам ход вещей, и наш нынешний возраст научили нас различать суть явлений и их обманчивый блеск, вот и приходилось теперь слушать Май вместе с радио в машине Надана; перед ней как раз в темно-синюю высь медленно взмыли желто-зеленые звезды, нас окружила темнота и огни. Целый день сегодня Надан пытался объяснить какое-то ноу-хау одному безнадежно тупому клиенту где-то под Гельнхаузеном, теперь же на фоне радио втолковывал это мне, но я тоже ничего не поняла, потому что Май так и норовил влететь в окно, а у Надана всегда так задорно смеются глаза, когда ему понятно что-то для других недоступное, и от всего этого как-то по-майски клонит в сон.

И вдруг радио предупредило, что где-то между Манхаймом и Карлсруэ мы наткнемся на перевернутый грузовик, из которого вытекает неизвестная жидкость желтого цвета, разумеется, не ядовитая; и исключительно для профилактики автострада A5 в течение нескольких часов будет закрыта. Бегство пришлось прервать и срочно искать отель.

Больше никто ничего не сказал.

Чуть-чуть не доезжая до Манхайма, Надан свернул со скоростного шоссе, Май моментально вылетел прочь из окна, запахло какой-то химией; выбор подходящей гостиницы — вот уж о чем нам точно не следовало сейчас говорить, и хотя мы любили друг друга уже целую вечность, пока

мы ехали по автобану, нас обоих вдруг осенило, что еще ни разу нам не доводилось провести вместе ночь, в одной комнате. Конечно мы пытались, и не раз, мы многократно пытались провести ночь вместе: у меня или у Надана — однажды у нас даже получилось часа два проспать в одной комнате, но самое позднее в два, в половине третьего ночи все наши попытки терпели крах. При этом один из нас чувствовал себя несчастным, а другой был в ярости, но следующая же попытка повторялась с точностью до наоборот: несчастным был теперь тот, кто в прошлый раз пришел в ярость, а бывший страдалец испытывал бешенство, и мы никак не могли найти этому объяснение. Скорее всего поэтому мы и сбежали.

Пока еще никто из нас не произнес ни слова, но я заметила, как побелели костяшки на руке Надана, с такой силой сжимал он руль, а Надан увидел, что я вдруг выпрямилась в кресле и сижу прямо-прямо, будто аршин проглотила. Стало заметно холоднее, я была даже рада, что захватила с собой пальто, в которое могу теперь завернуться, жалко только, что у него нет капюшона. С надеждой добраться до Франции прежде, чем встанет вопрос о ночлеге, пришлось распрощаться.

Любовь в немецкой гостинице в нескольких километрах от автострады требует крепких нервов. Более крепких, чем у меня или у Надана. Гостиница, перед которой в конце концов затормозил Надан, была просто воплощением мечты о подобного рода немецком отеле, мечты о бутерброде с ливерной колбасой. В этом типично немецком отеле любовь наша станет кошмарным сном, и остается надеяться, что все-таки не самым ужасным. Самое ужасное случится после.

Я: “Надан, давай вернемся, пожалуйста”.

Надан: “И что?”

Я: “Ко мне”.

Надан: “?”

Я: “К тебе”.

Надан: “?”

Я: “Послушай, там внутри какие-то идиоты поют”.

Надан: “Но они же перестанут”.

Последнее предупреждение о совершенно неопасной желтой жидкости, которая под воздействием кислоты задымилась и, возможно, способна самовоспламеняться, что само по себе, конечно же, ничего не означает, — и радио выключили. Надан припарковал машину. Последний населенный пункт остался в двенадцати километрах позади, следующий — в семнадцати километрах впереди. А я-то всегда считала Германию густонаселенной страной.

— Господа останутся надолго, — сказала дама за стойкой регистрации.

Это прозвучало утвердительно.

Надан вел себя так, как будто он в этом еще отнюдь не уверен. Он сказал:

— Это сильно зависит, — но не сказал от чего.

Побледнев, он напряженно и очень внимательно смотрел в сторону туалетов, там же, чуть дальше был вход в ресторан, в подвале, откуда доносились непонятные глухие звуки.

Дама сказала:

— Ах, эти... они дошли до кондиции.

— Это мы слышим, — сказала я, стараясь понапрасну не пугаться.

Дама тем временем махнула рукой и высказалась:

— К закрытию как раз успевают развеселиться.

Она дала нам ключ от комнаты, но мы не сразу отправились наверх. Пока мы жевали в ресторане холодные фрикадельки с солеными огурчиками, которыми приходится перебиваться тем, кто пропустил время ужина, веселье продолжалось. Оно даже шло по нарастающей, и можно было уже отличить женское веселье от мужского; сперва их разделяла октава, потом, на пике веселья, уже две. Мы принялись заключать пари обо всем на свете — из чего эти фрикадельки, из обрезков печени или из хлеба? Поют ли все еще внизу "Молодую полячку" или уже нет? Как стоят кровати, под углом друг к другу или рядом? Выберемся ли мы вообще когда-нибудь из этой дыры?

Вдали можно было различить огни то ли Манхайма, то ли Людвигсхафена.

Фрикадельки состояли наполовину из обрезков печени, наполовину из хлеба, и вкус у них был отвратительный. Надан сказал:

— Как они умудрились набраться этим теплым пивом, для меня остается загадкой.

Потом мы пошли в номер.

Надан сказал:

— Можешь не сомневаться, ни с одной женщиной на свете, кроме тебя, я не согласился бы ночевать в подобной комнате.

Это прозвучало искренне, и я сказала:

— Можно подумать, машину здесь остановила я.

"За мной последовав конем, сойдешь с ума, мой милый", — подумала я, и тут мы вошли в комнату, оклеенную обоями в цветочек.

С той самой ночи на сосне мне в голову порой приходили удачные цитаты, когда я хотела оградить себя от чего-нибудь ужасного. Конечно я давно не верила в их волшебную силу, как правило, они и не помогали вовсе, только вот Моргенштерн еще иногда помогал, и я вдруг засмеялась, потому что эта цитата про ход конем и про сумасшествие как нельзя лучше подходила и к слоникам на галстуке Надана, и к цветочкам на обоях. Но с того вечера на поваленной сосне Надан не выносил, когда на него обрушивали цитаты, особенно если это делала я, он подозревал, что за каждой цитатой скрывается нечто личное, то, что старательно замалчивается, но таит в себе насмешку над ним самим или над "Роллинг стоунз". Он понятия не имел о моих стилистических проблемах, а сам теперь решал проблемы весьма возвышенного свойства, стоя в номере отеля, где так сильно воняло дезинфекцией, что вот-вот разболится голова, и где потолок был сделан целиком из коричневого ламината, а Надан мне еще объяснял, что, если потолок плесневеет изнутри, значит, он из ламината; и даже если он еще не плесневеет, но где-то поблизости ламинат, он обязательно заплесневеет; отсюда и сильный запах дезинфекции — несмотря на него, он, Надан, явственно чувствует затхлость воздуха, вызванную плесневым грибком.

К счастью, пока ни одного таракана.

На кровать лучше вообще до поры до времени не смотреть, это мы знали наверняка.

Надан стоял возле двери и с укоризной разглядывал потолок на предмет наличия плесени и строительных неполадок, причиной которых, вне всякого сомнения, был ламинат, а также я, я же тем временем готовилась сделать ход конем.

Лично я больше всего на свете хотела бы сейчас оказаться дома наедине с текстами Валло, если бы у меня что-то не ладилось с переводом, я мог-

ла бы позвонить в Париж — Валло как раз, наверное, вернулся из кино или с какого-нибудь ужина, он вежливо сказал бы мне "Bonsoir, madame" вместо того, чтобы указывать на строительные огрехи, обнаруженные на потолке, и мы бы с ним не торопясь прошлись по списку вопросов, он поблагодарил бы меня за тщательность работы и указал на небольшую логическую неточность на странице 453, которую мы прежде не замечали, и он только что ее обнаружил. Цитату из Кортасара, хоть он и помнит ее, сразу отыскать не удастся, вероятно, он найдет ее к завтрашнему дню. Чудесная сугубо деловая интонация, едва различимый подтекст с его стороны — мне это уже знакомо, — и вопросы сняты, я могу работать дальше, ведь нет ничего лучше, чем ночью сидеть за письменным столом при свете зеленой лампы, пока город не станет совсем тихим и темным, если не считать нескольких окон там, где люди тоже сидят за письменными столами. К Троице перевод был бы готов, а теперь он вместе со словарями лежит в черной сумке, но здесь невозможно работать, здесь нет стола; из бара еще выходят отдельными группками подвыпившие гости, и в холле никак не утихнет в миллионный раз обесчещенная полячка. Когда-нибудь это кончится?

Я тут же сообщаю Надану, что выиграла пари: ему удалось проследить их репертуар только до "Его последним словом было "водка", потом он решил, что надираются они отнюдь не пивом.

Надан забыл, что всему виной я, и радостно сказал:

— За это они уже пьют в дверях!

Они наконец выпили, еще немного пошумели, и наконец все стихло.

Каждый раз, когда я пытаюсь вспомнить, что и в какой последовательности происходило той ночью, мне это удается с трудом. Сначала я как будто достала свою косметичку и отправилась в ванную. Когда я оттуда вышла, Надан уже настроил радио в часах на свою любимую волну. Желтая жидкость на автостраде оказалась совершенно неядовитой и давно была благополучно устранена. Я подумала: "Мы могли бы уже добраться до Эльзаса", но вслух я этого не произнесла. Я сказала:

— Ты же не веришь, что она и в самом деле неядовитая?

Надан спросил:

— Почему?

Он опять замкнулся.

Меня слегка затошнило то ли от фрикаделек, то ли от желтой жидкости, то ли от запаха дезинфекции, то ли от выражения Наданова лица, и я вышла на балкон, чтобы по возможности продышаться. В воздухе пахло сиренью. Я старалась не расплакаться. Видимо, старалась я довольно долго, пока наконец мои усилия не увенчались успехом, и когда вернулась в комнату, увидела затуманенные глаза Надана — у него началась мигрень.

Из всех неприятностей, которые случаются с Наданом, когда он проводит слишком много времени со мной, мигрень, как мне кажется, хуже всего. Надан же полагает, что и тошнота, которой чревато для меня слишком длительное пребывание в его обществе, и приступы кашля плохи примерно одинаково.

Я сказала:

— Ничего удивительного, что у тебя разболелась голова: воздух пропитан ядовитыми испарениями желтой жидкости, да еще этот запах в комнате. Мне тоже нехорошо.

— Послушай, — сказал он, — наверное, об этом тоже надо было поспорить.

Потом несмотря на головную боль и тошноту мы начали ругаться из-за желтой жидкости: ядовитая она или нет.

Надан сказал:

— Какой смысл думать, что она ядовитая, если по радио сказали, что она неядовитая.

— Может, и нет никакого смысла, — сказала я, — но не стоит быть таким наивным и, развесив уши, верить всему, что они там говорят, только потому, что якобы нет смысла верить в ее ядовитость.

— Почему? — спросил Надан.

Я пошла в ванную, чтобы из стаканчика для зубных щеток выпить немного водопроводной воды и выиграть время; потом сказала:

— Можем поспорить. И года не пройдет, как они признают, что жидкость все-таки была ядовитой.

— Ну и что, — сказал Надан.

Я сказала:

— Тогда ты увидишь.

Я совершенно озверела, когда, выйдя из ванной, где он тоже выпил водопроводной воды из стаканчика для зубных щеток, он сказал:

— Сегодня вечером это не имеет решительно никакого значения.

Из-за головной боли глаза у него стали почти черными, и то ли из-за его глаз, то ли из-за запаха дезинфекции я взяла единственный стул, который был в комнате, и снова отправилась на балкон, я подумала, что продолжать ссориться в таком состоянии бессмысленно. Но я еще успела услышать, как Надан вполголоса сказал как бы себе самому:

— Целый день в мае она ходит в зимнем пальто, обливаясь потом, но когда становится действительно холодно, с мокрыми волосами торчит на балконе в одной футболке.

Потом я сидела на балконе в пальто и молча вела бесконечный спор о том, есть ли смысл говорить, что некое вещество ядовито, если оно действительно ядовито.

При этом я была даже рада, что мы поссорились из-за желтой жидкости, а не из-за дома Надана или из-за моей квартиры, хотя потом мне стало ясно, что сегодняшний спор был всего лишь прологом, а квартирная драма разразится завтра.

К этому времени квартирно-домовая драма почти достигла для нас своего апогея, и, скорее всего, так я думала, сидя той ночью на балконе, мы и сбежали-то, и оказались здесь для того, чтобы хоть как-нибудь положить ей конец, что было совершенно невозможно ни в Надановом доме, ни в моей квартире, потому что Надан не мог даже войти в мою квартиру — его сразу одолевала мигрень, а я, лежа рядом с Наданом у него в доме, часами сотрясалась от кашля, и Надан не мог ничего с этим поделать, кроме того, чтобы, дождавшись перерыва между приступами, отвезти меня поскорее домой. В машине я иногда говорила ему:

— Признайся, ты вбухал в свой дом целую тонну консервантов для древесины.

Надан отвечал:

— Ни единой капли, клянусь, не хочешь, не верь.

И я не верила, хотя, конечно, отлично сознавала, что добрую половину жизни провела в домах, насквозь пропитанных консервантами для древесины, и ни разу не кашлянула, и, значит, дело совершенно не в этом.

Когда я думаю о Надановом доме, мне на ум приходит белый попугай.

Когда Надан входит в мою квартиру, он обычно говорит:

— Не понимаю, как ты можешь так жить.

Мы никогда не могли спокойно поговорить об этих "как" и "так", потому что у Надана то ли от моей квартиры, то ли от поливинилхлоридового покрытия на полу, то ли от моего красного вина тут же начиналась мигрень, и этой ночью я предчувствовала, что завтра нам предстоит разговор об этих самых "как" и "так", и, конечно, заранее было ясно, что никаких общих "как" и "так" нет и не может быть, ведь даже его галстук со слониками не сможет находиться в одном шкафу с моим зимним пальто, и мне становилось страшно, потому что я любила Надана, а завтрашний день, скорее всего, будет просто ужасным.

Я решила немного поспать, но из-за тревоги, любви и неудобного стула у меня ничего не вышло.

Я вернулась в комнату уже под утро, потому что запах сирени стал почти что неразличим во влажном воздухе. Надан спал. Он продолжал спать, когда я тихонько улеглась на другую кровать и только теперь вдруг обнаружила, как сильно у меня замерзли ноги и сколь утомительной вообще для человека может быть подобная ночь с запахом сирени на балконе. Я закрыла глаза, и именно в этот момент Надан проснулся. Он сел на своей кровати, уставился в темноту в моем направлении и сказал:

— Альниньо, пожалуйста.

Эти слова прозвучали так, словно шли из самых сокровенных глубин его души, они настолько потрясли меня, что я тут же позабыла все наши споры и свои ледяные ступни. Нежным голосом я сказала:

— Да, что такое?

Когда он говорит так, с мольбой, я готова исполнить любую его просьбу даже в пять часов утра, и мягким голосом, который я люблю уже столько лет, он сказал:

— Только, пожалуйста, не начинай сейчас кашлять.

Когда я в третий раз за эту ночь вышла на балкон, я взяла с собой и пальто, и одеяло и увидела наконец, как звезды бледнеют, а вдалеке просыпается то ли Манхайм, то ли Людвигсхафен, потом я увидела наконец огромный лиловый куст сирени, который доставал почти до самого нашего балкона, а за ним начинался самый настоящий луг, через который шла тонкая извилистая тропка, а надо всем этим парил легкий туман. Я выкурила сигарету, тошнота прошла, кашель прекратился, и я вдруг рассмеялась, вспомнив Беттину, которой приходилось топать на лестничную клетку, чтоб покурить.

День начался с того, что Надан пошел в ванную, и я обнаружила, что совершенно не привыкла к тому, что кто-нибудь кроме меня может издавать в ванной звуки. Они неприятно меня удивляли, и мне вдруг стало совершенно ясно, что Надан — чужой мне человек и что, хотя я люблю его всю мою сознательную жизнь, я, наверное, люблю его только головой и, может быть, сердцем, а в реальной жизни я, скорее всего, вообще не могу долго любить человека, который, когда чистит зубы, зачем-то издает горлом такие банальные звуки. Нет, я бы сказала, ничего ужасного не было в этих звуках, они не были слишком громкими — нормальные звуки; сама я хоть и не полощу громко горло, когда чищу зубы, мне они все же показались совершенно нормальными, и, значит, не к чему было прицепиться. И все же все во мне восстало против этого человека только из-за того, что звуки были банальны, а любовь — не банальна. Когда загудела бритва, я отчетливо

представила себе, что, живи я в доме Надана, который на самом деле и домом-то назвать нельзя, это скорее уж крепость – огромный, темный, неуютный, какой-то заброшенный, – мне пришлось бы каждое утро слушать эти клокочущие звуки, гудение бритвы, шум воды в душе. Через очень короткое время с любовью всей моей жизни было бы покончено навсегда.

Слушая, как Надан полощет горло, я наконец осознала то, о чем догадывалась еще с той ночи на поваленной сосне, но никак не могла сформулировать: любить в мечтах гораздо проще, чем в жизни, где помимо мешающих поцелуям мыслей существуют холодные фрикадельки, покрытые плесенью потолки, галстуки со слониками, звуки в ванной и еще много всяких обескураживающих мелочей, которые в самый неподходящий момент глупейшим образом вылезают наружу. Я не могла понять, как же некоторым людям, несмотря на это, все-таки удается любить друг друга.

Дело было совершенно не в том, что я вдруг разлюбила Надана, скорее, услышав эти звуки, я внезапно почувствовала, что не хочу больше этой любви и не могу себе представить, что я когда-нибудь снова смогу этой любви захотеть.

К тому же, подумала я, это дает мне некоторое тактическое преимущество на весь наступающий день и на время предстоящей квартирной драмы – определенная бесстрастность может только пойти на пользу.

Когда я в конце концов сама попала в ванную и старалась по возможности не издавать вообще никаких звуков, мне вдруг пришло в голову, что сегодня не только праздник Вознесения, но еще и День отца[1], самый отвратительный из всех праздников, и я порадовалась, что мы как-никак пережили уже пребывание в этом отеле, скоро его покинем и окажемся во Франции задолго до того, как здесь станут собираться папаши, которые снова начнут петь про прекрасную полячку, и конца этому не будет.

Было похоже, что день предстоит солнечный и по-настоящему майский, я надела свое любимое платье в желтую и черную полоску, за завтраком отдала Надану свой сыр, он отдал мне свой черносмородиновый джем, и на какую-то секунду мне даже показалось, что все не так плохо, но тут неожиданно Надан сказал:

– С такой мигренью я не сяду за руль.

"Господа останутся надолго", – сказала та дама за стойкой регистрации.

Это звучало утвердительно.

Господа остались до воскресенья.

Нельзя сказать, что с нашей любовью, с этим нашествием саранчи, было покончено, хотя оба мы время от времени молили небеса именно об этом, но когда в воскресенье вечером мы сидели в темной Надановой крепости на ящике из-под апельсинов, Надан сказал:

– Предлагают аспирантскую стипендию: год или два в обсерватории в Аризоне.

И он встал, чтобы принести чего-нибудь выпить. Открыв дверцу холодильника, крикнул:

– Тут только молоко!

– Н-да-а-н, ну тогда молока.

Когда он принес молоко, я сказала:

1. День отца – немецкий праздник, совпадающий с религиозным праздником Вознесения. В этот день мужчины, особенно отцы семейств, устраивают себе "праздник" с обильной выпивкой и гуляньями. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Есть место преподавателя, год или два в университете Клермон-Феррана.

Пастеризованное молоко прокисло. Но вкус у него был не кислый, как у нормального кислого молока, а отвратительно горький, и я сказала:

— Как тебе удалось добиться, чтобы пастеризованное молоко скисло, оно ведь хранится полгода.

Потом я взяла такси.

"Так не пойдет", — все еще звучал у меня в ушах голос Надана.

А я на это: "А как, скажи пожалуйста, как пойдет?"

Надан: "Перестань говорить этим писклявым голосом".

Я: "?"

Надан (сам с собой): "С любой другой женщиной все было бы так просто".

Я: "Ну и давай начни наконец с любой другой женщиной".

Когда я закрываю глаза, я вижу, как мы с Наданом сидим на солнышке на лугу позади того самого отеля. Сначала Надан разъясняет мне, что такое теория относительности, потом что-то о ценных бумагах и, наконец, что такое двойная жизнь. Последнее он придумал только что. Я говорю: "Двойная жизнь стара как мир". Но Надан не любит, когда его учат, он сам себе выдумал двойную жизнь и очень хотел бы попробовать, и у меня такое чувство, что он хотел бы жить с Альбертой в своем доме, который он, собственно говоря, для нее и построил, и чтобы Альберта, уж будь добра, следила за тем, чтобы дом этот перестал быть таким заброшенным: прикупила бы мебель, заботилась, чтобы в холодильнике было что выпить, время от времени мыла окна. С Альбертой это могло бы пройти, да вот Альниньо этот дом на дух не выносит. Другую жизнь он бы хотел прожить с Альниньо.

Я указываю на группу папаш позади нас, которые с воплями поднимаются по узкой дорожке к отелю, и говорю:

— Каждый второй из них тоже мечтает о двойной жизни.

Надан говорит:

— Ты просто не понимаешь.

Может быть.

Осенью Надан уехал в Аризону, а у меня был выбор: в Клермон-Ферран или в Лион. Я выбрала Лион.

Жан-Филипп

Прошло уже несколько лет с тех пор, как я написала рассказ "Альниньо". Мы жили в Т., маленьком городке на берегу реки Роны между Вьенной и Валенсой в доме родителей моего мужа. На субботу и воскресенье из Лиона приезжал Жан-Филипп. После недельного сидения за письменным столом ему было только полезно побыть с семьей на природе. Он любил ездить с отцом на виноградники по другую сторону реки и, когда отец его спрашивал, давал советы, пора или нет еще заменить один сорт винограда другим; он ругал старика за привычку распылять над виноградниками слишком много инсектицидов, "продукта", как они здесь говорили, так много, что листья потом целую неделю отдавали синевой.

Пару раз я тоже ездила с ними на виноградники, и мне всегда нравилось, отстав от них на пару шагов, наблюдать, как они оживленно разговаривают, жестикулируют, подмечать, как они друг другу близки. Когда-нибудь Жан-Филипп унаследует виноградники и, скорее всего, сдаст их в аренду. Он никогда не говорил об этом с отцом, но мы полагали, отец догадывался.

Иногда по воскресеньям мы все вместе ужинали в ресторане. Это было хорошее время. Не для всего мира, о котором мы каждый день читали в газетах, а лично для нас. Сесиль перешла из подготовительной школы в обычную и гордилась тем, что стала по-настоящему взрослой, а я радовалась, что могу теперь уделять себе больше времени. Случалось, я оставляла Сесиль с бабушкой и ехала на неделе в Лион, чтобы взять книги в библиотеке, найти какую-нибудь цитату, просто побыть среди людей, сделать покупки, для которых Т. и Валенса были слишком малы. Потом я заезжала в институт за Жан-Филиппом, и мы с ним вместе шли ужинать в ресторанчик на улице Марронье, а иногда — в оперу; случалось, мы просто вместе готовили ужин и говорили друг с другом о работе, и я оставалась ночевать в маленькой квартирке на площади Белькур, которую мы и после рождения Сесиль оставили за собой.

История о Надане и Альберте возникла у меня однажды чудной весенней порой. Чаще всего я сидела тогда на солнышке на нашей нижней террасе в Т. и писала: именно так в мою историю проникли флюиды мая, сирени и даже красного вина собственного свекра, впрочем, я думаю, истории это не повредило. Я считала, она закончена и получилось неплохо.

Но прежде чем положить ее туда, где лежали другие мои рассказы, и отослать по почте в издательства, я дала ее прочесть Жан-Филиппу. Мне нравится следить за его лицом, когда он читает. К тому же я уверена, он это знает. Читая, он время от времени задавал вопросы, не мог перевести некоторых слов, хотел знать точнее, о какой именно радиостанции идет речь и в довершение всего мне пришлось, переборов себя, спеть ему не только "Прекрасную полячку", но и "Его последним словом было "водка". Он наморщил лоб, прикрыл глаза, помотал головой. Потом сказал: "Какая недобрая история".

Я вовсе не считала, что это недобрая история, может быть, потому, что писала ее в приподнятом, даже иногда озорном настроении, сидя на весенней террасе с видом на виноградники моего свекра, которого я очень люблю, и от этого сама история казалась мне милой и немного абсурдной, но Жан-Филипп стоял на своем: это недобрая история.

А потом произошло нечто странное, чего между нами никогда не бывало прежде и позднее никогда не повторялось. Он сказал очень определенно: "И к тому же история еще отнюдь не закончена".

Теперь, когда я пишу эти строки и снова слышу его голос, мне кажется, что он произнес это не просто уверенно, но даже твердо, если не жестко.

И хотя мы всегда охотно и подробно говорили друг с другом о работе, ни один из нас никогда не вмешивался в дела другого, и мне очень не понравилось, что он вдруг позволил себе столь определенное высказывание по поводу моей работы. Я сказала:

— Она, несомненно, закончена. Ничего не осталось. Il n'y en a plus. Надан сидит в обсерватории в Аризоне, Альберта преподает в Лионском университете, и точка. Занавес.

— Может, и занавес, но лишь до поры до времени, — сказал Жан-Филипп. — Конец первого действия, да, но до настоящего конца еще дале-

ко, и конец не наступит просто потому, что ты отправила его в Аризону, а ее — в Лион. Случится еще много чего, и веселого тут будет мало. Мужайся, моя дорогая.

Все это он говорил с подчеркнутой любезностью, хотя глаза его смеялись, и было невозможно не уловить насмешку.

Это меня удивило. Это меня рассердило. Это звучало так, будто Жан-Филипп знает о моей истории больше меня. С этим трудно было смириться. Я не привыкла к тому, чтобы Жан-Филипп говорил со мной в таком тоне. Таким тоном мужчины обычно рассказывают женщинам о войне.

И все же ему удалось сбить меня с толку, я сама вдруг потеряла уверенность, что история и в самом деле завершена; для начала отложила ее в сторонку и написала парочку новых рассказов. Жан-Филипп больше к этому не возвращался. В течение всего лета.

Август мы провели на море. По утрам Жан-Филипп сидел над диссертацией своего коллеги и шел с нами на море только после обеда, был сосредоточен и молчалив.

Осенью он снова поинтересовался моей историей. На время сбора винограда он взял отпуск и привез с собой в Т. целую стопку книг, в том числе и собственную работу о застольной песне в "Заратустре", иногда рассказывал нам об особенностях смешного у Ницше и был, очевидно, рад, что он наконец дома и может до хрипоты спорить с отцом: производить ли много вина среднего качества или немного, но исключительного; и что необходимо предпринять для переориентации производства, если, конечно, вообще стоит его переориентировать. В любом случае выходило, что надо прикупить еще несколько гектаров земли.

— Господин философ решил пройтись по виноградникам, — миролюбиво отшутился отец, когда решил, что с него хватит.

Услышав эти его слова, я почувствовала прилив любви к нему, ибо в тот момент мне стало совершенно ясно: конечно же он знает, что Жан-Филипп не будет сам заниматься виноградниками, а не говорит он об этом потому, что щадит чувства сына и уверен — бессмысленно спорить с сыновьями о будущем. До сих пор я думала, им просто весело, это у них такая игра — спорить о виноградарстве. Теперь я засомневалась.

Иногда Жан-Филипп вставал среди ночи, чтобы отправиться с друзьями на рыбалку, в горы. Бывало, им даже удавалось что-нибудь поймать. Но когда Элиза видела эту форель, она со смехом говорила: "Они выудили ее в ближайшем супермаркете".

Все было почти как всегда.

Только начиная с весны я не давала ему читать ничего из написанного мною. Впрочем, он тоже не давал мне своих работ.

Однажды вечером, когда Сесиль уже спала, он вдруг как бы между прочим спросил:

— А что поделывает твоя Альберта? У нее все в порядке?

— Спасибо, все отлично, — сказала я.

— Дело движется?

— Поживем — увидим.

Вот и все. И мы снова уткнулись каждый в свою книгу.

После праздника Вознесения Надан и Альберта молча решили больше друг другу не звонить и не встречаться. Несколько дней Альберта чувствовала облегчение. Не слишком приятное чувство, что тебя разлюбили, да ты же еще и Альниньо, говорила она себе. Никакая она не Аль-

ниньо и вовсе не хочет ею быть. За всем этим стоит недоразумение, очень давнее недоразумение, но и очень давние недоразумения вместе с сопутствующими им предысториями должны рано или поздно заканчиваться. Кроме того, работу над переводом Валло пора было заканчивать, сроки поджимали, нужно было скорее искать цитаты, вставлять их в текст, звонить Валло, а по обе стороны компьютера росли горы книг. Работа шла уже не так быстро, теперь она тащилась как черепаха, текст, казалось Альберте, к концу стал труднее, чем она предполагала, хотя, конечно, с самого начала было ясно, что в этом тексте время от времени попадаются препротивные куски. Как раз когда Альберта переводила один из таких мерзких абзацев, очень возможно, что в ее голове ни с того ни с сего возникли одна за другой картинки их бегства: в отеле, на лугу, но также и ужасный Наданов дом, к сожалению, и Альберта погрузилась в их созерцание вместо того, чтобы пытаться следить за смыслом в переводимом тексте, а уследить за ним было непросто. Вышло даже так, что ей дважды пришлось звонить в Париж с одним и тем же вопросом; особая интонация в голосе Валло исчезла, ее сменило нечто другое, что, правда, пока еще никак нельзя было назвать несдержанностью, но за вежливыми словами уже угадывалось легкое раздражение.

Ко всему прочему что-то случилось с ее квартирой. Она вдруг стала казаться Альберте гораздо меньше, чем даже два дня назад, хотя, разумеется, мебели в ней было не так уж много, скорее ее обстановку можно было назвать спартанской, если не обращать внимания на книги, которыми все было завалено. В кабинете на письменный стол из окна падало слишком мало света, в ванной краска слоями отставала от стен, плитка на кухне приобрела вдруг ядовито-желтый оттенок, а несколько штук вообще отвалилось. Все это, решила Альберта, срочно нуждается в ремонте. Плюс безотрадный вид из кухонного окна на оптовый рынок напитков, а к безотрадному виду добавились вдруг шум грузовиков и отвратительное бряканье ящиков с бутылками при погрузке и разгрузке — это было невыносимо.

Так и мигрень заработать можно.

По мнению Альберты, единственное, что было хорошего в Наданов доме — это панорамный вид из его больших окон на юг. Вдали можно было даже различить лес, чуть ближе — несколько частных домиков с березами и ивами в садах. От этой картины веяло покоем.

Она забыла, что совсем недавно у них состоялось ужасное молчаливое сражение — ничего подобного вообще не должно происходить с людьми, которые всю жизнь любят друг друга. Ни вслух, ни молча.

Надан: “Так не пойдет”.

Альберта: “А как, скажи, пожалуйста, как пойдет?”

Надан: “Перестань говорить этим писклявым голосом”.

Альберта: “В моем голосе нет ничего писклявого! И вообще я же ничего не сказала”.

Надан : “Ну ты же видишь, так не получится”.

Альберта: “А как, скажи пожалуйста, получится?”

Надан: “С тобой вообще ничего получиться не может”.

Альберта: “Вот как? Разве это я полощу горло после того, как почищу зубы, так, что дрожат стены? Разве у меня на ногах эти, прошу прощения, прелестные тапочки?”

Надан: “Знаю, знаю, ты очень хочешь погнусничать, но так ничего не выйдет”.

Альберта: “Тогда оставим это”.

Надан: “Только не начинай сейчас плакать”.

Альберта: “Ну вот еще, вот уж чего я точно не буду делать, так это из-за тебя плакать”.

Она не забыла ни эти немыслимые диалоги, ни слезы, которые следовали за ними. Какая-то ее часть, запертая навсегда, так и осталась сидеть на той поваленной сосне и не становилась умнее, с тех самых пор как жизнь много лет назад поперхнулась и на какое-то время перестала дышать.

И в тот момент, когда Альберту вдруг захлестнули чувства — ведь есть же что-то трогательное в том, что Надан, едва достигнув совершеннолетия, задумал построить дом, связался со строительной фирмой и в конце концов построил его на участке земли в пригородном районе, и в этом доме, так он задумал, с ним должна была жить Альниньо, ведь это на самом деле очень трогательно, конечно немного наивно, так же трогательно и наивно, как галстук со слониками и, если подумать, как выглаженная пижама и эти, ну, тапочки, и почему вообще человек не может, почистив зубы, как следует прополоскать рот, — так вот, в этот момент ей вдруг пришла в голову другая, очень своеобразная мысль, и она никак не могла от нее отделаться. Она вдруг осознала, что уже в начале следующего года в одной из нескольких детских комнат, предусмотренных в доме Надана, мог появиться обитатель.

Эта мысль тоже пробудила в Альберте нежность. Хотя в такой же примерно степени и испугала; день ото дня оба чувства становились сильнее: нежность и страх. Она еще не записалась ни в Клермон-Ферран, ни в Лион, такие вещи быстро не делаются, и однажды вечером, едва лишь нежность чуть-чуть пересилила страх, сняла телефонную трубку.

Потом сказала то, что хотела сказать.

Потом после долгой молчаливой паузы, в которой ей было ясно каждое слово, услышала: “Ах вот как”.

Потом положила трубку и сказала себе, что она его разлюбила и вообще этому пора положить конец, пока эта дьявольщина не слишком укоренилась в ее жизни.

Потом стала искать в телефонной книжке другой номер и снова схватилась за телефон.

В Аризоне сквозь самый чистый воздух в мире Надан смотрел на луну, лишь изредка завешенную облаками, и производил сложные расчеты, связанные с Млечным Путем. Пока его наблюдения постепенно выливались в астрофизическую теорию о природе межгалактического тумана, которая позднее повлекла за собой поездку с докладами по всем Соединенным Штатам, Альберта прогуливалась в лионском тумане между Роной и Соной сначала потому, что ее влекла красота эпохи Возрождения, и потому, что все здесь было чужим, возбуждающим, иногда до изнеможения, и восхитительным, как, например, сказочные цветочные магазины, где даже из полевых трав умели создать сверкающий букет. Со временем восхищение поутихло, и наступил момент, когда ей пришлось признаться себе, что в Лионе, к сожалению, невозможно разрешить самое большое недоразумение ее жизни, за которое она помимо собственной воли продолжала цепляться настолько, что ей постоянно приходилось всту-

пать в переговоры с самой собой, даже ссориться: действительно ли речь здесь идет только лишь о недоразумении, а не о большой любви, хотя, кажется, одно напрочь исключает другое. Короче, Альберту одолевали ностальгические мечты, она часто ходила в кино, время от времени предпринимала попытки относиться к жизни легче, на французский манер, но ей удавалось создать лишь видимость легкомыслия, кое-что по-прежнему задевало ее за живое.

Например, знакомство с Эженом Пюшем.

Эжен занимал квартиру над Альбертой. Однажды возле почтовых ящиков он заговорил с ней: "Вы та самая дама, что любит Моцарта?" И Альберта пришла в совершеннейший ужас. Она тут же пообещала, что отныне будет включать музыку тихо-тихо, но Эжен засмеялся и сказал: "Нет-нет, что вы, мне нравится".

В нескольких кварталах от дома находилась его мастерская. Через некоторое время у Альберты вошло в привычку после лекций или прогулок в тумане ненадолго туда заглядывать. Там пахло жженым металлом, огнем, искрами и спокойствием Эжена. Она старалась принести туда что-нибудь: кусочек торта с лимоном или букет цветов, чтобы поставить его на бюро с раздвижными стеклами, где стоял компьютер, за которым Эжен иногда работал.

В ноябре я не продвинулась дальше осознания того факта, что, несмотря на особенные отношения с Эженом, Альберта в Лионе отнюдь не счастлива, в то время как Надану облегчала жизнь его если не счастливая, то, по крайней мере, достойная удивления практическая способность, присущая многим мужчинам, — способность полностью забываться, погрузившись в работу. Надан прекрасно осознавал, что работает в одной из крупнейших обсерваторий мира — посреди пустыни, вдали от городов, автострад, промышленности — в условиях, о которых прежде мог только мечтать. Он разрывался между спектроскопами, астрографами, радиотелескопами, моделированием параллактических сдвигов, работой по ночам, расчетами содержания гелия и водорода, компьютерным анализом межзвездной пыли и газа, и в конце концов он придумал собственную теорию происхождения межгалактического тумана и был страшно доволен, что эта работа вызвала переполох в научной прессе, за которым сразу же последовало несколько приглашений. Он ездил из одного университета в другой и делал доклады, пока его теорию не опровергли, но все-таки работа на какое-то время стала для него действенным средством против нашествия саранчи.

Свой дом, в строгом соответствии с количеством детских комнат, Надан весьма рассудительно сдал на два года семье с тремя детьми, и вернуться его в конце концов заставила вовсе не тоска по дому, а скорее тот факт, что его предположения не оправдались. Млечный Путь остался там, где и был, в Аризоне срок его работы в обсерватории истек, а после того как специальные журналы напечатали опровержения его теории, приглашений в другие унивеситеты не последовало. И хотя в любой европейской стране были бы рады взять на работу астрофизика с опытом работы в Штатах, Надан предпочел провести еще несколько месяцев во Флориде; он жил то с одной женщиной, то с другой, спал то в одной, то в другой постели — и ему вдруг показалось, что все это не то чтобы уж вовсе плохо, но как-то неправильно. Он так и не смог снова стать таким же беззаботным, как в том отеле, неподалеку от Манхайма и Людвигсхафена.

В конце концов он вернулся и стал строить заново свою жизнь и работу, перемещаясь между университетом в X. и собственным домом, который, как он и опасался, семьей из пяти человек был приведен в весьма плачевное состояние, да и как могло быть иначе. На велюровом ковровом покрытии фломастером были нарисованы клеточки для игры в классики и трассы для автомобильных гонок, повсюду налипли остатки пластилина, а в детские он вообще старался не заглядывать, успел только заметить отпечаток маленького грязного большого пальца около выключателя, когда же ему попались на глаза пятна от еды на обоях в столовой, он решил, что здесь, должно быть, устраивали соревнования, кто дальше плюнет. Больше всего его расстроило, что весьма далекий от строительных работ отец семейства бестолково и неаккуратно понаделал где только можно розеток для внутренних телефонов, телевизоров, дистанционных беби-ситтеров, все провода шли поверх штукатурки, да еще и самым идиотским образом были выкрашены масляной краской.

Надан зафиксировал факт осквернения своего дома квартиросъемщиками, но дальше этого дело не пошло. Все чаще теперь ему в голову приходила мысль продать дом, и только сентиментальные воспоминания о юности, которые порой вдруг накатывали на него, в самый последний момент не давали ему обратиться к маклеру.

У него вошло в привычку часок перед работой бродить по лесу, два раза в неделю ходить в тренажерный зал, чтобы не потерять форму.

Когда мы с Жан-Филиппом встречались в Лионе, мы нередко говорили с ним об Альберте.

— Ну, как поживает твоя Альберта? — спрашивал он, и я отвечала:

— Боюсь, ей грустно. Город, конечно, очень ей нравится, но преподавание связывает руки, и хотя студенты попались довольно симпатичные, ей хотелось бы побольше переводить, а может, попробовать что-нибудь совсем новое — например, как Эжен, стоять в мастерской со сварочным аппаратом в руках и, разглядывая куски металла, приговаривать: "Тут мне потребуются четыре электрода, потом надену очки, проведу световую дугу по металлу, и эти части срастутся". Но пока ничего не получается, потому что Альберта слишком несчастна.

Если же мне самой хотелось поговорить с ним об этом, я просто говорила:

— Знаешь, Альберта меня тревожит.

Как-то раз Жан-Филипп сказал:

— Может, ей влюбиться, выйти замуж, родить ребенка, все бы и прошло.

Мне не понравилось, как он это сказал, в голосе звучали провокационные нотки, будто это была проверка, и я чуть не завелась, потому что не люблю, когда откуда-то из засады вдруг выстреливают такими провокационными фразами, не говоря всего, что на уме, но мне показалось, правильнее сделать вид, будто я ничего не заметила, и я сказала:

— Думаю, с этим лучше подождать, пока она не почувствует, что с прошлым покончено, женщина переживает любовные проблемы всем своим существом и страдает тоже. Ей нужно время.

Жан-Филипп сказал:

— Мне кажется, ты сама ждешь чего-то.

Потом сменил тему, спросил о розах, которые мы с его матерью хотели посадить перед виноградниками, причем до первых морозов — всю

осень мы с Элизой не могли договориться, какой сорт выбрать: Элизе нравились небольшие светлые розы "боника", а я пыталась уговорить ее на более выносливые "леонардо".

— Она решительно настаивает на "бонике", — пожаловалась я, и Жан-Филипп, качая головой, сказал:

— Ничего не поделаешь, это ее дом и ее виноградник.

В последний раз я представила себе, как красиво смотрелись бы на склоне "леонардо", и в конце концов сама посадила "бонике", потому что у Элизы из-за осенних дождей разболелась голова. Розы и работа на радио занимали все мое время, хотя с цветами мне иногда помогала Сесиль, что, конечно, работу только затягивало.

Надан посадил куст бузины и маленький клен.

У Альберты была комнатная липа и деревце ибискуса, которое погибло, пока она ездила на Рождество к матери в Висбаден. Ее мать считала ненормальным, что Альберта до сих пор не замужем. И сообщала ей об этом по нескольку раз в день. Однажды они даже поссорились.

Надан поехал на Рождество к своим родителям, которые жили неподалеку от Мюнстера. Родители действовали ему на нервы своими восторгами по поводу его американской карьеры и вообще чрезмерной гордостью за единственного сына. По дороге туда он обдумывал, не стоит ли предложить им перебраться к нему после того, как мать в следующем году выйдет на пенсию, — дом был достаточно велик, и, вообще-то говоря, родители в свое время внесли довольно значительную сумму на строительство и потом еще несколько раз давали ему в долг, при этом и он, и они знали, что отдавать эти деньги необязательно, как-никак единственный сын. Он уехал, так и не задав этого вопроса.

Вместе с Сесилью я ездила к своим родителям в Берлин.

На это время из Орлеана в Т. приехал брат Жан-Филиппа с женой и двумя детьми, они поселились в комнате Сесили и моей, и когда мы вернулись, я обнаружила, что сынишка Бруно восковым мелком нанес некоторые исправления и дополнения на мою любимую картину Шагала, а Сесиль даже немного поплакала из-за того, что у ее Барби-невесты больше не было головы, а без головы — какая же свадьба.

Я пообещала ей, что в следующий раз на Рождество мы останемся дома. Голову в конце концов отыскали в багажнике игрушечного автомобиля и водрузили на место, но невеста была опозорена, и позор этот не смыть никогда.

Альберта задумала в следующем году поехать на Рождество в Тунис, а Надан решил поехать на горных лыжах, и только семейство Бруно, возвращаясь в Орлеан, намеревалось в будущем году снова приехать в Т.

Альберта начала считать оставшиеся в Лионе дни. Она готовила студентов к зачету, по вечерам проверяла контрольные работы и переводила детектив Габриеллы Гудар, чья проницательная и блестящая героиня ей с самого начала не понравилась, на протяжении всех ста девяноста страниц книги Альберту не переставала удивлять узость сознания этой куклы в кожаных брюках, а сама она была слишком несчастной и слишком вялой, чтобы строить планы дальше чем на текущий день, а потом день наконец заканчивался и вычеркивался в календаре.

Иногда ей снились странные сны, которые путались с реальностью. Однажды она проснулась среди ночи и ей показалось, что рядом с ней спит Надан. Она сперва испугалась, но тут же ей пришло в голову, что вот ведь Надан проспал рядом с ней всю ночь, и она тоже целую ночь проспала рядом с Наданом, не прокашляла, а именно проспала. Утром она проснулась от прикосновения. Его рука была ледяной. Она нащупала своей ступней его ногу, потом осторожно потрогала плечо. В конце концов она в ужасе сказала: "Не может быть, чтобы ты так замерз во сне, ты, наверное, по сути холодный, как камень". Надан во сне проснулся и, то ли защищаясь, то ли переводя на нее стрелки, сказал: "Ты горишь, будто всю ночь тушилась бог знает в какой печке".

Пока Альберта считала дни, Надан иногда на работе, разговаривая с коллегами в Х., или в тренажерном зале вспоминал — нет, так просто, между прочим — ту фразу: "Ах вот как", которую он произнес тогда в ответ. Он не рассчитывал, что Альберта сразу положит трубку. Если он правильно помнил, он ожидал, что после этой фразы она жалобно спросит его: "Что же мне делать?" На всякий случай он продемонстрировал некоторую неуверенность и оставил пути для отступления.

Для мужчины вообще-то весьма опасно, когда женщина, которая, во-первых, сама по себе Альниньо, и, во-вторых, у нее долгая история неудавшихся взаимоотношений с этим мужчиной, и как раз недавно в очередной раз между ними было достигнуто молчаливое соглашение никогда больше не встречаться и разве только иногда перезваниваться, — так вот эта женщина вдруг звонит и заявляет, так, мол, и так. И дальше те самые слова. Мужчине действительно лучше всего ответить: "Ах вот как". Потому что в подобной ситуации эти слова женщины влекут за собой определенные стилистические проблемы, тут же, можно сказать, порождают в голове и в душе мужчины полнейшую стилистическую путаницу, к которой он совершенно не готов, даже если он с юности был настроен именно на это и предусмотрел в своем доме три детских комнаты, как, например, Надан. Когда Надан задумался о том, пробуждает ли в нем нежность мысль, что в одной из детских мог бы уже тем временем появиться обитатель, и в таком случае рукодельный отец чужого семейства не смог бы ее испоганить, протянув провода поверх штукатурки, он решил: "Пожалуй, да".

Потом вспомнил турнир по плевкам в длину в своей столовой.

Потом вспомнил: тогда его все еще переполняла обида или даже ярость, он уже точно не помнил; и эти слова настигли его, когда он был настроен против Альберты, и он поздравил себя, что оказался на высоте, не дал этой Альниньо обвести себя вокруг пальца, этому нашествию саранчи, из-за которой он построил дурацкий дом. А она ничего не понимает и бродит по дому в полном ужасе — у нее тут же начинается астматический приступ просто потому, что в доме еще нет мебели или еще бог знает почему, — смотрит вокруг и не замечает, что на самом деле это ее дом, что все в нем продумано с целью, чтобы ей было хорошо. А мебель он хотел покупать вместе с ней. У нее есть там даже собственная комната с огромным встроенным шкафом для ее ужасного зимнего пальто, от которого он ее постепенно отговорит, так же как и от курения, римских сандалий на плоской подошве и широких балахонов в желто-черную полоску.

Женщины, с которыми имел дело Надан, не носили балахонов, снимавшихся одним движением через голову, они вообще почти ничего не

носили, кроме узкой юбки на молнии с разрезом сбоку или сзади, светлых брюк и подходящей блузки или жакета сверху. Альниньо тоже не помешало бы одеваться немного поэлегантнее, так считал Надан, который тем временем успел поездить по свету и научился расстегивать молнии и кнопки. Он прямо-таки видел, как она в два счета снимает свой балахон, и он прямо-таки видел, вот она стоит, не женщина, а какая-то Альниньо. А потом эти слова по телефону. Альниньо не могла такого сказать. Эти слова совершенно не подходят Альниньо.

Иногда он ловил себя на том, что после тренировки по пути из тренажерного зала к подземной стоянке, проходя мимо витрины ювелирного магазина, разглядывает не только браслеты для часов, но и красивые сережки.

Потом он сам же мысленно удивлялся, что выбирает серьги для женщины, которую не только не выносит, но и совсем не знает. Он думал, как странно, что такое случилось именно с ним. Он бы, пожалуй, хотел жениться, и не на дурочке, на которую не мог бы ни в чем положиться, хотел бы иметь семью, нормальный уютный дом. Он мечтал когда-нибудь оставить место доцента, стать свободным и, может быть, даже построить на верхнем этаже своего дома маленькую обсерваторию, предусмотренную по плану, но не воплощенную в реальности.

Зима была холодной. У Сесили был затяжной бронхит, который в Т. никак не желал проходить, и на время зимних каникул мы с ней поехали на море. Жан-Филипп то ли не мог, то ли не хотел взять отпуск, и я его понимала. Что может быть скучнее, чем две недели на море в феврале, и я скучала. Всю первую неделю я ждала. В бесконечно долгие часы, когда я пыталась играть с Сесилью в "мяу-мяу" или запускать воздушного змея, который из-за сильного ветра не хотел подниматься в воздух, я ждала, что на выходные приедет Жан-Филипп. В конце концов он приехал, был очень мил, но рассеян, думал о своем, и было ясно, что исключительно чувство долга заставило его ехать четыре часа к морю, а сам бы он предпочел остаться дома. В воскресенье к обеду он почувствовал облегчение, ему удалось запустить в небо воздушного змея, Сесиль была очень довольна, щеки у нее разрумянились, хотя она была еще слишком мала для того, чтобы самой его держать, а попозже мы сидели в одном из немногих ресторанов, открытых зимой, в небольшом портовом городке, ели жареную рыбу и передержанных устриц, пили белое вино, и Жан-Филипп превзошел самого себя. Потом он спросил:

— Ну как там дела у твоей Альберты?

Учитывая, что следующая неделя, скорее всего, будет такой же скучной, как первая, а может, еще скучнее после его сегодняшнего удачного запуска воздушного змея и моих, можно не сомневаться, неудачных попыток повторить его результат в последующие дни; учитывая и отличное настроение Жан-Филиппа, вызванное, несомненно, также и тем, что после ужина он сможет наконец уехать; учитывая еще и тот очевидный факт, что я не могу работать, находясь на море с Сесилью, вопрос этот показался мне нечестным. Я сказала: "Спасибо. Уже гораздо лучше. Знаешь, в последнее время она даже считала дни, но теперь уже скоро весна, все как-нибудь образуется. Аппетит медленно возвращается".

— Вот как? — спросил Жан-Филипп и очень внимательно на меня посмотрел.

Я тоже очень внимательно на него посмотрела.

Тут принесли черничное желе для Сесили и кофе, а Жан-Филипп вдруг заторопился со счетом и отъездом. Я смотрела, как "рено" исчезает за поворотом, и думала: "Не бывает так, чтобы в отношениях между мужчиной и женщиной все удавалось".

Потом я снова ждала, но это было уже другое ожидание, не ожидание Жан-Филиппа, а неспокойное беспредметное ожидание, исполненное недоверия. У меня было чувство, что что-то витает в воздухе, но я не знала что. Я ненавижу подобного рода предчувствия, потому что очень впечатлительна и не выношу всякой мистики, к тому же по опыту знаю, что подобные предчувствия всегда сбываются, даже когда я их не понимаю и могу истолковать только как предупреждения из будущего, адресованные настоящему. Я ненавижу эти предчувствия, они пугают меня и все время сбываются. И теперь я не знала, к кому они относятся: к Жан-Филиппу или к Альберте. А может быть, ко мне.

Морской воздух явно пошел Сесиль на пользу, день ото дня ей становилось лучше — теперь приступы кашля бывали у нее только по ночам. Нередко я брала ее к себе в постель, чтобы успокоить. Она еще немного кашляла, а потом быстро засыпала, и когда лежала рядом со мной, наконец-то расслабившись, и густые черные ресницы полукругом обрамляли ее закрытые глаза, она была очень похожа на отца. Мы были женаты уже восемь лет, и с тех пор, как родилась Сесиль, я жила в Т. Я никогда против этого не возражала, хотя мы и не планировали долго жить у родителей Жан-Филиппа. Сначала просто так получилось, а потом нам понравилось.

Я не знала, по-прежнему ли это было хорошо.

Весной в Лионе Альберта кое-чему научилась. Она научилась разделывать лягушачьи лапки. Она научилась красить волосы в темно-рыжий цвет. Она научилась, сидя позади Эжена на мотоцикле, не вцепляться судорожно во что придется на каждом повороте. Узнала, при какой прочности металла и какой силе тока нужна трехэлектродная сварка, научилась делать световую дугу не слишком длинной и не слишком короткой и добиваться того, чтобы места сварки были гладкими. Из кусочков свинца, проволоки, железных труб научилась делать причудливые фигуры, и потом сама, глядя на них, удивлялась, как это они не разваливаются. Еще она научилась деревянным шпателем наносить себе на ноги горячий воск, и через пять минут сдергивать его резким движением вниз, научилась пить коньяк с тоником и в один прекрасный день выбросила все нижнее белье и купила новое. Так поступают женщины, когда начинают новую жизнь. Иногда она вспоминала, как в узких джинсах и развевающейся розовой рубахе своего отца, которую она выкрала у него из шкафа, шла тогда к площадке, где должен был гореть лагерный костер, а Надан что-то делал то ли со щиколоткой, то ли с коленкой, но в любом случае — с ногой этой Беттины. Как это было давно. И дом Надана тоже уже в прошлом, и та жизнь, которую он выдумал для нее, — вот глупость. Не для нее, для кого-то, кого он выдумал точно так же. Уж конечно не для нее.

Спала я здесь плохо. Наверное, из-за ночных приступов кашля у Сесили, хотя в Т. она кашляла сильнее, а я спала лучше. Что-то висело в воздухе.

Лежа без сна, я пыталась вспомнить, что говорил Надан, когда пытался объяснить Альберте суть двойной жизни. Мне казалось, он спросил что-то вроде:

— Ты могла бы вести двойную жизнь?

И Альберта ответила:

— Ах, боже мой, двойная жизнь стара как мир.

Надан на это сказал:

— Представь себе, ты берешь два камня и бросаешь их в воду. Там, где они упали, появляются небольшие круги. Они расходятся от середины.

— И что? — спросила тогда Альберта.

— И затем они становятся все больше и больше, концентрические круги, в чистом виде.

Альберта не поняла, что он хотел сказать, но его сосредоточенный вид, когда он говорил это, ей нравился.

— И затем, — сказал Надан, — они находят друг на друга. Маленькие чуть-чуть, большие — сильно.

Ему казалось, это объясняет, почему его так интересует двойная жизнь. Тут Альберта увидела группку празднующих папаш на тропинке посреди луга и сказала:

— Каждый второй из них тоже мечтает о двойной жизни.

На что Надан махнул рукой и сказал:

— Ну да, только я имел в виду другое.

Больше он ничего не сказал, и Альберта так и не узнала, что он имел в виду. Она подумала, может, это фильмы так на него подействовали, фильмы про шпионов, Джеймс Бонд и все такое. Тут не было ничего таинственного, по крайней мере, Альберта никакой тайны не видела. Скорее всего, подумала она, это имеет какое-то отношение к их неудавшейся предыстории, и ей пришло на ум, что он мог иметь в виду Марлона Брандо в "Последнем танго в Париже". Джеймса Бонда она терпеть не могла. В "Последнем танго" ей не нравилось, что в конце Марлон Брандо позволяет этой курчавой курице себя застрелить.

Над весенним лугом сияло солнце, Альберта легла на траву и смотрела в небо — в его синеве не было видно никаких следов желтого яда, — она думала о том, что Надан не мог всерьез говорить о такой жизни. У нее не укладывалось в голове, что Надан мог и впрямь ожидать от нее, Альберты — у которой нет курчавых волос и вообще она совершенно не похожа на ту курицу, — что она его, Надана, абсолютно не похожего ни на Джеймса Бонда, ни на Марлона Брандо, в конце концов самым банальным образом застрелит просто потому, что она — нашествие саранчи и Альниньо и всю свою жизнь так сильно любит Надана, несмотря даже на его смешной галстук, что сбежала с ним вместе и добралась почти что до самого Манхайма, чтобы там провести ночь на балконе и послушать, как он в ванной полощет горло.

И какая-то недоговоренность по поводу двойной жизни, а особенно связанное с ней бытовое убийство Альберте совершенно не нравились. Она не станет в этом участвовать, как не будет жить в его доме, где ей пришлось бы каждую ночь снова и снова кашлять.

Думая по ночам о Надане, я постепенно приходила в ярость. Понадобилось время, чтобы наконец понять почему. Вообще-то мне нравятся мужчины, и даже такие мужчины, как Надан, которые по каким-то причинам, может быть потому, что занимаются астрофизикой, со всей своей энергией и решительностью в том, что касается любви, устремляются в двух прямо противоположных направлениях к двум взаимоисключаю-

щимся целям. Вот они уже мчатся и по дороге конечно понимают, что их цели исключают одна другую — это разрывает их изнутри, и все их намерения и планы рвутся на части. На самом деле больше всего на свете они хотят, чтобы с утра до вечера их пожирала ужасная саранча, но, может быть, еще больше они хотят иметь образцовую семью и собственную крепость, где все провода аккуратно протянуты под штукатуркой, а дети бодро лопают ложкой положенное им пюре из моркови и репы, вместо того чтобы плеваться им на стены кто дальше. Но вскоре они понимают, что одно исключает другое: семейная идиллия и нашествие саранчи. И тогда им приходят в голову мысли о двойной жизни, как у Джеймса Бонда, с выстрелом в Марлона Брандо в конце.

Но когда в классическом немецком отеле неподалеку от Людвигсхафена или Манхайма их ненаглядное нашествие саранчи вдруг говорит им: "Милый, что у тебя за пижама, сними ее ради всего святого, иначе я не смогу тебя по-настоящему съесть" — ибо от самого вида такой пижамы у саранчи сразу возникают стилистические проблемы и разом пропадает аппетит, ее просто начинает тошнить, — из предполагаемого предумышленного убийства от страсти, из всего этого "Танго" произрастает мигрень.

Как я уже сказала, мне вообще-то нравятся мужчины, а такие, как Надан, наверное, больше всех; и мне нравится представлять себе, как Надан стоит в отеле возле балконной двери и мрачно глядит в сторону то ли Манхайма, то ли Людвигсхафена, а темнота снаружи в который раз ему объясняет, как мужчина и женщина должны жить вместе, Альберта же тем временем в растерянности лежит на кровати, курит сигарету за сигаретой и в который раз пытается сделать ход конем, так ведь можно в конце концов и с ума сойти, милая. Надан умолкает, прислушиваясь к ее молчанию, и, пока она погружена в мысли, как сделать ход конем, он молча ей разъясняет свое представление об общем будущем, из которого уже с той Беттиной у него вышло одно сплошное недоразумение.

Альберта бы ни за что не стала выходить на лестницу, чтобы покурить, она курит даже в постели. Для Надана нет ничего хуже, чем долго терпеть в своем доме эту Альниньо. И все же: для Надана нет ничего хуже, чем позволить этой Альниньо уйти.

Преисполненный враждебности Надан в выглаженной пижаме сквозь сигаретный дым произнес тогда фразу, над которой я каждый раз, когда ее цитирую, смеюсь до слез:

"Не знаю, почему я хочу с тобой спать, ведь меньше всего на свете я хочу хотеть с тобой спать".

На этом месте Альберта прервала подготовку к ходу конем, ей стало совершенно ясно, что она медленно сходит с ума. Из пачки на ночном столике она вытащила новую сигарету, выпила глоток воды из стаканчика для зубных щеток, который сегодня после обеда предусмотрительно поставила на ночной столик и уже дважды бегала в ванную наполнять, и дала самой себе торжественную клятву, что, если благополучно выберется отсюда, первое что сделает, вернувшись домой, — купит бутылку вина "Кот дю Рон", откроет ее и сама с собой чокнется. Потом она сказала:

— У меня предложение: сперва сделай то, что ты хочешь, а потом углубимся в метафизику. Именно в такой последовательности. Сам процесс стар как мир.

На это Надан сказал:

— Я делаю только то, чего хочу хотеть.

Именно эта фраза и приводила меня в ярость.

Я решила спросить Жан-Филиппа, может, эта фраза имеет отношение к какой-нибудь давно забытой религиозной или философской системе. У меня было такое чувство — а ведь Жан-Филипп в этом разбирается.

Наконец закончилась и вторая неделя. Ничего необычного не было в том, что Жан-Филипп позвонил только раз, недолго поговорил с Сесиль и сказал: "Передай привет маме". Сесиль добросовестно передала. Както вечером я звонила в Лион, но отозвался только автоответчик.

— Это я, у нас ничего нового, холод собачий, до скорой встречи, — сказала я, несмотря даже на свое неспокойное предчувствие, радуясь, что мы скоро едем в Т.

Сесиль сидела сзади на детском сиденье и в третий раз слушала кассету с "Красной Шапочкой" по-французски. Дорога А7 во многих местах ремонтировалась, и мне пришло в голову: весной ремонтируют то, что испортилось за зиму, а осенью — то, что испортилось за лето; потом я заметила, что мысли кружатся у меня в голове сами по себе и что я просто пытаюсь ими заглушить неприятное предчувствие. Неоднократно шоссе сужалось до двух рядов. А там, где перевернулся грузовик, установили мобильные светофоры, и за движением следил дорожный рабочий с красно-зеленым сигнальным диском в руках. Я остановилась. Стоять пришлось довольно долго. В противоположном направлении со скоростью пешехода проползали автомобили, огромное количество грузовиков, как всегда перед выходными. Одной из последних машин, проехавших нам навстречу, был серебристый "форд" с немецкими номерами. Я всегда обращаю внимание на лица водителей, которых обгоняю или которые едут навстречу, потому что мне кажется, нужно знать, с кем имеешь дело и стоит ли — иногда это просто жизненно важно. Так вот я взглянула в лицо водителя серебристого "форда", потом зажегся зеленый, и я поехала. Сесиль тем временем уже выучила "Красную Шапочку" наизусть и говорила вместе с артистами. Бензовоз, ехавший впереди, загораживал мне обзор, перевернутая фура походила на выброшенного на берег кита.

Если бы не борода, я могла бы поклясться: за рулем серебристого "форда" сидел Надан. С другой стороны, ведь мог же Надан за это время отрастить бороду. Охвативший меня ужас, вспотевшие ладони на руле ясно указывали, что это действительно был Надан. Я не могла вспомнить, один ли он был в машине. Когда участок дорожных работ остался позади, я обогнала бензовоз. Сесиль захотела йогурт и закапризничала, и через некоторое время я уже не думала о лице в серебристом "форде".

В Т. мы приехали поздно. Было уже темно, когда я завернула в наш двор. Элиза услышала шум мотора, включила снаружи свет и вышла навстречу. Во дворе стояли трактор и автомобили родителей мужа. Сесиль была возбуждена, она запрыгнула на бабушку и сейчас же хотела ей показать новую заколку из ракушки, которую я купила в сувенирной лавке. "Рено" Жан-Филиппа во дворе не было, и я, едва заметив, что его машины нет, поняла, что ничего другого и не ожидала.

Конечно он позвонил и извинился. Причину, по которой он якобы не смог приехать, я тут же забыла. Позже позвонил еще раз. Элиза разогрела нам суп и приготовила салат, как любит Сесиль, со шпиком и с ку-

биками хлеба. После еды и вина отец Жан-Филиппа выпил рюмочку виноградной водки, и я выпила вместе с ним, а когда Жан-Филипп позвонил, определитель показал, что звонят из автомата, причем голос его звучал так, будто он тоже пил виноградную водку. Его голос звучал, как иногда после ужина на рю де Маронье, после кофе и рюмочки виноградной водки, когда мы прогуливались до площади Белькур и потом поднимались еще выше. В его голосе присутствовали бархатные нотки. У меня перед глазами возник ресторан, несколько растений, деревянная лестница наверх. Я не сомневалась, что в качестве закуски он выбрал лягушачьи лапки, потом ел телячью голову под соусом грибиш, на десерт — сыры и кофе, а потом еще рюмочку виноградной водки. Мне пришло в голову, что он вроде как осквернил ресторан.

И все же с его стороны было весьма тактично, позвонив не из дома, поговорить сначала с отцом, а потом и со мной и ничего не рассказать нам о своем ужине на рю де Маронье. В основном он говорил, какая у них отвратительная погода. Этот его доклад о погоде до смешного не сочетался с мягким, бархатным голосом.

Я уложила Сесиль в постель. Внизу на кухне Элиза чересчур громко расставляла посуду в посудомоечной машине, а когда чуть позже я спустилась вниз пожелать им спокойной ночи, отец Жан-Филиппа сказал: "Ты должна выпить со стариком еще рюмочку виноградной водки".

Я с большим удовольствием выпила со стариком еще рюмочку. По вечерам, когда наверху меня одолевали истории и всякие мысли, или мне просто не хотелось больше работать, или же свекр звал меня "посидеть часок со стариком", я иногда спускалась вниз. Элиза к тому времени уже была в постели, Сесиль спала, а я сидела еще некоторое время со свекром, перед тем как пойти спать.

Он снова налил мне водки. Пока мы с Сесиль были на море, он настоял ее на виноградных выжимках.

— Посаженные осенью розы "боника" хорошо пережили зиму, — рассказывал свекр. Он замолчал. Снаружи вопил кот. Наша кошка была в доме.

Тут я подумала: "А если я у него спрошу, почему не бывает так, чтобы в отношениях между мужчиной и женщиной все удавалось".

Но отец Жан-Филиппа вдруг сказал:

— Вам бы наверху накрыть террасу крышей, а то солнце бьет прямо в лицо.

Я ответила:

— Мы думали об этом, но Жан-Филипп так редко здесь бывает.

Старик резко сказал:

— Жан-Филипп, Жан-Филипп. Господин философ порхает по жизни.

Чтобы его успокоить, я сказала:

— Послушай, ты прав, давай сделаем это сами. Если у тебя есть время, мы вместе сделаем крышу.

Сейчас нам это было нужно меньше всего, но не прошло и трех дней, как мы принялись за работу. По большей части я наблюдала из-за письменного стола, как разлетаются искры, потому что на свою голову как раз взяла договорную работу и сама на себя злилась за это — из-за огромного количества скрытых цитат в жутко растянутом романе Валло мне приходилось довольно часто ездить в библиотеку в Лион. А ездить сейчас в Лион мне совсем не хотелось.

Я придумывала, что сказать, когда Жан-Филипп в следующий раз спросит об Альберте.

Скорее всего, я скажу так: "Срок ее пребывания в Лионе почти закончился". И будет совсем неплохо, если в ответ Жан-Филипп наклонит голову и с искорками смеха в глазах спросит меня: "Вот как?"

Прежде чем поехать в Лион на следующей неделе, я позвонила ему в институт и сказала секретарше, что приеду. Обычно мне нравилось приезжать неожиданно, но на этот раз не хотелось никаких сюрпризов ни для него, ни для себя. Вечером за ужином я рассказала ему про крышу. Как и следовало ожидать, крыша интересовала его меньше всего на свете. То, что его интересовало, было вообще очень далеко от того, о чем он хотел со мной говорить. А того, о чем бы он хотел поговорить со мной, он, как назло, никак не мог вспомнить, и нам просто повезло, что в осквернённом ресторане на этот раз плохо проварили телячью голову. Я отказалась от виноградной водки после кофе, сказав, что хочу сегодня же ехать обратно — завтра мне с утра на работу. Испытав облегчение, Жан-Филипп разговорился и к нему вернулось хорошее настроение.

— Работа прежде всего, — сказал он.

— Работа прежде всего, — сказала я. — Я очень удивлюсь, если этого Валло в конце концов не обвинят в плагиате, он совершенно беззастенчиво присваивает все, что попадается ему на глаза.

Потом Жан-Филипп спросил меня об Альберте.

А я не задумываясь ответила:

— О, к Альберте придет любовник.

К *Альберте придет любовник*

Автоответчик показал четыре звонка. Это был третий.

"Я звонил. Позвоню попозже".

У меня подогнулись колени, я поставила сумки с покупками на кухонный стол и прослушала сообщение еще раз. И еще раз. Потом почувствовала страх.

Сообщение звучало так, будто мне и вправду было чего бояться. Оно звучало как угроза. И вдруг встряло посреди моей жизни. Я не просила об этом. В этот раз не просила. Коммуникационные технологии — какая это все-таки противная штука, думала я. Мысль в общем-то не новая, но некоторым мыслям требуется время, иногда годы, чтобы проникнуть в реальность. Эта мысль обрела плоть благодаря сообщению: "Я звонил. Позвоню попозже".

Бог с ним, со страхом. Только не поддаваться панике, думала я. Я достала из пакетов продукты, молоко и баранину убрала в холодильник. Я даже не пыталась просмотреть газеты — сейчас из этого все равно ничего бы не вышло. Механически написала два письма и отправила их по факсу. Пока они проходили через факсовый аппарат, я о них совершенно забыла.

Через некоторое время я стала себя спрашивать, когда наступит это "попозже" и, может быть, "попозже" как раз сейчас примерно и начинается, дело шло к полудню, и поэтому, возможно, уже было "попозже", но, скорее всего, еще все-таки слишком рано. Просто ужасно, когда такие вот совершенно детские исчисления производит вполне взрослый чело-

век. Помнится, после нескольких весьма запутанных умозаключений я пришла к выводу, что "попозже" едва ли наступит раньше трех часов дня. Конечно это не имело никакого значения, просто я надеялась, это меня успокоит.

Но и закончив расчеты, спокойствия я не ощутила.

До трех часов у меня еще успеет отрасти жало — малоприятная перспектива.

У меня есть смешная привычка время от времени подбегать к зеркалу — вовсе не из тщеславия, просто мне нужно убедиться, что лицо все еще на месте. Несколько раз я подходила к зеркалу, чтобы в этом удостовериться, и каждый раз оно оказывалось там, где надо. Попутно я установила, что мое лицо уже соответствует удвоенному совершеннолетию. Обычно мне абсолютно все равно, и теперь я на себя злилась за то, что сегодня меня это почему-то волнует.

"Старушка моя", — сказала я отражению. Потом отменила деловую встречу, которая должна была состояться во время предполагаемого "попозже", прекрасно осознавая, что поступаю совершенно неправильно — вовсе не потому, что встреча была очень уж важная, просто, по-моему, ни в коем случае нельзя отменять встречи только из-за того, что услышал на автоответчике голос, который произнес: "Я звонил. Позвоню попозже".

Я помыла голову. Телефон брала с собой в ванную.

В ванной в какой-то момент мне пришло в голову, а вдруг что-нибудь изменилось, вдруг мы теперь в состоянии с этим справиться, но потом я сама же над собой посмеялась, ибо точно знала, что такого быть не могло.

Наверное, с этим вообще невозможно справиться, подумала я, но ведь я уже отнюдь не была юной девушкой и заметила, что невозможность справиться с этим переживается гораздо тяжелее, когда молодость на исходе, и все это перестало быть игрой, потому что уже больше двадцати лет оно с аппетитом пожирает твою жизнь. Оно не было игрой даже тогда, в пору юности, а теперь-то я точно знала, все было очень серьезно.

Я попыталась хоть ненадолго вернуться к работе до того, как наступит "попозже", но контакта с текстом не возникло. Это был технический перевод, и я никак не могла понять, что такое многозначное отображение топологических пространств.

Когда около трех часов дня "попозже" все еще не наступило, я поняла, что день ускользнул от меня, прошел мимо. Меня лихорадило, голова стала тяжелой. И, разумеется, я ничего не ела.

На самом деле даже странно, думала я, насколько неподготовленными оказываются люди к серьезным вещам, которые ведь раз-то в жизни происходят с каждым или почти с каждым, а со многими — и не один раз. Существуют школы и курсы, где учат любой мыслимой ерунде, я могу изучать палеографию, научиться готовить crêpes Suzette[1], освоить бухучет и брать уроки вождения, я умею работать со сварочным аппаратом, с компьютером и факсом, умею выращивать розы, и только в любви я совершенно не ориентируюсь. На самом деле в любви не ориентируется никто, хотя каждый утверждает обратное и в любой

1. Креп Сюзет — французское блюдо: тонкий омлет в форме блина, который едят со сладким или острым соусом.

момент готов изложить на сей счет три или четыре теории. Но когда дело принимает серьезный оборот, тотчас же замечаешь, что теории эти никуда не годятся, потому что именно к твоему частному случаю ни одна из них не применима, все они имеют дело с упрощенными моделями, а твой собственный случай никогда не может быть упрощенным, он уникален и сложен; особенно уникален в своей непостижимости, неочевидности, в своей неповторимой непонятности и непереводимости и в той особой жестокости, с которой это уникальное явление постепенно становится серьезным, даже угрожающим, чтобы потом смести нас с дороги и галопом нести к самым ужасным ямам и безднам. Было бы вовсе не лишним, думала я, организовать курсы самозащиты от этой напасти.

Прежде всего нужно было бы научиться не ждать телефонного звонка.

В какой-то момент я заметила, что собираюсь вылить третью лейку воды на свою комнатную липу.

Кошка проснулась, и я произнесла по-французски: "Это я звонил. Позвоню попозже".

По-французски эта фраза звучала не столь угрожающе, и после того как я произнесла ее еще раз, низким голосом и без "я" в самом начале, я почти перестала замечать, что в ней нет ни одного "ты", теперь она звучала почти нежно. Я погладила кошку по голове, и та начала мурлыкать, но ведь она мурлыкала бы и не будь этой фразы.

Потом зазвонил телефон. Меня охватил ужас, такой, какой бывает лишь тогда, когда раздается наконец телефонный звонок, ожидаемый уже несколько часов, ужас, от которого подгибаются колени. Я помедлила, чтобы глотнуть воздуха, потом пошла к телефону. Мой голос заметно дрожал. Мне ответила женщина, представительница какой-то фирмы поинтересовалась, есть ли у меня сигнализация. Я сказала: "Нет, у меня нет сигнализации". И женщина стала рассказывать мне все о сигнализациях. Поначалу в ее голосе звучало чуть ли не сострадание, потом она приступила к своему докладу, и голос стал монотонным, будто она читала. Потом она с укоризной сказала, что это именно то, что помогает снизить количество квартирных краж, и я ответила: "Большое спасибо".

Едва я решила, что "попозже" уже не наступит сегодня, и направилась наконец к компьютеру и к своему техническому переводу, раздался звонок.

Мы не виделись несколько лет. Можно было, кажется, ожидать, что от этого станет легче. Оказалось, это ошибка. Хотя и не столь роковая, наверное, ошибка, думала я, как самое распространенное заблуждение, что вам полегчает лишь оттого, что вы теперь каждое утро вместе садитесь завтракать и за многие годы выучили наизусть, кто как полощет рот, почистив зубы.

Он сказал:

— Недавно мне показалось, я видел, как ты выходила из кино там-то и там-то. Я возвращался с тренировки.

Я хотела сказать: "По-моему, очень неплохое начало для разговора после стольких лет".

Я сказала:

— Возможно.

В последнее время я вообще не была в кино, но, может быть, я случайно проходила мимо кинотеатра, как раз когда закончился сеанс, а мо-

жет быть, это вовсе не я вышла тогда из кинотеатра или проходила мимо него. Короче: тонкое это дело, когда речь идет о том, что ты видел или не видел. Некоторые сидят на поваленной сосне и видят бледную луну, в то время как другие, сидящие на той же сосне, не видят никакой луны. Бледная луна может одновременно присутствовать и отсутствовать. Во всяком случае, это было возможно. Я не стала расспрашивать его о тренировке, потому что подумала: не хочу с самого начала еще сильнее осложнять то, что и так слишком сложно. Под тренировкой, скорее всего, подразумевалось накачивание мышц, а я предпочитаю от качков держаться подальше. Этого мужчину я знала слишком близко.

— С тех самых пор мы не разговаривали друг с другом, — сказал он, и я ответила:

— Не разговаривали.

В этом вопросе между нами царило полнейшее единство, которое, правда, понемножку начало рассыпаться, ведь теперь-то мы снова друг друга слышали.

Как только мужчина и женщина вступают в разговор, всплывают вопросы, а что было на самом деле, была луна или нет, и их единство с первой же минуты подвергается опасности, которая со временем становится все больше, поскольку, что бы ни делали вместе мужчина и женщина, пусть даже что-нибудь совсем незначительное, при этом они видят, слышат и чувствуют совершенно по-разному и впоследствии никак не могут договориться, что же они все-таки видели, слышали и чувствовали, но по каким-то неведомым причинам они все снова и снова пытаются прийти к единому мнению именно по этому поводу, и все время, пока пытаются, они видят, слышат и чувствуют опять-таки в корне разные вещи, о которых им тоже нужно наконец прийти к единому мнению; и однажды между ними происходит серьезная ссора, оба в отчаянье, дело доходит до настоящих военных действий, потому что каждый из них убежден, что именно он пережил то, что было на самом деле, а другой, конечно же, ошибается. Если бы он только захотел признать, что ошибается. И разумеется, против этого хуже всего защищены как раз те люди, которые являются специалистами по какой-то особой реальности, отличающейся от обычной, и в силу своей профессии, кажется, должны бы разбираться в этом лучше других, но чем сложнее их лунно-, звездно-, мыслительно-, языковая реальность и связанная с ними специализация, тем труднее всем этим астрофизикам, философам, филологам смириться с тем, что даже самые простые вещи могут быть увидены, услышаны, восприняты совершенно по-разному, и чем пустячнее какая-нибудь конкретная деталь, тем серьезнее можно из-за нее поссориться.

Я помню такую вот ссору из-за платья. Это было платье в желтую полоску. Оно было в желтую полоску, а не в лиловую. Поссорились мы по телефону. Разговор был междугородний, и как всегда в подобных случаях, потом никто не мог вспомнить, с чего же все началось, я ведь вполне спокойно отнеслась бы к тому, если бы мне просто было сказано, что платье ужасное, потому что это дело вкуса, а вкус не имеет отношения к объективной реальности, даже если речь идет о моем любимом платье. Но оно было в желтую полоску, это я знала точно, в его же воспоминаниях платье изменило цвет, а когда речь идет о том, что было на самом деле, уступать нельзя, просто нельзя, и в какой-то момент мне показалось, что я схожу с ума. Когда потом пришел счет за междугородние разговоры, эта мысль снова пришла мне в голову.

Это было платье в желтую полоску. Вот так.

Я заметила, что начинаю нервничать, и спросила:

— Как живешь? — я подумала, что это совершенно безвредный вопрос. Он мог теперь рассказывать о себе, и ему не пришлось бы упоминать меня, или мое платье, или еще какую-нибудь деталь, из-за которой мы могли бы поссориться, это была бы только его история, которую он мог рассказывать как ему заблагорассудится, привирая или не привирая, и он мог просто не рассказывать о том, о чем он не хотел рассказывать.

Но он сказал:

— Что это за вопрос?

Отвечать не было никакого смысла, но и не отвечать было нельзя.

Я хотела спросить:

— Ну и зачем, скажи пожалуйста, ты мне звонишь?

Но это был тоже тот еще вопрос. Многие люди, когда им скучно или по телевизору показывают что-то ужасное, берут в руки свою телефонную книжку и начинают обзванивать всех подряд, с начала и до конца, и, надо признать, по сути это не так уж глупо и даже весьма практично, потому что достаточно всего лишь уменьшить громкость телевизора; ты сидишь в кресле, тебе удобно, и если фильм вдруг становится лучше или начинается новый, более интересный, можно закончить разговор и снова уставиться в телевизор, причем совершенно необязательно мыть голову, а самое главное — раздумывать, есть ли здесь тараканы, и не нужны никакие ходы конем, не нужно стоять в пробке, не нужно даже нюхать бензин на подземной парковке перед тем, как сядешь в машину. В тренировочном костюме или в купальном халате. И не нужно раздумывать, что надеть. И спрашивать себя, как потом расхлебывать кашу.

В нашем разговоре повисла долгая пауза. Я подумала: возможно, как раз сейчас фильм становится интереснее и еще, что бы мне такое сказать?

— Я помешал? — спросил он через некоторое время.

Я сказала:

— Нет, ты не помéшал, но скажи все-таки, в чем дело.

Но то ли дела, собственно, не было, то ли он не хотел говорить о нем по телефону — во всяком случае, он сказал:

— Думаю, нам нужно встретиться.

Это прозвучало, пожалуй, не как угроза, а даже с некоторой ноткой неуверенности.

На улице начался снегопад, и, стоя у телефона, я могла видеть через окно падающие снежинки, что действовало успокаивающе.

После искусного начала это, конечно, была отнюдь не самая смелая фраза, которую мужчина может сказать женщине, когда хочет ее увидеть, но я не стала возражать.

Я сказала:

— Н-н-да-а-н...

Я сказала это так, будто у меня тем временем отросло жало. Но больше ничего такого не сказала.

После разговора жало мне было уже не нужно. Несколько ничего не значащих фраз по телефону разогнали страх, и его место заняло ощущение близости, которое, как я уже хорошо знала, было не только обманчивым, но и вовсе иллюзорным, и тем не менее нужно было продумать меню на послезавтрашний вечер. Требования стиля, подумала я. Ради себя,

не ради него, ах, и ради себя и ради него. Пока я обдумывала меню, чем Альберта будет угощать любовника, мне повсюду мерещились бесчисленные бездны, подстерегавшие нас обоих, и казалось в высшей степени маловероятным, что у меня хватит нервов достойно выдержать этот вечер. Я подошла к окну и прислонилась лбом к стеклу. Снег за окном шел мокрый, было видно, что долго он не пролежит.

На следующий день мысленно я составляла список всех предложений, которые ни в коем случае нельзя будет завтра произносить. Разумеется, в него вошли все предложения, касавшиеся пережитого нами вместе, потому что я не хотела сразу же снова поссориться. Кроме того, в него вошли и те предложения, которые касались того, что произошло со мной без него, потому что никакой мужчина не может спокойно отнестись к тому, что с его возлюбленной в его отсутствие вообще что бы то ни было происходило. В какой-то момент мне вдруг показалось, что я могла бы рассказать ему о конференции переводчиков в Сингене, на которую меня пригласили, я была там недолго и так страшно скучала, что рассказывать было совершенно не о чем, но я тотчас же отбросила эту идею, потому что если я расскажу, насколько скучным оказался этот симпозиум, он может подумать, что я сознательно искажаю факты, а если совру, что там было интересно, примет за бахвальство. Избегать следовало также любых вопросов о том, что произошло с ним за это время, потому что это были "Что это за вопросы?" — из разряда нескромных и даже вероломных женских попыток завладеть прошлым мужчины. Строго запрещены были фразы, относящиеся к будущему в любом виде, а также — к планам на будущее, это было очевидно. Пока я все это взвешивала, дважды звонил телефон. В первый раз позвонил рабочий, который должен был установить мне двойные окна — их смета наконец-то стала приемлемой, и теперь он хотел знать, когда можно прийти; потом звонили заказчики технического перевода, чтобы уточнить, могут ли они рассчитывать, что текст успеет к следующему номеру. Я уверенно сказала: "Конечно". После разговора собственная уверенность показалась мне сильно преувеличенной. По опыту, я могла предположить, что в ближайшее время у меня будет много помех в работе. И я вспомнила свой недавний почти полный творческий паралич.

Потом я, наоборот, попыталась составить список фраз, которые говорить было можно, но почти все они были так же скучны, как симпозиум в Сингене.

Если нельзя говорить о прошлом и о будущем, это сильно сужает выбор допустимых фраз, особенно учитывая, что исключенными оказываются и все фразы с хоть сколько-нибудь доверительной или сентиментальной интонацией, например нельзя сказать "Ты хорошо выглядишь" — что вообще-то могло бы стать весьма неплохим, осторожным началом разговора, но не в том случае, если ты разговариваешь с бывшим любовником, который немедленно решит, что эта фраза является следствием определенных выводов на его счет, что она спровоцирована ревностью и нацелена на то, чтобы выведать у него, кто же стоит за тем, что он "хорошо выглядит".

Я прервала ненадолго свои размышления, чтобы успеть еще купить на рынке голубей для супа.

Все еще шел дождь. Завтра будет гололед. День прошел, и лучше было не думать, как я могла столь уверенно пообещать им перевод, если я

к нему даже не прикасалась, а вместо этого составляла в голове всякие списки.

Когда я распаковала голубей, они при ближайшем рассмотрении оказались перепелами, и пока я изобретала рецепт перепелиного супа, мне пришло в голову, что я могла бы поговорить с ним о процессе над Валло, которого обвинили в плагиате — о чем как раз сейчас пишут во всех газетах, — ведь в какой-то степени это касается меня, и все же не настолько, чтобы можно было счесть бахвальством. Но тут мне вспомнилось, как много лет назад я ошеломленно разглядывала книжную полку у него дома, на которой, помимо специальной литературы, стояли только "Остров сокровищ", Справочник домашнего умельца в двух томах, Конституция и адаптированное для школьников издание "Собаки Баскервилей", и я подумала, что, пожалуй, разговор о плагиаторе Валло был бы все-таки не слишком уместным и к тому же весьма щекотливым.

Нужно было выбрать что-то нейтральное, но в данном конкретном случае ничего нейтрального не существовало, установила я, а в газетах писали, что женщинам и детям как раз перерезают глотки, пока я варю суп ночь напролет, и время открытия магазинов становится все ближе, а в газете писали, что людей сбрасывают в реки, что люди в автобусах скоро исчезнут с лица земли, что все на свете не более, чем виртуальная реальность, что мир — всеобщее Интернет-кафе; что-то случилось с нашей планетой после того, как мы в юности поцелуями возвращали мир во Вьетнам, а потом люди перестали целоваться или начали целоваться по другим правилам.

Нет, поглощая суп из перепелов, об этом говорить невозможно.

Пока я готовила, ко мне снова вернулось волнение по поводу завтрашнего вечера, но постепенно во мне проснулось и любопытство. Любопытство безумца, которое нарастало не постепенно, а скачками. Странным образом, больше всего меня интересовал вопрос, получается ли у него уклоняться от уплаты налогов и сумел ли он изобрести беспроигрышную систему игры в рулетку. И то и другое он начал обдумывать еще много лет назад и уже тогда так далеко зашел в своих расчетах, что понадобился почти целый вечер, чтобы мне их разъяснить, помню, меня тогда удивили оба его начинания, ибо самой мне никогда не приходило в голову даже задуматься об уклонении от налогов и о рулетке. Я сказала тогда с иронией: "Всем встать, тебя ожидает великое будущее". На это он ничего не сказал, а потом вдруг: "Смешно сказать, в течение нескольких секунд я был очень близок к тому, чтобы спросить тебя, не хочешь ли ты его со мной разделить".

Я посмеялась, но смех мой звучал неискренне.

Теперь значительная часть того будущего была уже у нас позади, мы не стали делить его друг с другом, по крайней мере не каждый день с утра до вечера, и обходились без завтраков за общим столом, и было вроде неплохо.

Вопрос об уклонении от налогов и о рулетке интересовал меня сильнее, чем вопрос о семейном очаге — в какой-то мере я надеялась, что ему есть с кем разделить трапезу, но об этом, конечно, спрашивать его не собиралась. Впрочем, как и о первых двух вещах.

После того как суп был готов, я не знала, что мне делать с очевидно бредовым чувством бесконечной близости с этим человеком. По состо-

янию на настоящий момент, на свете, кажется, не было ни одной фразы, которую я могла бы ему сказать. Я налила себе немного вина "Грюнер Вельтлинер"[1], которое подам завтра на стол, поставила скрипичный концерт Мендельсона и попыталась воспроизвести в памяти его лицо. Ничего не получалось.

Впрочем, каждые две минуты я забывала, на месте ли еще мое собственное, подолгу задерживалась в ванной — мне нужно было время подумать. Кошка стала как-то странно на меня смотреть — с чего я так часто бегаю к зеркалу, а я просто потеряла уверенность, что я — это действительно я, но каждый раз оказывалось, что я и в самом деле все еще я, и это меня ненадолго успокаивало, пока меня вновь не охватывали сомнения, — разумеется, это смешно. Один раз я строго сказала своему отражению: "Смешно и стыдно так вести себя в твоем возрасте только из-за того, что завтра к тебе придет любовник. Может быть, он и придет-то только затем, чтобы попросить взаймы, потому что из-за постоянного уклонения от налогов у него возникли проблемы или система игры в рулетку оказалась все-таки не беспроигрышной; или же он придет, просто чтобы разочек выговориться, многим людям иногда необходимо выговориться хоть кому-нибудь, а мы живем, и уже довольно давно, в такое время, когда просто выговориться стало практически невозможно, и это тоже одна из особенностей мира, который странным образом изменился с тех пор, как мы, едва достигнув совершеннолетия, изображали из себя взрослых, и сама взрослость вгоняла нас в тоску, как салат с макаронами или дачный участок, а теперь, когда большинство из тех, кого я хорошо знаю, достигли удвоенного совершеннолетия, все вдруг начали стремительно молодеть, а те, кто не стал моложе, делается все толще и толще. И лишь очень немногие не становятся ни моложе, ни толще, они становятся старше и, становясь старше, удивляются тому, что выговориться стало так трудно. Но с возрастом те вещи, которые требуют участливого слушателя, не уменьшаются — наоборот, они, как назло, увеличиваются, они разбухают, и теперь их не так-то просто угомонить, их не угомонить только лишь тем, что когда-то мы поцелуями вернули мир во Вьетнам и поддерживали вооруженное или мирное противостояние властям из-за повышения цен на городской транспорт; это ведь совершенно естественно, что возможность выговориться постепенно исчезает в мире, где люди со временем становятся не старше, а только моложе или толще.

Очень может быть, думала я, он придет, чтобы услышать совет относительно семейного очага и связанной с ним части будущего. Со мной этот номер не пройдет. Я тут же вспомнила целую кучу мужчин, которые, едва оказавшись в постели возлюбленной, с маниакальной одержимостью начинали выставлять напоказ интимнейшие детали семейной жизни, выбалтывать их, скажем так, и я уже несколько раз давала себе клятву немедленно выгнать любовника за дверь, едва он в моей постели заведет речь о своем семейном очаге, потому что я не желаю ничего знать о трагедиях, которые возле него ежедневно разыгрываются и неудержимо влекут данного мужчину от этого самого очага прямо ко мне в постель. Для верности я торжественно повторила эту клятву теперь.

Впрочем, все вышеназванные мотивы казались мне все-таки маловероятными.

1. Название австрийского белого вина из винограда сорта "вельтлинер".

Вино еще не охладилось как следует. Вода в батареях булькала так, словно трубы вот-вот прорвутся, и она выльется наружу, тут я подумала: "Только этого мне и не хватало, чтобы сейчас прорвало трубу".

Второй стаканчик пошел еще лучше, и пока звучал концерт Мендельсона, я почти решила не принимать все это слишком близко к сердцу, пусть все будет, как будет. Я сказала себе, что ведь бывают на свете настоящие войны, в которых по-настоящему убивают, сражаются, умирают, я подумала о женщинах и детях с перерезанным горлом, о накопившейся ненависти, о массовых захоронениях, да и кроме ненависти, которая царит повсюду в этой хрупкой действительности, где реальны едва ли не исключительно ненависть, убийство и насильственная смерть, а все остальное — виртуально, ведь жизнь достаточно сложна даже без этой глобальной ненависти, и, главное, она не бесконечна, с каждым днем все менее бесконечна, и эта мысль, которая, правда, завтра будет совсем неплохо подкормлена перепелиным супом, форелью "мюллерин" и фруктовым желе, придает всему, что может произойти завтра, характер относительности.

Но едва лишь мне удалось достичь некоторого внутреннего спокойствия, тут же, к несчастью, мне вновь пришло в голову нечто, прежде сидевшее где-то глубоко в памяти и что бы я предпочла вообще забыть, но вот оно всплыло и теперь причиняло мне боль и напоминало, что, в конце концов, война между мужчиной и женщиной — тоже самая настоящая. В юности я не верила, что это настоящая война, в которой один может погубить другого, меня удивляло, когда я читала в книгах о трагических исходах любви, когда человек бывал полностью покорен любовью, я ничего не знала об увечьях и смертельных ранах, наносимых друг другу мужчиной и женщиной, небесконечность жизни была делом решенным, она иногда меня тревожила, но ведь она простиралась еще так далеко, почти в бесконечность, а любовь в моем случае была скорее неудавшейся предысторией, нашествием саранчи, время от времени врывавшимся в мою жизнь, после чего я получала свою жизнь назад полностью разоренной, но самой мне, думала я, удавалось всегда оставаться целой и невредимой.

Все изменил один телефонный звонок.

Я провела в клинике всего пару часов, операция показалась мне до странного нереальной, дружелюбный деловой врач, медсестра, которая молча сосредоточенно орудовала инструментами, потом слабая тянущая боль в ногах, отвратительный гудящий звук, какой издает работающий пылесос, легкая тошнота — мне дали лекарство, улучшающее кровообращение, и оно быстро подействовало, — несколько часов отдыха в небольшой светлой и уютной комнатке с вазой цветов на столе. Я думала обо всех этих жутких историях про вязальные спицы, знахарей, о процессах над ведьмами, обо всем этом ужасе, который застали еще наши бабушки и даже матери, а здесь не только сами они безукоризненно вежливы, но перед глазами у тебя ваза с полевыми цветами, и медсестра вызывает по телефону такси.

Перед моим отъездом ко мне зашел врач, посмотреть, как у меня дела и еще раз поговорить. Он сказал:

— Я полагаю, дома есть кто-нибудь, кто в ближайшие дни сможет о вас позаботиться.

Я задумалась и пришла к выводу, что среди моих знакомых были либо те, кого я даже не могла себе представить в подобной роли, либо те, от чьей заботы я сама предпочла бы отказаться.

Врач сказал:

— Может быть, ваша мама. Ваш друг или муж.

— Мама живет не здесь, — ответила я, а врач настойчиво продолжал:

— Ну вы же не в одиночку это устроили, кто-то еще принимал участие. И я хотел бы, чтобы сейчас рядом с вами кто-то был.

Меня приятно удивила его забота. На свете в то время заботы уже почти не осталось, может, она и существовала когда-нибудь раньше, но я этого уже не помню, и вдруг я обнаружила, что тронута до слез, но все-таки сказала, что прекрасно справлюсь сама, до сих пор мне это всегда удавалось. И даже легко. Врач склонил голову набок и сказал:

— Вам не следовало бы относиться ко всему так легко.

Я относилась ко всему не так уж легко, но я должна была это сделать, потому что не могла допустить, чтобы некто, кто разделил меня надвое — на Альберту, для которой он, не спросив даже, нужно ли это ей, построил дом, и на Альниньо, которую боялся до такой степени, что страх его порождал ярость, злобу, ссоры из-за того, что было и чего не было, а также мигрень, — так вот, я не могла допустить, чтобы этот некто — пусть даже я любила его всю мою сознательную жизнь, невзирая на то, что он просто не мог выносить одну из моих половин, ту, которой всю жизнь нужно было совсем не то, что он считал правильным, — и изменить тут что-нибудь казалось невозможным, даже если бы я сама захотела, просто нереальным, и даже пытаться что-нибудь изменить значило в корне неверно оценивать ситуацию... И хотя о себе я с успехом могла позаботиться и сама, мне казалось, что на заботу о двоих меня одной уже не хватит.

Я так и сказала врачу, а теперь вот он хочет, чтобы кто-то обо мне позаботился. Слезы навернулись мне на глаза, и я сказала:

— Не беспокойтесь, я прекрасно справлюсь сама.

Врач дал мне свой домашний телефон и сказал, что можно звонить в любое время, днем и ночью, если что-нибудь будет не так, а потом добавил:

— Я имею в виду боль душевную.

Душа у меня разболелась поздно вечером. Это был теплый вечер в начале лета, когда светло допоздна. Перевод Валло продвигался очень медленно, и я часто работала по вечерам, иногда даже по ночам. Когда сумерки сгущались и появлялись первые звезды, я включала зеленую настольную лампу, и вот в такой вечер у меня разболелась душа. Мне показалось, что уже слишком поздно. Чтобы звонить врачу. К тому же все остальное было в порядке, и чем бы тут смог помочь врач. И потом, о своем решении я, разумеется, не сожалела. Мысль, которая верна изначально, неверной не станет и впоследствии. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что же конкретно не в порядке у меня с душой. Мне не хотелось выговориться, потому что сказать тут совершенно нечего. Но это была и не сентиментальность, и не отчаянье, от которого хочется выть, ничего подобного.

Я хотела, чтобы со мной был Надан. И больше ничего. Мне нужно было его присутствие. Не разговор, разговор сейчас был бы особенно труден, ведь еще недавно он поверг меня в ужас своими тремя детскими комнатами, а в таком вот случае перевод с одного способа восприятия действительности на другой особенно затруднен.

Но я подумала, что, если бы он вдруг сейчас просто оказался здесь, моей душе стало бы полегче; мы могли бы немного пройтись, была чудная летняя ночь, и хотя после этого моя печаль обо всем, что нам не удалось, обо мне, о жизни вообще, не прекратилась бы совсем, она перестала бы быть столь невыносимой, потому что его присутствие окрасило бы мою печаль в другой цвет. Примерно так я тогда думала.

И я решила: "Я его попрошу. Он заберет машину из подземного гаража и через двадцать минут будет здесь".

Просьбы в отношениях между мужчиной и женщиной — такая область, которую следует обходить как можно дальше, потому что это минное поле, и особенно много мин закопано там, где просьбы не слишком трудны. Самые легко исполнимые просьбы содержат самое большое количество динамита. Бывает так, что мужчина с легкостью может избороздить вдоль и поперек Альпы на своем велосипеде с двадцатью скоростями или дойти до Северного полюса, но когда женщина, которая его любит, просит позвонить ей в семь часов утра, такой звонок вдруг оказывается выше человеческих возможностей. Принимая во внимание легкость применения и поразительную эффективность описанного оружия, надо признать, что это одно из самых интересных средств борьбы, чье действие при частом использовании становится поистине убийственным, ибо сразу стирает противника с лица земли.

Я позвонила.

Самым ужасным в его ответе было вовсе не быстрое "нет". Хуже всего было пронизывающее ледяное равнодушие, которое в течение последующих двух-трех лет имело достаточно времени, чтобы приобрести осязаемость и убедить меня, что все, происходившее между нами, действительно была война. Самая настоящая.

Внезапно я осознала, что понятия не имею, как принимают любовников.

Это была не только стилистическая проблема.

Ее невозможно было разрешить вопросом "Что ты думаешь о Брамсе?"

Подбежав в очередной раз к зеркалу, я заметила, что искусала все губы и обнаружила лишь отдаленное сходство с самой собой.

Я пришла к выводу, что жизнь близка к тому, чтобы вновь поперхнуться, концерт Мендельсона, казалось, продлится вечно, а я так никогда и не смогу избавиться от страха. Дрожа, я доползла до кровати и смотрела, как из-за мокрых от дождя тополей встает луна. Тонкий серпик. Он до странности криво висел над деревьями, будто его неудачно повесили.

На следующий день я по-прежнему не могла разобраться в многозначных отображениях топологических пространств, но все-таки как-то перевела этот текст и была полна надежд на вечер. Удивительно, о скольких разных вещах приходится думать — не считая мытья волос, — если вечером к тебе придет любовник. Нужно стереть пыль, купить цветы и поставить их в вазы, помыть окна, сменить постельное белье, заодно заметив, что белье с изысканными цветами на пастельном фоне не годится, потому что ты уже не юная девушка, а взрослая женщина, что на темно-синем сатиновом белье пятна от сырости, и их невозможно вывести, а значит, нужно покупать новое. Для форелей мне пришлось приобрес-

ти сковорду с тефлоновым покрытием — я опасалась, что к моим железным они пристанут, к тому же желе не получилось. Желе никогда не получается, даже если положить вдвое больше желатина, и я злилась сама на себя — это следовало предвидеть.

Но, может быть, еще сильнее злилась я потому, что вот ведь взрослый человек, а опять готова впустить в свою жизнь столь унизительную вещь, как любовь, отлично зная давным-давно, что из этого никогда ничего не получается. Знания не помогали, желе было испорчено, и когда наконец раздался звонок в дверь, волосы еще не высохли, а на ногах были домашние тапочки. Не знаю почему, но когда раздался звонок, я подумала: это еще не на самом деле. На самом деле будет потом, когда-нибудь, а это все только прелюдия, только тренировка перед тем, как случится на самом деле. Не знаю, всегда ли так было, всегда ли люди понимали в жизни так же мало, как теперь, или это пришло к нам в последние годы вместе с виртуальной реальностью.

Я услышала на лестнице знакомые шаги, как во сне, но в какой-то момент я должна была проснуться, и только тогда все начнется по-настоящему. Не слишком приятный сон, он напомнил мне что-то мрачное из детства — порку, что ли, — он напомнил мне, как в детстве, когда меня лупили, мне всегда казалось, что это не взаправду, ведь они ничего против меня не имеют, и если даже эта палка для выбивания ковров не останавливается, они все равно против меня ничего иметь не могут, они же меня любят. Я ведь их ребенок, и значит, все это мне только снится. Неприятный сон, но нужно его пережить, чтобы когда-нибудь наконец проснуться. Иногда, когда в квартире подо мной кричат дети, я желаю им мысленно, пусть им лучше приснится такой сон.

Из-за бороды его лицо стало замкнутым. Рот больше не таил никаких следов мигрени. Разумеется, цветов он не принес, только мокрый зонтик, и я не знала, куда его поставить, потому что у меня самой нет зонтика.

Как нечто само собой разумеющееся, он произнес:

— Вот и я.

Я сказала:

— Н-н-да-а-н.

Целоваться мы оба тем временем научились, но борода мешала.

Лосьон для бритья я узнала сразу.

Потом он сказал:

— Мне надо бы позвонить.

Войдя в комнату, где стоял телефон, произнес:

— Вот, значит, как ты живешь.

— Да, — сказала я, так вот, мол, я и живу, а он сказал:

— Никогда не думал, что Альниньо может перевалить за тридцать, — он сказал это таким мягким голосом, что я сразу поняла, сегодня мне нельзя расслабляться. Надо быть начеку.

Пока он звонил, я поставила разогреваться суп из перепелов и обваляла в муке форели.

Он разговаривал минут пятнадцать, потом пришел ко мне на кухню.

Он сказал:

— Завтра нужно отдать машину в ремонт, а жена уже не может водить, она на последних месяцах беременности.

Я подумала: “Хорошо, что он с этого начал. Лучше уж говорить о беременной жене за столом, чем потом, в постели”. Я вспомнила о своей

вчерашней клятве, но суп уже разогрелся, и не было никаких причин выставлять человека за дверь только потому, что он заговорил о беременной жене перед супом, когда это гораздо уместнее, чем в постели. Я сказала:

— Прими мои поздравления.

Он сказал:

— Не стоит сразу же проявлять цинизм.

Он выглядел усталым. Он сказал:

— В прошлый раз были преждевременные роды.

И я сказала:

— Мне очень жаль.

Наконец я надела туфли, и мы принялись за еду.

Он сказал:

— Ты ничего в этом не понимаешь.

Я сказала:

— Нет, откуда.

— Ну не надо сразу обижаться, — сказал он. И добавил: — Просто пришло время завести семью.

Я сказала:

— Прошу тебя.

Мне не понравился упавший голос, которым он это сказал. И сама фраза мне не понравилась.

Потом, к счастью, мы заговорили о том, что университетам не хватает денег на финансирование астрономических исследований, и это очень печально, потому что все астрономические исследования в нашей стране тем самым замораживаются и очень быстро перемещаются в другие страны — по крайней мере, это не было чисто личное, мы говорили о состоянии земли и неба, весьма плачевном, непрозрачном, можно сказать, отвратительном, что сводило на нет все усилия по изучению звезд, хотя еще существовали вроде бы два места, где астрономией можно было заниматься: во всех остальных университетах астрофизику давно приходится довольствоваться мелочевкой, чтением лекций, разработкой базовых курсов, к звездам там даже не подойдешь — и я вспомнила, как много лет назад мы, сидя за совсем другим столом, обсуждали повышение цен на городской транспорт, мирное и вооруженное сопротивление властям — вопрос, который давно уже утратил для нас актуальность, — я просто видела перед собой клеенчатую скатерть, пять нарциссов, которые мы с Руди сорвали в парке и принесли с собой, и грустный стол с общим будущим, которого все мы настолько сильно боялись, что были даже готовы к вооруженной борьбе с этим самым будущим.

Каждый играл чужую роль. Причем все — в разных фильмах.

Я услышала, как он говорит: "У меня такое чувство, что большую часть жизни я проведу не с той женщиной и не в той постели".

Я услышала голос, который в гостиничном номере рисовал мне другое будущее, будущее, в котором я шла с двухместной коляской в супермаркет купить по сниженной цене половину свиной туши в расчете на глубокую заморозку, множество пачек макарон, стирального порошка и пастеризованного молока; и вот что еще заставило меня содрогнуться — вскоре после этого разговора мне довелось попробовать скисшее пастеризованное молоко, которое стало отвратительно горьким на вкус; а потом я вспомнила и о третьем варианте будущего, прерванном хирургическим путем, а теперь, значит, у него был чет-

вертый вариант: дом и беременная жена, потому что пришло время заводить семью.

Мое собственное не казалось мне настолько отвратительным.

Я сказала:

— Надеюсь, суп вкусный?

И он ответил:

— Великолепный. Из чего он?

Я сказала:

— Это должен был быть суп из голубей, которые по ошибке оказались перепелами.

И он то ли с ужасом, то ли с восторгом сказал:

— Ничего себе, ты питаешься. У нас каждый день макароны. Макароны с томатным соусом, макароны с брокколи, пирог из макарон. Беременные женщины больше ничего не едят. От всего остального их мутит.

Я сказала:

— К чему такие подробности.

Но упомянутое им множество разных видов макарон говорило об определенной установке в домашнем хозяйстве и напомнило мне галстук с маленькими зелеными слониками — мне показалось, они отлично сочетаются.

Двойная жизнь стара как мир, подумала я, нарезала салат и положила форелей на сковородку.

— Ты по-прежнему куришь, — сказал он.

Я по-прежнему курила.

— Это требует даже некоторой выдержки, — сказал он, — в наши дни.

Тем временем мое возбуждение совершенно улеглось, и его место заняло разочарование.

Просто удивительно, по-моему, сколь обыденные, будничные вещи обладают неисчерпаемой способностью нас разочаровывать. Даже если у тебя нет больше никаких иллюзий ни по какому поводу, и, значит, ты вроде бы застрахован от разочарований, все равно они тебя настигают постоянно — лично я думаю, это даже хорошо, что они снова и снова тебя настигают, потому что человек должен идти вперед, а когда человек идет вперед, разумеется, что-то его неизбежно разочаровывает — но ведь нельзя же перестать двигаться вперед, и только сидеть на месте или лежать, чтобы избежать разочарований; так вот и живем.

При этой мысли я почувствовала себя совершенно в своей тарелке, но, наверное, это была в большей степени заслуга “Грюнер Вельтлинер”, а не самой мысли.

По крайней мере, тефлоновая сковорода меня не разочаровала.

У меня была еще бутылка виноградной водки. С кофе мы выпили по стопке, и мысли унесли меня далеко-далеко в мой собственный, совершенно другой фильм, в мои собственные представления о счастье: в голове у меня кружились всякие формулировки, и я даже не знала, то ли они появились из моей жизни, то ли из фильма. Мне показалось, что когда-то давно, стоя посреди огромного пустого дома, я слышала, как он сказал:

— Знаешь, я хочу сделать тебя счастливой.

Эта фраза показалась мне совершенно абсурдной. И я ошеломленно сказала:

— Боже, ну какое отношение все это имеет к счастью.

Наверное, на какой-то момент я отрешилась от реальности, пытаясь разобраться в своей тогдашней растерянности — неужто один человек и вправду может сказать другому:

— Я хочу сделать тебя счастливой.

И в этот момент я заметила, что узкая ледяная рука очень нежно, и не скрывая своих намерений, лежит на моей руке. Я подумала: "Все верно. К Альберте пришел любовник".

Любовник, казалось, уже некоторое время что-то говорил и как раз в этот миг произнес:

— Знаешь, конечно я люблю свою жену.

Затыкать уши было поздно.

— Но беременная жена — для мужа это непросто, — продолжал он.

И я подумала: "Так тому и быть".

Мне показалось, что пришло время вспомнить вчерашнее торжественное обещание. Я сказала:

— Уже поздно, а машину завтра везти в ремонт.

Дверь тихонько закрылась.

Эпилог

Тем временем я дописала "К Альберте придет любовник" и, когда Жан-Филипп в следующий раз приехал в Т., дала ему прочитать. Была ранняя весна, теплый, ясный, небесно-голубой день, цвели посаженные Элизой крокусы и примулы, а сама она возилась в саду с горошком, Сесиль играла с кошкой во дворе, совершенно излишняя крыша была готова, оставалось только ее покрасить. Отец Жан-Филиппа расхаживал туда-сюда с сердитым лицом — он был недоволен своим сыном, который не понимает ничего ни в виноделии, ни в жизни.

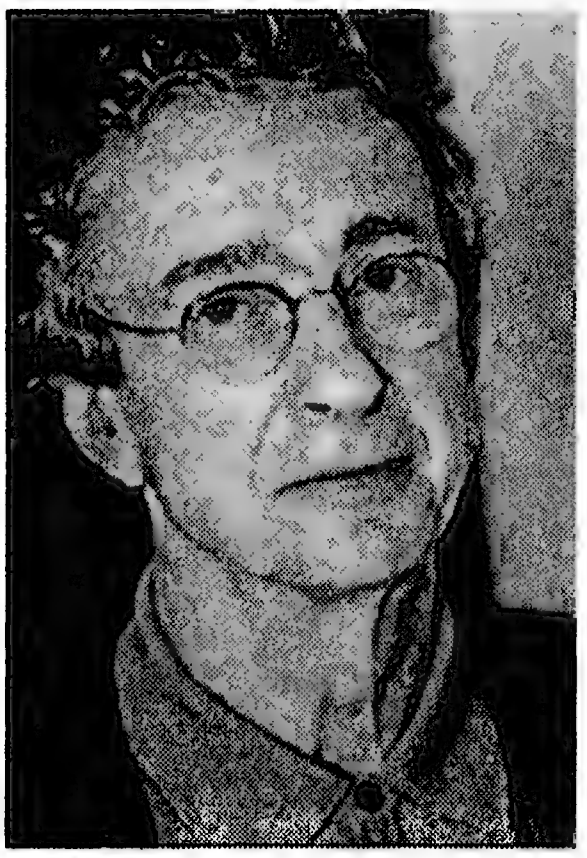
Жан-Филипп прочитал повесть, улыбаясь, вышел из дома и сказал мне весело и чуть насмешливо:

— Мадам, я склоняю перед вами голову.

Смеясь, я ответила:

— Месье, сегодня ваша очередь укладывать спать вашу дочь.

Ч. К. Уильямс



Стихи

Перевод с английского Дмитрия Веденяпина

Зеркало

Казалось бы, сколько можно — всему на свете приходит конец, —
но я до сих пор испытываю нечто вроде шока,

натыкаясь на свое отражение в зеркале, и отвожу глаза.
После смерти отца — а мне сейчас уже почти столько же,

сколько было ему, когда он умер, — я иногда сначала вижу его
и лишь потом, приглядевшись, различаю собственные черты.

Я привык считать, что дело тут в потере чувства своей
неповторимости,
но, вероятно, все еще грустнее: в юности

я полагал, что внешность чрезвычайно значима;
рассматривая в зеркале свою бедную физиономию, я думал:

© 1999 by C. K. Williams
© Д. Веденяпин. Перевод, 2001

“Нет, не то”. Я и сегодня думаю то же самое. Но чего, собственно,
я ищу? Красоты? Едва ли. Мудрости? Вряд ли.

В какой степени счастливая внешность связана с тем, как мы живем
или пытаемся жить?

Я вижу лишь то, что уцелело от моих прежних, неудавшихся лиц.

Но, может быть, стоит проявить снисхождение
и вместо вечно недовольного “нет” сказать себе “да”?

Архетипы

Часто во сне или в полусне я находил твою руку, наши пальцы
сплетались,
и от этих легких касаний-пожатий становилось замечательно легко и
спокойно,
но сегодня утром твоя рука, как-то неловко лежащая на моей,
показалась мне странно-чужой — я словно впервые
увидел ее тугую кожу, проступающие
мышцы и вены, идеально ровный ряд косточек,
похожих на маленькие храмовые колонны.

Вдруг твои пальцы начали быстро-быстро сжиматься
и разжиматься,
словно пытались поймать какое-то юркое пушистое существо.
А потом ты отдернула руку, рывком поднялась
на четвереньки —
пальцы растопырены, лицо закрыто спутанными волосами, —
постояла так и с хриплым стоном-рычанием
упала на живот, отвернула от меня голову, плотно прижала
руки к груди и застыла, послушная некой неведомой силе.

Я надеялся, что ты проснешься, придвинешься, обнимешь меня,
но ты не шевелилась, и я вновь ощутил весь ужас человеческой
разъединенности,
превращающий в ничто даже такое совершенное средство, как
неподвластная времени страсть,
ужас, перед лицом которого рушатся любые союзы. Но вот
твое дыхание стало ровнее; набравшись храбрости,
я дотронулся до тебя, и ты,
как ни в чем не бывало открыла глаза, улыбнулась и своим обычным —
в этом было что-то невероятное, — самым обычным голосом
пробормотала: “Спи, родной”.

Поэт

Все, включая меня, звали его Бобби-поэт, хотя, возможно, это и
не соответствовало действительности,
и он вовсе не был тем, кто творит миры
из музыки слов.

В те странные времена хиппизма и "торжества демократии"
зваться поэтом
и значило быть им.
Тем более что Бобби держался именно так, как по расхожим
представлениям
и надлежит держаться поэту.

Он одевался просто, но со вкусом, говорил мало, а слушал
внимательно,
был неизменно собран и как-то по-особому
трепетно-серьезен.

К тому же он был красив и загадочен, никогда не рассказывал,
откуда он родом
и чем зарабатывает на жизнь, а спрашивать о таких вещах
не полагалось.

Внезапно он исчез и где-то пропадал несколько месяцев,
пока
однажды вечером не возник передо мной в нашей книжной лавке;
выглядел он неважно:

осунувшийся, без своего любимого берета, одна рука
на перевязи;
а когда я шагнул к нему, он отшатнулся, словно испугавшись,
что его могут ударить.

Правда, он сразу же усмехнулся, но как-то невесело; его веки
были полуприкрыты,
и мне даже показалось, что он под кайфом, хотя затем
я решил, что ошибся.

И все-таки, чтобы удержать меня в поле зрения, ему пришлось
слегка откинуть голову назад,
казалось, он наблюдает за мной из какой-то
неведомой точки внутри себя.

“Где ты пропадал, Бобби?” — спросил я. Сначала он вообще
ничего не ответил,
но когда я
повторил вопрос, прошептал: “В больнице, старик; меня забрали...
у меня был нервный срыв”, —

и снова провалился в улыбку и тишину. “Что у тебя
с рукой?”
Он опустил плечо, повязка приоткрылась, и я увидел, что в ней
спрятан длинный нож.

“Выглядит страшновато,” — сказал я. “Так надо”. Он выпрямился,
и повязка закрылась.
Я был потрясен. Значит, ему кажется, что за ним кто-то охотится.
Уж не подозревает ли он меня?

Он уставился на меня неподвижным взглядом, от которого мне стало
не по себе; мы были приятелями,
но, в сущности, я его почти не знал. “Где твоя книга, Бобби?” —
спросил я наконец.

Раньше он всюду таскал с собой толстенную амбарную тетрадь,
сплошь исписанную
столбиками его стихов, “книгу”, которую, по слухам, никто,
кроме него, не читал.

Он ничего не ответил; я помню, что, хотя магазин был ярко
освещен, сам Бобби
все время оставался в тени,
словно свет не мог пробиться сквозь толщу
его несчастности.

Несмотря на всю нашу ревность, мы, поэты, при случае стараемся
помочь друг другу,
жизнь слишком непредсказуема, а нам так не хватает
тепла и заботы.

Принц ты или нищий, где гарантия, что ты поэт?
Как знать,
чего стоят и стоят ли чего-то вообще твои писания?
Неуверенность в себе — наша вторая натура.

И вот, глядя на Бобби, я почувствовал, что он устал, смертельно устал
от всего этого —
оттого, наверное, и его нервный срыв;
но чего он ждал от меня?

Я был, мягко говоря, не самым заметным поэтом в округе;
публиковался редко, не участвовал в вечерах,
не преподавал, хотя, если вдуматься, может быть, Бобби
это и было нужно.

Кто-то сказал: чтобы создать стихотворение, нужно сначала
создать поэта, способного его написать.
Возможно, Бобби решил, что я догадываюсь: тот, кого создал он,
его предал.

Бобби без прошлого, Бобби невежда, а может быть, и Бобби
бездарность —
не я ли это?
Мне было известно не хуже его, как нелепо считать свою
заурядную личность
чем-то особенным.

Но если Бобби отрекся от поэзии, что надлежало делать мне?
Одобрить его шаг? Осудить?
Начать расхваливать его стихи? Возможно, я бы так и сделал,
если бы хоть немного их знал.

А потом я понял, что наша встреча — это прежде всего
поединок,
что Бобби хотелось бросить вызов мне и всему тому, что я
в тот миг представлял.

Признаюсь, мне даже польстило, что он выбрал
именно меня,
если бы не этот нож... тонкий, с зазубринами, для резки хлеба,
а не костей и сухожилий,

и все-таки... я невольно покосился
на его жалкие ножны,
и Бобби, перехватив мой взгляд, подобрался,
стал жестче, злее.

Нет, впрямую он мне не угрожал, но я испугался, и Бобби,
почувствовав мой страх,
пришел в восторг от того, что ему удалось вызвать во мне
такие сильные эмоции.

Его охватила дрожь удовлетворения или предчувствия.
Вот мое стихотворение,
словно бы говорил он, думаешь, твои
стоят большего?

А потом это мгновение ушло, и Бобби отступил, хотя и
не сдвинулся с места,
и отвел взгляд, хотя и продолжал смотреть на меня. Однако
мы оба знали, что теперь уже

ничего не произойдет, а его угроза — не более чем игра,
неловкая попытка скрыть
врожденную мягкость и чуткость, которые бы так ему пригодились,
продолжай он писать.

Потом, не говоря ни слова, он повернулся и вышел,
обремененный
своей и моей неспособностью к схватке, бросив меня
вместе со всеми моими книгами.

Что бы ни приключилось с ним в дальнейшем, я и сегодня мысленно
называю его Бобби-поэт,
надеюсь, что судьба была к нему чуть менее сурова, а Муза никогда
не забывала о своем неверном избраннике.

Сон

Не удивительно ли, что мы так не похожи на себя
в темных зеркалах сна, в этих банальных и неотвратимых
провалах ночного беспамятства?
Я давно уже бьюсь над этой загадкой,
но так и не смог привыкнуть к лавине несчастий,
обрушивающихся на меня во время так называемого отдыха.

Отдыха? Сегодня мне приснилось, что моя любимая
объявила мне и прочим насельникам моего сна, что желала бы
расширить спектр своих сексуальных впечатлений.
Мои мольбы не возымели на нее никакого действия.
Почему герои наших снов ведут себя именно так?
Откуда берутся эти кошмары?

Считается, что сны помогают реализовать тайные вожделения,
выявляют наши скрытые низменные наклонности.
Такая точка зрения всегда представлялась мне неубедительной.
Мне снится боль, горе, бесславие;
я просыпаюсь с криком ужаса.
Неужели какая-то часть меня нуждается в этой пытке?

Когда-то в ходу были специальные сонники.
Каждому сновидению соответствовало свое символическое значение.
Древние китайцы полагали,
что сны следует толковать наоборот:
если вам приснилась дорога, — значит, вы останетесь дома,
смерть означает долгую жизнь.

Ну конечно! В действительности моя любимая
хотела сказать, что любит только меня.
Холод в твоих глазах, бесценная моя, символизировал тепло,
твое стремление к непостоянству свидетельствовало о верности,
многочисленными любопытными являлись мы сами — ты и я,
восхищенно созерцающие взаимную преданность и жар обоюдного
влечения.

Безумные сны! Безумная любовь!

Жоэль Норман

Пьер Донсьо

Воспоминания повара Елисейского дворца

Французская кухня пяти президентов

Фрагменты книги

Перевод с французского Анастасии Лестер

Вступление

ЭТОТ Дворец совершенно особенный, единственный в своем роде, Лучший Дом Франции... Отсюда, из резиденции президента Французской Республики, Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран вершили судьбу страны. Из его высоких окон и нынешний президент Жак Ширак пристально следит за порядком в государстве. Именно здесь, под величественными сводами Елисейского дворца, принимаются важнейшие политические решения и устраиваются торжественные приемы в честь сильных мира сего. Никто из простых смертных не может войти в главную резиденцию Республики без специального пропуска. Многовековая история Елисейского дворца неразрывно связана с судьбой Франции, всю мощь и величие которой этот роскошный дом призван собой воплощать.

Однако президент Франции должен обедать и ужинать так же, как обычный человек, и в этом смысле он ничем не отличается от рядового гражданина. У него есть свои привычки и маленькие слабости. Нужно суметь угодить его вкусам при любых обстоятельствах и в любой точке земного шара: в Париже, Пекине или Уагадугу. "Наша задача – принимать решения и идти вперед, а тылы подтянутся и все исполнят", – говорил Шарль де Голль в свое время. Мы и есть этот самый тыл, который должен претворять высочайшие решения в жизнь.

В жизни Елисейского дворца много тайного и явного, предопределяемого двойной, подчас противоречивой его сутью. С одной стороны, он несет в себе признаки государственного учреждения, являясь лицом Французской Республики, а с другой – остается добротным буржуазным домом, где не только работают, но и просто живут его временные хозя-

© Éditions de la Table Ronue, 1999
© А. Лестер. Перевод, 2001
Полностью книга будет опубликована в Издательстве Независимая Газета.

ева — глава государства и его семья. На официальном приеме президент и за столом остается при исполнении своих обязанностей. Содержание его тарелки способствует укреплению престижа Франции в глазах всего мира. Но, удаляясь в частные покои, президент становится обыкновенным человеком: любящим мужем, отцом, дедом, который хочет спокойно пообедать в кругу семьи или поужинать в одиночестве. "Скажи мне, что едят в Елисейском дворце, и я скажу тебе, чем живет Франция", под этим афоризмом вполне мог бы подписаться известный французский писатель и гастроном Брийя-Саварен.

В 1965 году я вошел под своды Елисейского дворца и остался там сначала в качестве незаметного подручного на кухне, чтобы потом подняться по профессиональной лестнице до самой ее вершины и стать шеф-поваром главной резиденции страны. Я отдал Дворцу 35 лет своей жизни. Все эти годы я служил ему верой и правдой, приготовив без малого 12 000 трапез для его хозяев и гостей! Моя книга написана с единственной целью — немного приоткрыть завесу над той лучшей частью моей жизни, которую я провел бок о бок с выдающимися и поистине уникальными людьми. На мою долю выпала редкая честь готовить для всех пяти президентов послевоенной Франции. Я имел счастье сопровождать их в заграничные турне и в частные поездки, которыми особенно дорожил. Мне случалось готовить официальные приемы в Елисейском дворце и за рубежом, а также приватные трапезы во время каникул или в выходные дни. Я преисполнен гордости от того, что мог не только наблюдать, но и по мере сил разделять будничные заботы хозяев Дворца. О каждом из них я сохранил самые теплые воспоминания. Теперь они лежат перед тобой, читатель...

Валери Жискар д'Эстен

После кончины Жоржа Помпиду незамедлительно наступила следующая эпоха в истории Елисейского дворца. С новой силой взметнулись и закрутились политические вихри. 5 апреля 1974 года Ален Поер во второй раз за последние четыре года расположился во Дворце и зажил в нем, как и раньше, ничуть не изменяя своим привычкам. Впрочем, теперь он уже не стал выдвигать свою кандидатуру на пост президента Республики. В день похорон Жоржа Помпиду о своем участии в выборах объявил Жак Шабан-Дельмас. На следующий день его примеру последовал Франсуа Миттеран, выдвинув свою кандидатуру от блока левых партий. Все того же 5 апреля Эдгар Фор, президент Национальной ассамблеи, официально заявил, что и он намерен участвовать в предвыборной борьбе. Но не прошло и несколько дней, как Фор снял свою кандидатуру. В какой-то момент Пьер Месмер тоже решил бороться за самый высокий пост в государстве, но в конце концов он все же предпочел воздержаться от этого.

8 апреля 1974 года Валери Жискар д'Эстен, все еще министр экономики и финансов действующего правительства, последним объявил об участии в президентских выборах. При этом он не преминул подчеркнуть, что предпочел соблюсти приличия и выждать некоторое время после похорон последнего президента, прежде чем выйти на политическую арену. "Жис-ка-ра к штур-ва-лу!" — скандировали его сторонники во время митингов в поддержку своего кандидата, показанных во всех но-

востных программах. На этот раз нам удавалось выкраивать немного времени, чтобы следить по телевизору за последними известиями. "Я хочу посмотреть Франции прямо в глаза, раскрыть ей мои замыслы, а в ответ внимать ее чаяниям", — так говорил самый молодой из кандидатов в президенты. В 1974 году Жискару д'Эстену исполнилось всего лишь 48 лет. <...>

Нам стали известны результаты выборов еще до официального их объявления. Надо признаться, мы почувствовали облегчение, несмотря на то что победа кандидата от правых партий могла принести перемены и на дворцовую кухню. Итак, в тот день, 19 мая, Валери Жискар д'Эстен с трудом вырвал победу у Франсуа Миттерана, все же обойдя своего основного противника: 50,8 процента против 49,2 процента. Их разделяло лишь 425 599 голосов. "С сегодняшнего дня во французской политике начинается новая эра", — заявил, узнав о победе, новый президент Республики, находившийся в тот момент в городке Шамальер, где он остался после голосования.

Уже само прибытие президента в Елисейский дворец 27 мая ознаменовало собой начало осуществления тех перемен, которые обещал Жискар Д'Эстен в предвыборной программе. Дело в том, что по традиции после торжественной церемонии в Триумфальной арке он должен был проехать по Елисейским полям ко Дворцу на машине. Валери Жискар д'Эстен вместо этого проделал весь путь пешком. Кроме того, и в день своего вступления в должность, и на официальных фотографиях во всех мэриях Франции президент должен был предстать во фраке, украшенном подвеской Большого креста ордена Почетного легиона. Ничего подобного! Жискар д'Эстен ограничился строгим костюмом. Новый президент Франции был воплощением элегантности. Он носил костюмы с чуть приталенным пиджаком, а обувь его всегда была начищена до блеска. Стилем одежды Жискар д'Эстен сильно отличался от предшественников. Этот президент придавал большое значение своему внешнему виду, каждая деталь которого, казалось, тщательно продумывалась. Впрочем, так оно и было на самом деле. Через несколько дней после принятия присяги новым главой государства Жак Лартиг, один из самых известных французских фотографов, сделал официальный портрет Жискара д'Эстена. На нем улыбающийся и загорелый президент предстал в полный рост на фоне вольно реющего на ветру государственного флага. Даже в этой композиции чувствовалось полное изменение стиля.

На свой первый обед во Дворце Валери Жискар д'Эстен пригласил пять государственных мужей Франции: Алена Поера, который только что передал ему ключи от Дворца, Эдгара Фора, президента Национальной ассамблеи, Пьера Месмера, бывшего премьер-министра Франции, Эмиля Роша и Роже Фрейя. Гости прибыли к 13 часам. Несмотря на то что погода была теплой, обед прошел внутри резиденции. Марсель Ле Серво составил меню в классических традициях дворцовой кухни, но оно не отличалось особенной изысканностью. На закуску были поданы ломтики дыни с ветчиной, затем бычьи отбивные Шароле по рецепту лесничего, на гарнир — ассорти из молодых овощей, салат, сыр и, наконец, на десерт — шарлотка с яблоками. Из вин президенту и его гостям были предложены портвейн Шамбертен 1964 года и шампанское Теттингер Комт де Шампань того же года. На следующий день, 28 мая, второй президентский обед во дворце был более легким. Сами того не ве-

дая, мы приготовили меню, которое больше отвечало вкусам Жискара д'Эстена, чем предыдущее. Президент угощался спаржей по-аржентейски, затем ему подали сюпрем "Кардинал" – запеченную в духовом шкафу рыбу тюрбо, отварной картофель, посыпанный свежей петрушкой, салат, сыр и на десерт мягкое сливочное ванильное мороженное с малиновым сиропом. Из вин – Мерзо-Шарм 1969 года, Кло-де-ля-Винь-о-Сен 1966 года и шампанское Дом Периньон 1964 года. Марсель Ле Серво все еще не получил никаких указаний относительно того, как, в какой манере ему надлежит отныне готовить. Нашему шеф-повару приходилось работать вслепую. У президента было, разумеется, много других забот и более неотложных дел.

На следующий день после вступления в должность Жискар д'Эстен назначил премьер-министром Франции Жака Ширака. Стало быть, вскоре новому главе правительства предстояло познакомиться с кухней Ролана Пелуа, бывшего шеф-повара Елисейского дворца, который вот уже несколько лет работал в Матиньоне, резиденции премьер-министра Республики...

Президент тем временем осваивался в Елисейском дворце. Время шло, лето уже было не за горами, роскошный дворцовый парк расцветал все пышнее, а в самой резиденции появлялись все новые и новые лица. К команде президента Жискара д'Эстена вскоре присоединились советники: Жан Серизе и Лионель Столерю, а также управляющий делами Елисейского дворца Клод Пьер Броссолет и его заместитель Ив Каннак. Таким образом, все больше людей из ближайшего окружения Жискара д'Эстена перебрались во Дворец. Означало ли это для нас, поваров, увеличение нагрузки? Скорее всего. Нужно ли будет готовить больше обедов и ужинов? Вполне возможно. Но пока мы ничего еще точно не знали. Наконец Марселя Ле Серво уведомили, что он остается в прежней должности, но не было сказано ни слова о кулинарных предпочтениях президента. У нас на кухне все оставалось по-прежнему. Поставщики были все те же, а мои закадычные приятели и коллеги, сохранив свои места, продолжали усердно работать... Шеф-повар умел держать нас в ежовых руковицах и не давал ни на секунду расслабиться.

– Ситуация, в которой мы с вами находимся, – наставлял нас Ле Серво, – сродни первому раунду в боксе или первой схватке в регби, когда игроки только еще примериваются, присматриваются друг к другу, стараясь оценить своего противника. В нашем случае мы имеем дело не с противником, а с президентом, которому нужно угодить. Так что, за работу!

Каждый обед или ужин был для нас настоящим испытанием, если не сказать экзаменом. Хотя Ле Серво неоднократно пытался выяснить у шеф-повара Министерства экономики и финансов вкусы и привычки его бывшего начальника, нынешнего президента, он ничего не добился. Нам, стало быть, приходилось работать "на ощупь". Зато указания относительно изменения своих обязанностей очень быстро получил интендант Дворца. Новый хозяин пожелал, чтобы Еннекен каждое утро в десять часов являлся в его кабинет и получал руководства к действию на целый день. Отличительной чертой стиля Жискара д'Эстена было то, что он держал все в своих руках и лично заботился о собственном доме, в данном случае о Елисейском дворце. Встречи с интендантом никогда не затягивались, поскольку президент всегда точно знал, чего хочет. Еннекен скрупулезно записывал высочайшие повеления, которые каса-

лись работы не только кухни, но и метрдотелей, садовников, всех остальных служб.

Президент интересовался расположением столов во время официальных обедов, винными погребами Дворца, перестройками, которые были осуществлены здесь в предыдущие годы, тем, каким образом обновляются сервизы. Наш новый патрон вел себя как настоящий хозяин. При этом он не жил во Дворце постоянно. Он имел обыкновение почти каждый вечер возвращаться в квартиру на улице Бенувиль в XVI округе Парижа, где обитали его жена и четверо детей. Мы ежедневно наблюдали, как он покидал Дворец, выезжая на своей машине через арку в восточном крыле прямо на улицу Елизе. Иногда он предпочитал более незаметные ворота, находящиеся в глубине дворцового парка. В этом случае президент попадал на авеню Мариньи. Для нас это было необычным зрелищем. Раньше мы никогда не видели, чтобы президент Франции сам садился за руль собственной машины и отправлялся домой или ездил по Парижу. Так, с каждым днем все четче проявлялся его стиль управления и Дворцом, и государством.

Каждое утро Ле Серво, как и раньше, от руки писал варианты меню, которые затем передавались президенту. Через несколько часов или на следующий день они возвращались обратно, но уже с пометками Жискара д'Эстена, сделанными синими или зелеными чернилами. Он всегда использовал один из этих цветов, чтобы выделить свои замечания. Но, разумеется, президент не довольствовался только этими письменными посланиями в своих отношениях с нами. Ему нравилось общаться с кухней напрямую. И я стал выполнять роль телеграфиста, передающего шеф-повару пожелания нового патрона.

Всякий президент хотел чувствовать себя в Елисейском дворце как дома. Жискар д'Эстен, как и его предшественники, желал оставить след в истории Первой резиденции Франции. Он возродил тот стиль, который, по его мнению, больше соответствовал духу Дворца. Всего за несколько месяцев отобранные в запасниках Государственного мебельного фонда живописные полотна, золоченые украшения, лепнина, инкрустированные панно и мебель из ценных пород дерева вновь появились в дворцовом интерьере. При третьем президенте Пятой республики все атрибуты современности, введенные Жоржем Помпиду, из Дворца исчезли. Впрочем, даже если менялись декорации, дворцовые порядки и традиции оставались незыблемыми. Так же, как и Помпиду, президент Жискар д'Эстен обедал всегда в 13.10. В половине первого один из подручных нагружал тележку почти уже готовыми блюдами и доставлял их на кухню частных покоев президента. Как всегда, чтобы перейти из западного крыла Дворца, где располагалась основная кухня, в восточное, подручному приходилось пользоваться подземным коридором, тратя на это четыре минуты. Немного позже, минут через двадцать, шеф-повар или я присоединялись к нему, чтобы проследить за последними приготовлениями и подачей блюд на стол. Последнее входило в обязанности метрдотеля, неизменно одетого в форменный костюм.

В конце третьего президентского обеда, уже во время десерта, на пороге маленькой кухоньки при частной столовой вдруг появился сам Жискар д'Эстен. Я был в полном замешательстве, горько сожалея, что никто меня не предупредил, что он собирался сюда заглянуть. Я хотя бы надел чистый фартук и свежую рубашку, поскольку прекрасно знал: пре-

зидент обращает особое внимание на внешний вид своих служащих. В тот день, как это часто бывало и во все последующие годы его правления, Жискар д'Эстен обедал в полном одиночестве. Войдя на кухню, он довольно вяло пожал мне руку. Ладонь у него была такой же узкой, как и лицо...

— Добрый день, месье. Обед был прекрасным, но я хотел бы переговорить с вами вот о чем...

Дальше посыпались вопросы: обо мне, о моем профессиональном пути, о моих нынешних обязанностях, о моем доме, жене и детях. Он расспрашивал о количестве подручных на кухне, организации ее работы... И я не находил в нем ни надменности, ни холодной отчужденности, о которых писали газеты. Напротив, он показался мне душевным и открытым. Жискар д'Эстен действительно искренне интересовался делами нашей кухни. Он старался помочь мне побороть смущение. Но я, не выдерживая его проницательного взгляда, отводил глаза. Я почти что автоматически отвечал на вопросы, с трудом строя фразы и выговаривая слова. Так сильно было впечатление, произведенное на меня визитом президента. Одним своим присутствием Жискар д'Эстен подавлял собеседника не только морально, но и физически. Поговорив со мной на общие темы, президент сообщил наконец, зачем, собственно, пришел: он был недоволен десертом. Впрочем, сливочное мороженное само по себе было изумительным.

— Вы готовите его сами на дворцовой кухне?

— Разумеется, господин президент.

Оказалось, что Жискару д'Эстену не понравилось то, что десерт был украшен засахаренной розой. Он пожелал, чтобы ничего похожего отныне ему не подавалось. Никогда! Жискар д'Эстен говорил спокойно, но очень твердо. Мы стояли лицом к лицу. Я терялся в догадках: то ли он был не в восторге именно от розы, эмблемы социалистической партии, возглавляемой его соперником Франсуа Миттераном, то ли просто такого рода гарнировка блюд была совершенно не в его вкусе. Я так никогда и не узнал подлинную причину его недовольства. В любом случае, Жискар д'Эстен попросил воздержаться от всякого рода декоративных завитушек. До этого у него не находилось времени передать на кухню свои пожелания. Но теперь он хотел бы надеяться, что все услышанное я незамедлительно сообщу шеф-повару. За несколько минут президент дал мне точные указания относительно блюд, которые отныне он желал видеть на столе, не забыв и о сервировке. Самое главное — простота и легкость.

— Да, и, пожалуйста, никогда не готовьте мне чечевицы!

— Все будет исполнено, господин президент.

— Спасибо, месье Норман. До свидания и приятного вам вечера.

Я покинул кухню, не пожав ему руки, только склонил голову в знак прощания и поспешил на нашу основную кухню, чтобы рассказать шеф-повару о знаменательной встрече. Наверное, Ле Серво пожалел, что не он в тот день готовил ужин. Он выслушал меня, задал несколько вопросов, делая пометки в блокноте. Затем спокойно высказал свое мнение об услышанном. Шеф-повар пытался понять нового патрона. Это было очень важно для всей последующей работы на кухне. С каждым днем мы узнавали больше и больше о вкусах Жискара д'Эстена. Они сильно отличались от вкусов его предшественника Жоржа Помпиду. Ведь двух президентов разделяло целое поколение. Кстати, вкусы двух президентов

соответствовали их физическому облику. Если Жоржу Помпиду нравилась сытная кухня, то Жискар д'Эстен, следивший за своей фигурой, предпочитал, напротив, легкий стол. Он ненавидел блюда с подливками, любил легко усваиваемую пищу, ел много рыбы.

Президент часто ставил нам в пример новый способ приготовления блюд, недавно разработанный поварами лучших парижских ресторанов. Его создателем был Поль Бокюз и его помощники. Способ этот как нельзя лучше отвечал вкусам Жискара д'Эстена. В общем и целом новейшая поварская школа заменила традиционное долгое томление быстрым, что называется "на скорую руку", приготовлением блюд. Все готовилось в мгновение ока, чуть ли не в последнюю минуту, в отличие от большинства классических рецептов, которые требовали многочасового или даже многодневного колдовства над яствами. Слишком жирно, слишком долго и слишком сложно! Отныне ничего не надо было долго томить, тушить или часами варить. Провозглашался принцип простой жарки на сковороде самых разнообразных продуктов: лангустов, королевских креветок, морских гребешков, говядины или телятины... Кроме того, в согласии с современными тенденциями в поварском искусстве претерпели существенные изменения сервировка и подача кушаний. Долой блюда, да здравствуют тарелки! Отныне в ресторанах клиентам больше не приносили внушительные блюда на несколько персон, а подавали каждому его порцию.

Эта манера подачи блюд, позволявшая поварам ресторанов экономить продукты, разумеется, была неприемлема для обслуживания гостей в Елисейском дворце. Конечно, кухня резиденции главы государства постепенно восприняла и стала использовать многие новые способы приготовления блюд. Но далеко не все нам подходило. Так, мы продолжали и продолжаем по сей день подавать еду исключительно на серебряных блюдах вне зависимости от количества гостей. Для обеда на 350 человек мы готовим "35 подач" или, иначе говоря, 35 блюд, каждое из которых рассчитано на десять приглашенных. Хотя у Марселя Ле Серво душа и не лежала ко всяческим кулинарным нововведениям, ему все же пришлось принять их во внимание. Дворцовая кухня переживала в этот момент своеобразную "культурную революцию", и она происходила без особого шума, но с видимыми результатами. Нам не дано было выбирать. Обеды и ужины даже по случаю официальных приемов стали намного более легкими. <...>

Винный погреб Дворца, хранящий в своих недрах около 15 000 бутылок разнообразных вин, находился в ведении интенданта. Еще при Помпиду кухня погребом не занималась. Погреб оставался под опекой интендантской службы. Президент Жискар д'Эстен был любителем и знатоком вин. Как и его предшественник, он всегда указывал в меню, из какого именно сорта винограда или какого года вина он желал бы попробовать за обедом или ужином.

Время шло. В стране начали происходить перемены, обещанные президентом в ходе предвыборной кампании. Национальная ассамблея приняла закон о наступлении совершеннолетия в 18 лет, закон об абортах. Между тем Дворец приспосабливался к новому ритму жизни. Теперь в нашей бригаде на кухне стало девять поваров. Больше стало и метрдотелей. Ведь присутствие в резиденции советников Жискара д'Эстена требовало от служащих дополнительных усилий, поскольку и они устраивали обеды для своих гостей. В остальное время обед подавался им в

рабочие кабинеты. Мы все лучше и лучше узнавали нрав и вкус нашего хозяина и называли его между собой Великан. Ни один из президентов не остался без прозвища в Елисейском дворце.

Эта проклятая новая поварская школа отравляла нашему шеф-повару жизнь. Случалось даже, что у нас никак не получались некоторые блюда, которые так любил президент, как, например, пирог с яблоками. Жискар д'Эстен, в отличие от Жоржа Помпиду, вечером устраивал приемы довольно редко, предпочитая ужинать в ресторанах. Там он пробовал разнообразные блюда и затем просил нас приготовить их. Разумеется, Ле Серво исполнял его пожелания, не догадываясь, впрочем, о том, что, возможно, в основу блюд легли совсем не те рецепты, которые знал он. Шеф-повару приходилось принимать во внимание все веяния в кулинарной моде, что ему далеко не всегда удавалось. Так, существует великое множество рецептов приготовления яблочного пирога. Но Жискар д'Эстен и Ле Серво имели совершенно разные представления о том, каким должен быть этот злосчастный пирог. По мнению шеф-повара, он начинялся кремом, а затем сверху выкладывались тонкие яблочные дольки. Президент же предпочитал начинку из яблочного пюре и считал, что такой пирог должен быть покрыт слоем из маленьких кусочков яблок. В результате они долго не могли понять друг друга. Из-за этого взаимного непонимания чуть было не пострадал кондитер Франсис Луаже. Ле Серво поручал ему приготовить яблочный пирог так, как тот считал нужным. При этом несчастный Франсис ничего не знал о пожеланиях президента. Кончилось это тем, что Жискар д'Эстен сказал однажды:

— Если кондитер не умеет готовить настоящий яблочный пирог, его надо сменить.

С этого дня яблочный десерт готовился исключительно по рецепту Жискара д'Эстена.

Иногда лучше было напрямик спросить президента о его гастрономических предпочтениях. Я так и поступил, воспользовавшись подходящим случаем, и смог выяснить его мнение относительно профитролей, с которыми у нас были те же сложности, что и с яблочным пирогом. Каким должен быть сам эклерчик профитроля, чтобы понравиться президенту: мягким или, напротив, хрустящим? Однажды осенью я и мой подручный прибыли в замок Рамбуйе накануне президентской охоты. В отличие от Помпиду Валери Жискар д'Эстен любил проводить вечер перед охотой в замке. Гостей обычно не было, они приезжали только на следующее утро. В тот вечер за полчаса до обеда президент, только что приехавший из Парижа, вдруг появился на кухне. Он любил заставать врасплох. Надо было всегда быть начеку, в любой момент ожидая услышать его уверенные шаги в коридоре.

— Добрый вечер, Норман. И что же вкусненького вы приготовили сегодня на ужин? — спросил Жискар д'Эстен, потирая руки.

Президент очень быстро стал называть меня Норманом. Он, впрочем, обращался по фамилиям ко всем служащим, которых часто видел. Я пересказал ему меню: консоме с трюфелями, рыба лаврак и профитроли. Заметив, что он пребывает в хорошем расположении духа, я осмелился задать ему свой вопрос:

— Кстати, господин президент, позвольте у вас спросить, вы любите, чтобы профитроли были мягкими или хрустящими?

— Я предпочитаю мягкие, Норман.

— Отныне и всегда, господин президент, вам будут подавать только мягкие профитроли.

— Очень хорошо, желаю вам приятного вечера.

С этими словами он ушел так же быстро, как и пришел. С тех пор мы ни разу не получали нареканий по поводу профитролей. Дело в том, что существует два способа их приготовления. Если сразу начинить профитроли мороженым и положить в холодильник, то они станут жесткими и суховатыми. Даже политые сверху в самый последний момент горячим шоколадом, они все равно не будут мягче. Если же, как только эклерчики испеклись, поместить их на короткое время в полиэтиленовый пакет, то они помягчают. Затем, перед самой подачей на стол, останется только положить в них начинку, и все готово! <...>

Весь уклад жизни Елисейского дворца был построен так, чтобы исполнялось малейшее желание главы государства, и уклад этот менялся в зависимости от характера президента. Впрочем, привычки Жискара д'Эстена не слишком отличались от привычек Жоржа Помпиду. Согласно своему положению и обязанностям оба проводили летний отпуск в Брегансоне. В охотничий период Жискар д'Эстен со всей семьей выезжал в замки Рамбуйе или Марли, где активно охотился до закрытия сезона. Выходные проводил либо в Париже, либо в Отоне[1].

Марсель Ле Серво доверил мне сопровождать Жискара д'Эстена в поездках. Вся моя жизнь, включая отпуск и выходные, зависела теперь от президентского расписания. Когда-то Жорж Помпиду, отправляясь в Брегансон или Кажарк, брал с собой Ваненжа Ванклефа. Президент, его сменивший, требовал, чтобы трапезы во время каникул или поездок, где бы он ни находился, были так же безупречны, как и в Елисейском дворце. Я готовил неофициальные обеды и ужины президенту в его основной резиденции, потому и стал ездить на охоту, за границу или в отпуск вместе с ним, точнее в то же время, что и он. <...>

Образ жизни в Брегансоне при Жискаре д'Эстене сильно изменился. В первое лето офицеры охраны носили легкую, менее формальную, чем во Дворце, одежду. Многие позволяли себе не застегивать ворот рубашки, а некоторые даже щеголяли в шортах — ведь было очень жарко, — и порицаний за это они никогда не получали. Приехав в форт, Жискар д'Эстен тут же призвал их к порядку. Близость моря и палящее солнце не отменяли, по его мнению, более строгих костюмов. Президент вызвал начальника охраны и потребовал, чтобы отныне все офицеры были на службе при галстуках. Он сказал это спокойным тоном, не допускавшим, впрочем, возражений. Но никому и в голову не пришла бы подобная дерзость.

Следующим летом уже и официанты должны были носить в Брегансоне специальную "униформу". По приказу президента были заказаны белые футболки с надписью "Форт Брегансон" на груди слева. К ним в придачу каждому из них выдали белые брюки и белые же ботинки. В общем, получился весьма элегантный ансамбль. Жискар д'Эстен проводил целые дни в форте, иногда совершая вылазки на пляж. Катер морской охраны курсировал вдоль берега, не позволяя любопытным приближаться к форту, особенно фоторепортерам, мечтавшим снять загорающего на солнце президента. <...>

1. Отон — небольшой город в центральной части Франции, недалеко от Шартра.

Летний отпуск — это святое. Он проходил под знаком полного раскрепощения и отрешения от дел. Я встречался с президентом каждые два-три дня, чтобы показать ему предложения по меню. Сначала мое общение с Жискаром д'Эстеном происходило так же, как и в Елисейском дворце. Интендант форта передавал ему меню, написанное мною от руки. Сделав свои замечания, уточнив количество кувертов, если оно было уже известно, и пометив, какое вино ему хотелось бы отведать, президент возвращал мне, опять-таки через интенданта, исправленное меню. К слову, бутылки с вином привозились из Парижа. Постепенно у меня вошло в привычку обращаться к Жискару д'Эстену напрямую. Я встречал его в столовой или рядом, в патио, расположенном на самой верхотуре форта. Оттуда в ясную солнечную погоду открывался восхитительный вид на острова. Можно было разглядеть Иерес, но особенно хорошо был виден Поркероль. Президент очень любил обедать именно в патио. <...>

— Господин президент, завтра на обед я думаю предложить вам закуску из холодной дыни, затем курицу, запеченную в гриле с лимоном, на гарнир приготовить флан из кабачков и помидоров и на десерт — свежую малину со сливками. На ужин можно сделать крем-желе из шампиньонов, а в качестве основного блюда — лангусты и креветки на шампурах, к ним рис с шафраном, и на сладкое салат из экзотических фруктов.

— Стойте-стойте, Норман, давайте-ка разберемся!

С этими словами Жискар д'Эстен взял несколько листков в клетку, вырванных из моего блокнота, схватил первую попавшуюся ручку, выдернул очки из очешника и приступил к разбору предложенных мною меню.

— Нельзя ли приготовить что-нибудь другое вместо охлажденной дыни, например фаршированные помидоры? Словом, придумайте другую закуску.

В следующий раз я предложил президенту на ужин суп из тыквы, яйца в кокотнице, спагетти по-сиракузски и легкий десерт — слойку с теплыми персиками. Из всего этого он оставил лишь сладкое, попросив на закуску крем-желе из помидоров, а на горячее просто какое-нибудь более изысканное блюдо из рыбы.

— Вы, Норман, король рыбы, — сказал он мне тогда.

Я действительно очень любил готовить рыбу, а президент умел это оценить. В мой второй приезд в Брегансон, к тому времени уже лучше узнав Жискара д'Эстена, я взял с собой пачку поварских книг, чтобы не попасть впросак. Каникулы вовсе не отменяли кулинарных изысков и экспериментов. В этом смысле Жискар д'Эстен был более требовательным, чем Помпиду, который, отдыхая в Брегансоне, по-настоящему "расслаблялся" и пускал все на самотек. <...>

У рядовых французов, видевших Жискара д'Эстена только издали, могло сложиться превратное представление об этом человеке. Мы знали его другим. Он не вел себя, по крайней мере с нами, как Господин и Повелитель. Просто Жискар д'Эстен всегда точно знал, чего он хочет. Как только мы поняли, чего же он ждал от нас, работать стало проще. <...>

Ежедневные утренние "совещания" Жискара д'Эстена в его рабочем кабинете с интендантом Дворца были нужны как раз для этого. Замечал ли президент, что на ручке двери осела пыль или что секретарь в приемной

не носил положенных черных ботинок, он обязательно высказывал свое недовольство, не сомневаясь, что этого больше не повторится. Президент не делал замечаний дважды. Одна из секретарш ходит на работу в слишком короткой юбке? Ее тут же призвал к порядку непосредственный начальник, которому вышестоящая инстанция передала пожелание Жискара д'Эстена.

Мода в самом широком смысле слова не могла не коснуться Елисейского дворца. Так, некоторые служащие стали носить волосы чуть длиннее принятого. Им вежливо порекомендовали сходить в парикмахерскую. Президент замечал все, причем делал это за двоих. Его супруга лишь иногда совершала короткий обход резиденции. Обеды для нее мы готовили крайне редко. Первая леди Франции никогда не вмешивалась в каждодневную жизнь Дворца. Это было не нужно, ее муж сам следил за дворцовыми службами и был в курсе всех дел. Складывалось впечатление, что Жискар д'Эстен вел себя в Елисейском дворце так же, как и в политике. <...>

У этого президента была феноменальная память. Когда ему передавали на рассмотрение меню, составленные для официальных приемов, он, случалось, делал следующие пометки на полях напротив предложений шеф-повара: "Ни в коем случае. Блюдо уже подавалось этому гостю в прошлый его визит два года назад".

Жискар д'Эстен помнил, что подавалось на обед или ужин годом раньше даже не слишком важным гостям! Подобные замечания раздражали нашего шеф-повара, допускавшего такие оплошности. В результате у нас вошло в привычку обязательно проверять по тетради с записями прежних меню — не были ли предлагаемые блюда уже однажды поданы.

По традиции шеф-повар должен иметь архив, где хранятся меню всех трапез, когда либо приготовленных для главы государства. Каждый день он записывает в тетрадь, что подано президенту на обед и на ужин. Кроме того, архивная служба Дворца хранит экземпляр меню каждого официального приема, отпечатанный Национальной типографией.

Президент спрашивал с нас строго и по полной программе. Нужно было во всем и всегда быть на высоте, постоянно совершенствоваться, чтобы уметь его изумить. Иногда случалось кому-нибудь из нас звонить в рестораны, где Жискар д'Эстен обедал или ужинал, чтобы узнать рецепт тех блюд, которые ему особенно понравились. <...>

Советники Жискара д'Эстена вечерами поочередно дежурили во дворце. Они сами организовали эти своеобразные "вахты", поскольку, согласно новым правилам, нужно было, чтобы в резиденции постоянно находился кто-нибудь из "ответственных лиц". Так, на всякий случай... Во времена Шарля де Голля такого не было и в помине, поскольку генерал де Голль сам жил во Дворце. Позже президент Жорж Помпиду также не счел нужным вводить подобную систему дежурств. Но Валери Жискар д'Эстен считал ее необходимой.

В западном крыле Дворца на втором этаже была оборудована служебная квартира, в которой, сменяя друг друга, советники президента оставались на ночь. Там же они и ужинали. Им позволялось приглашать к себе на ужин не больше четырех человек. Шеф-повар составлял меню сам. Но со временем между ним и секретарями советников завязались дружеские отношения, и они стали иногда позволять себе узнавать меню ужина накануне "дежурства" их патрона. Случалось даже, что Ле Сер-

во соглашался по их просьбе приготовить другое горячее блюдо или десерт. Он также никогда не отказывался поставить несколько свечей на торт... Дворец продолжал жить как одна большая и дружная семья.

Президент зорко следил за тем, чтобы порядки, им введенные, никто не смел нарушать. Иногда он неожиданно появлялся в столовой, окидывал всех пристальным взглядом и уходил. Те советники, которые злоупотребляли своим положением и позволяли себе излишества на "служебных" обедах, тут же выслушивали нарекания. Валери Жискар д'Эстен был по природе своей очень любопытен. Он открывал все двери, мимо которых ему случалось проходить, просто чтобы узнать, что за ними кроется. Если президент видел там кого-нибудь, то очень естественно спрашивал, кто он и чем занимается. После чего разворачивался и исчезал.

— До свидания, месье.

Жискар д'Эстен довольно часто менял свои планы в самую последнюю минуту, особенно в 1976 году, когда Жак Ширак подал в отставку, а Раймон Барр еще не был назначен премьер-министром. Президент желал провести несколько часов на природе — подумать и поработать в тишине. Я отправлялся месте с ним в замок, прихватив с собой только самое необходимое, чтобы приготовить ему легкий ужин: яичницу-глазунью из двух яиц, салат и яблоко.

В других случаях Жискар д'Эстен довольствовался незамысловатым традиционным блюдом — ветчиной с картофельным пюре. В замок Марли он обычно приезжал на машине — один. За ним следовала лишь охрана. Президент устраивался во флигеле, стоящем на поляне, окруженной со всех сторон лесом. Атмосфера тех дней была крайне напряженной. Его кабинет располагался над кухней. Это означало, что мы должны были готовить почти бесшумно, чтобы не мешать Жискару д'Эстену работать. Однако невозможно избежать грохота кастрюль или другой кухонной утвари, когда готовишь обед, пусть даже самый простой! Мы старались изо всех сил, но у нас это не всегда получалось. Президент отдавал нам распоряжения через метрдотеля. Обед ему подавали ровно в 13.00. Он проглатывал его, не отрываясь от работы. Затем, после короткого отдыха, Жискар д'Эстен, не обращая внимания на свою верную небольшую команду, возвращался в Елисейский дворец.

Такой Жискар д'Эстен был недоступным, сосредоточенным, отстраненным. Иногда он устраивал себе подобный режим работы и в Париже. Роковые моменты в жизни де Голля или Помпиду проходили незаметно для окружающих, в том числе и для нас на кухне. При Жискаре д'Эстене все было иначе. Службы Дворца должны были "входить в его положение", ощущая на себе всю сложность момента принятия важнейших решений. <...>

При любых обстоятельствах и что бы ни случилось, Жискар д'Эстен, этот ценитель хорошей кухни, оставался малоежкой. На пороге определенного возраста становится довольно тяжело сохранять по-юношески стройную фигуру. Необходимо очень следить за собой, что Жискар д'Эстен и делал. Он занимался спортом — один раз в неделю обязательно играл в теннис. Он любил вкусно поесть, но никогда не позволял себе никаких излишеств. Подвергал себя жесткому самоконтролю и весьма придирчиво к себе относился. Впрочем, не только к себе, но и к своим служащим.

К ряду неожиданных сюрпризов добавлялись и приватные ужины, которые нам заказывали буквально в последнюю минуту, то есть в самом конце рабочего дня. Президент редко ужинал во Дворце, предпочитая возвращаться на улицу Бенувиль. Иногда нам звонили из его канцелярии или кто-нибудь из метрдотелей с просьбой приготовить холодный ужин, доставить его к восьми часам вечера на президентскую квартиру и оставить там в холодильнике.

— Обо всем остальном президент позаботится сам!

Холодное мясо, копченая красная рыба, паштет из гусиной печенки, салат и десерт. Такое меню не отличалось особенной изысканностью, но это было именно то, чего хотел наш патрон: просто поужинать. Случалось, что он просил нас приготовить какое-нибудь определенное блюдо. Как-то в конце рабочего дня на кухне раздался звонок из канцелярии:

— Президент просит вас сделать ему холодный ужин. Он хотел бы отведать спаржи.

Было уже шесть часов вечера. Наши поставщики только что закрыли свои магазины, да и сезон спаржи лишь начинался. Было совершенно невозможно отыскать за такое короткое время хорошую спаржу. Я перезвонил в канцелярию и попросил разрешения изменить меню.

— Передаем трубку президенту, — сказали мне в ответ на мою жалобную просьбу.

— Добрый вечер, Норман.

Я принялся излагать Жискару д'Эстену причины, по которым он не сможет съесть за ужином спаржу.

— Что ж, хорошо, действуйте по вашему усмотрению!

Он умел слушать и даже ждать, если блюдо того требовало. В таких случаях Валери Жискар д'Эстен говорил: "Это не сырное суфле ждет президента, а президент — суфле". Он действительно ждал пять-шесть минут за столом, пока блюдо будет готово... Но только когда речь шла о суфле, но уж никак не о яичнице-болтанке с трюфелями. Это не слишком замысловатое блюдо Жискар д'Эстен особенно жаловал. Оно подавалось на ужин, когда президент был один. Иногда он поглощал его, смотря новости по телевизору.

Вообще Жискар д'Эстен любил одиночество. Редкие ужины в Елисейском дворце устраивались им либо по случаю официальных приемов — положение обязывало, либо по случаю "киновечеров" — надо же было снимать напряжение и расслабляться. Президент подхватил традицию, заведенную еще Жоржем Помпиду, усовершенствовав ее. На эти вечера он приглашал друзей и знакомых посмотреть какой-нибудь новый фильм, который еще не вышел на широкий экран. Просмотры проходили не как раньше, в одной из гостиных Дворца, оборудованной на скорую руку, а в настоящем кинозале, который президент распорядился выстроить почти сразу после своего вступления в должность. Этот зал, расположенный под Гостиной Наполеона в самом сердце резиденции, с каждым годом все больше модернизировался. Обычно приглашенных собиралось человек двадцать. Они смотрели фильм, потом ужинали и чуть за полночь отправлялись по домам.

У президента было две собаки: легавая и лабрадор. Он любил прогуливаться с ними по парку и вообще редко с собаками расставался. Так, например, уезжая на уик-энд в Отон, он всегда брал их с собой. Президентская чета довольно часто ездила в свое загородное поместье, особенно

в период охоты. Жискар д'Эстен приглашал друзей и все выходные напролет ездил по полям и долам, пока не наступало время устраивать официальную охоту в замках Рамбуйе или Марли.

Обычно мы отправлялись в Отон в пятницу вечером, загрузив в багажник машины все необходимое. Ваненж Ванклеф и Бернар Воссион довольно часто составляли мне компанию. В первый наш приезд работать было сложнее, чем потом. Ведь сначала нужно было привыкнуть к дому, изучить его особенности и порядки. Например, перед тем как выбрасывать мусор, его следовало сортировать и только потом отправлять каждый тип мусора в свое место: бутылки — в контейнеры с бутылками, съестные отходы — в пищевые баки и т. д. Кухня находилась на первом этаже, рядом со столовой, чему мы вначале очень обрадовались. Как оказалось, напрасно.

Госпожа Жискар д'Эстен считала — и не без основания, — что во время нашего пребывания в Отоне ее кухня подвергается тяжелейшему испытанию. В самом деле, для приготовления президентских трапез мы вовсю использовали кухонную утварь и всяческие инструменты, привезенные из Елисейского дворца. И не всегда, в отличие от постоянных хозяев, могли осторожно и бережно относиться к этой маленькой десятиметровой комнатке. Моя супруга упрекала меня в том же, когда я готовил на кухне у себя дома. Другой серьезной проблемой был шум.

Близость кухни к столовой облегчала обслуживание, но, очевидно, доставляла массу неудобств президенту и его гостям. Мы не привыкли готовить, не грохоча кастрюлями и не разговаривая, кстати довольно громко. Наше ремесло требует подчас некоторой брутальности или, если угодно, грубости...

День начинался с приготовления завтрака, который подавался к восьми часам утра в находящийся недалеко от бассейна охотничий домик, чьи стены были увешаны соответствующими трофеями. Затем мы стряпали обед — пока президент охотился, одетый в твидовую куртку и такие же штаны, на голове, по настроению, то охотничья шапка, то фуражка. Обед подавался довольно поздно.

Мы заметили, что во время этих обедов за столом иногда воцарялось таинственное молчание. Это нас заинтриговало. Однажды Воссион напряг свой отменный слух и наконец услышал знакомые звуки: птичье щебетанье, а затем голоса и дружный смех гостей. Но объяснение тому, что происходило в столовой, мы получили несколькими годами позже. Когда подавали закуску, президент начинал постукивать ножом по бутылке, требуя внимания и тишины. Затем вытаскивал спрятанную заранее "подсадную утку", своего рода приманку для птиц. Смысл игры заключался в том, что гости должны были угадать голоса птиц или животных. Жискар д'Эстен обожал устраивать подобные развлечения своим гостям. При этом трапезы не были расписаны по минутам, как официальные приемы в Елисейском дворце. В Отоне обед мог длиться целых полтора часа, но не больше. Жискар д'Эстен, в отличие от своего предшественника, не любил засиживаться за столом. После обеда у себя дома в Кажарке Жорж Помпиду, бывало, подолгу оставался в столовой, куря сигару и попивая кофе. Жискар д'Эстен сразу вставал из-за стола, чтобы выпить кофе в гостиной. У этих двух правителей было разное отношение к загородной жизни.

В Отоне, равно как и в замках Марли и Рамбуйе, несмотря на то что это были загородные поместья, президент ввел строгие порядки как для

служащих, так и для гостей. Так, например, отныне запрещалось ездить на служебной машине по гравиевой площадке перед замком. Это означало, что ящики со съестными припасами приходилось теперь перетаскивать на кухню на себе. Всего каких-то двадцать метров! Но преодолевая их по нескольку раз в день приезда и в день отъезда, мы совершенно выбивались из сил.

При Помпиду приглашенным разрешалось ставить свои машины прямо во внутреннем дворе замка. При Жискаре д'Эстене эта вольность была отменена. Гостям рекомендовали парковать машины вне территории поместья. Шоферы довозили своих пассажиров до крыльца, а затем выезжали за ворота. Это правило распространялось и на весь служебный транспорт. Так, выгрузив перед кухней из фургона наши вещи, мы обязаны были отогнать его на стоянку.

Жискар д'Эстен изменил также и порядок проведения охоты. Если во времена Помпиду гости приезжали в Рамбуйе или Марли в пятницу вечером, то теперь их приглашали прибыть на президентскую охоту в субботу спозаранку. Видные политики, промышленники, послы и прочие важные особы собирались в замке к восьми утра. Каждому отводилась комната, где можно было переодеться. Через полчаса метрдотель подавал кофе в одну из гостиных. Там к своим гостям присоединялся и президент. Старший егерь представлял ему тех приглашенных, с кем он еще не был знаком. Как только церемония представлений заканчивалась, охотники садились в автобус и отправлялись в лес. Они возвращались в час или два пополудни в зависимости от количества устраиваемых облав. Затем вновь поднимались в свои комнаты, чтобы переодеться — теперь уже к обеду — в строгие костюмы и повязать галстуки. <...>

Перед тем как сесть за стол, президент и его гости осматривали добычу, собранную егерями. В пять часов вечера все охотники уже отправлялись по домам. Таким образом, наш рабочий день заканчивался самое позднее в семь. Мы возвращались в Париж в половине девятого, если только Жискар д'Эстен не задерживался в Рамбуйе. Он любил охотиться на следующий день после официальной охоты. Кроме того, он часто приезжал в замок зимой.

Со временем празднование Нового года в Рамбуйе стало традицией. Обычно Рождество Жискар д'Эстен с женой и детьми отмечал в Париже, в своей квартире на улице Бенувиль. Зато 1 января президент приезжал в Рамбуйе, утром охотился вместе с сыновьями, после чего они возвращались к своим дамам — госпоже Жискар д'Эстен с дочерьми, — чтобы вместе отобедать на фазаньем дворе. Я сам готовил эти новогодние трапезы. Семья Жискара д'Эстена была очень дружной, и, находясь вдали от своей собственной, я утешался тем, что был в какой-то степени причастен к этим праздникам. На обед 1 января 1977 года были приготовлены: копченый лосось со шпинатом в сметане, пулярка, запеченная с трюфелями, овощное ассорти, салат из сердцевин салата-латука и десерт Сент-Оноре. В карте вин значились: Мерсо-Шарм 1972 года и Шато-Талбо 1964-го. Несмотря на то что это был праздничный обед, шампанское к сладкому не подавалось. Нас было всего двое на кухне, и два метрдотеля обслуживали президента и его семейство за столом. Обычно по окончании обеда Жискар д'Эстен приглашал меня в столовую, благодарил и желал счастливого Нового года. Мы разговаривали неко-

торое время, а затем президент либо вновь отправлялся постре́лять дичь, либо возвращался в Париж.

Еще одна церемония новогодних поздравлений, на этот раз положенная по протоколу и потому более формальная, проходила в банкетном зале Елисейского дворца, куда приглашался весь его персонал. Каждой службе отводилось свое место, отмеченное бумажными полосками, расклеенными по паркету. Служащим кухни, по обыкновению, полагалось стоять в глубине зала, рядом с окнами в парк. Официальная церемония открывалась речью управляющего делами Дворца. Затем к нам обращался президент, который благодарил всех за работу, после чего приглашал принять участие в коктейле... который нами же и был приготовлен!

В начале нового года кухня Дворца работала без передыху. Согласно традиции, члены правительства являлись лично поздравить Жискара д'Эстена. За ними следовали префекты, послы и прочие высокопоставленные лица. Всем им подавались разнообразные канапе, маленькие пирожные, над которыми мы трудились не покладая рук. Марсель Ле Серво, чтобы справиться с невероятным количеством работы, начинал подготовку к этим фуршетам загодя, чуть ли не сразу после Рождества.

Зарубежные поездки в исполнении Жискара д'Эстена заслуживают отдельной книги. География его перемещений была невероятно разнообразна: Соединенные Штаты Америки в 1976 году, Бразилия в 1978-м, Мексика в 1979-м, Польша, Финляндия, Испания — таков далеко не полный список стран, где мы побывали вместе с главой государства. К тому времени у нас накопился достаточный опыт подобного рода путешествий. Механизм работы "в походных условиях" был отлажен как нельзя лучше. Марсель Ле Серво уже не считал необходимым отправляться самому на разведку, чтобы подтотовиться к приезду президента.

— Интендант замечательно справляется без моей помощи, — говорил он мне.

Поскольку раньше Еннекен неоднократно ездил вместе с шеф-поваром в подготовительные поездки, он прекрасно знал, что нужно поварам. Интендант составлял для Марселя Ле Серво полное досье, в котором содержались сведения о площади кухни, качестве ее оборудования, количестве кухонной утвари, вместимости и числе холодильников, о том, как далеко находилась кухня от зала, где устраивался прием. Это досье позволяло нам составить меню — с учетом специфики места. Ведь даже расстояние, отделявшее Францию от очередной страны, куда отправлялся с визитом президент, имело значение. Дело в том, что некоторые свежие продукты плохо переносят перелет. Зато было замечено, что вина, напротив, прекрасно путешествуют. Им нипочем высота и смена давления, и, пожалуй, они становятся от этого даже лучше.

За две недели до отъезда за границу на кухне начиналась невероятная суматоха. Мы вновь вытаскивали наши незабвенные зеленые ящики, сделанные еще при Шарле де Голле, которые до сих пор служат нам верой и правдой. В придачу к ним мы доставали "походные" паровые камеры, приобретенные во времена Жоржа Помпиду. Заказывались целыми упаковками полотенца с вышитыми по кайме державными вензелями из Ф и Р (Французская Республика). Наши поставщики без передыху доставляли во Дворец продукты. Холодильники ломились от съестных припасов, в то время как шкафы с инструментами и кухон-

ной утварью пустели. Их содержимое паковалось в многочисленные ящики. В такие моменты наша кухня походила на муравейник. Две бригады поваров работали не покладая рук. Одни усердно готовились к предстоящему "паломничеству", а другим приходилось с утра до ночи вкалывать, чтобы ежедневные обеды и ужины проходили как ни в чем не бывало. <...>

В 1976 году США с большим размахом отмечали 200 лет своей независимости. В июле Франция устраивала прием, который, как того требовал Жискар д'Эстен, должен был пройти на высшем уровне. В посольстве Франции в Вашингтоне предстояло достойно принять 220 почетных гостей. Мы заранее знали, что поездка будет чрезвычайно тяжелой. В Америке нам отводилось на все приготовления крайне мало времени. Фактически мы должны были обернуться за два неполных дня, вылетев из Парижа с утра накануне приема и вернувшись обратно уже на следующий день, к вечеру.

Следовательно, предстояло все приготовить в Елисейском дворце и, тщательно упаковав блюда, чтобы они не пострадали во время перелета, отправить в Америку. Интендант сообщил нам необходимые сведения. Кухня французского посольства в Вашингтоне была прекрасно оборудована. Единственной проблемой оставалось то, что на окончательную подготовку — уже на месте — торжественного приема нам отводилось слишком мало времени. С закусками все было просто: паштет из гусиной печенки можно было быстро нарезать в последний момент. Другие блюда вызывали больше тревоги.

Надо было нафаршировать и запечь 220 перепелов, каждому гостю по одному. Где это лучше сделать: в Париже или в Вашингтоне? В Вашингтоне у нас будет плохо со временем, тем более что бригада наша не так уж велика. И даже активная помощь посольских поваров не спасет положение. К слову сказать, повара французских посольств всегда любезно соглашались нам помогать, несмотря на то что мы ураганом вторгались в их владения. Вернемся, однако, к нашим перепелам. Нашпиговать их в Париже? Рискованно. Трудно предсказать, как набитые фаршем тушки перенесут перелет. Нам была памятна досадная неудача с замороженными омарами для обеда в Москве — еще в эпоху Помпиду, — когда они потеряли в самолете весь свой неповторимый аромат. В конце концов было решено, что перепела будут путешествовать с пустыми животами. <...>

Мы вылетали из Парижа в середине дня. Кроме поваров тем же рейсом отправлялись журналисты и несколько метрдотелей. Утром за нашими ящиками приехал армейский грузовик. Один из поваров сел в кабину к водителю и отправился на военный аэродром в Виллакубле, где нас уже ожидала "каравелла". Сюда еще утром привезли взвод новобранцев, чтобы помочь с погрузкой багажа.

Операция заняла целых два часа. Командир "каравеллы" распорядился в очередной раз снять сиденья в хвостовом отсеке, чтобы у нас было побольше места. Перегруженный самолет с трудом оторвался от земли и начал медленно набирать высоту. Через несколько часов мы приземлились в Вашингтоне. Дождь лил как из ведра, к тому же в американском аэропорту никто из военных не собирался нам помогать. Приходилось рассчитывать только на свои силы и под проливным дождем разгружать самолет. Ведь прием должен был состояться на следующий

день. Набив грузовик привезенным провиантом, мы помчались в посольство, где без нас не могли завершить приготовления к приему.

Жильбер Беко, главный распорядитель приема, то и дело наведывался к нам на кухню, чтобы поболтать и пропустить стаканчик. По случаю праздника во французском посольстве из Елисейского дворца на день раньше доставили сервизы от Кристиана Диора с красно-бело-синей каймой, хрустальные бокалы, а также серебряные приборы и блюда... Старушка Франция хотела блеснуть и поразить в самое сердце американского дядюшку. Думаю, ей это удалось. Прием завершался небывалым по красоте фейерверком. <...>

Поездка в Испанию тоже оказалась по-своему незабываемой. Жискар д'Эстен отправился в Мадрид с двухдневным официальным визитом. Всего два часа в самолете — и вы уже в испанской столице. По традиции, нами было заранее составлено меню, согласно которому мы намеревались на закуску приготовить шартрез с грибами. Это восхитительное блюдо делается так. В форму для шарлотки вы выкладываете телячий фарш, старательно обмазывая им стенки, чтобы слой фарша повторял рельеф формы. Затем оставшуюся пустой сердцевину наполняете рагу из шампиньонов. После чего форма сверху прикрывается пергаментной бумагой или калькой, которую следует тщательно промаслить и смочить. Далее накладывается лист фольги, и форма перевязывается по диаметру. Теперь остается только поставить ее в духовку. При выпекании фарш начинает раздуваться, как суфле, но бумага и фольга не дают ему вылезти наружу, и он принимает очертания формы, в которой запекается. Перед нами неизбежно встал вопрос: где готовить это блюдо, в Париже или же в Мадриде?

— Приготовь все-таки в Париже, — сказал мне Марсель Ле Серво. — Перелет короткий, к тому же в самолете имеется кондиционер. Мы можем поместить закуску в наши большие зеленые ящики и, как только прибудем в Мадрид, сразу поставим в холодильник. Ничего с ней не случится!

— Хорошо, шеф.

На этот раз мы летели тем же самолетом, что и Жискар д'Эстен, который имел обыкновение в течение рейса прохаживаться по салону и болтать со своими "товарищами по зарубежной поездке". Вся передняя часть самолета была предоставлена в распоряжение президента. Там находилась отдельная "каюта" с кроватью, чтобы он мог отдохнуть во время более длительных перелетов. В пути Жискар д'Эстен частенько направлялся в хвостовую часть салона и разговаривал со всеми, кто ему встречался на пути. Его советники и другие сопровождающие лица размещались там же, где президент. На каждом кресле значилось имя высокопоставленного пассажира. Все дворцовые служащие находились обыкновенно в хвосте и рассаживались где кому вздумается.

— Здравствуйте, Норман, как дела? Добрый день, Луаже! Приветствую вас, Воссион.

Во время полетов президент неизменно надевал шерстяной кардиган, однако с галстуком не расставался. Даже в самолете он выглядел очень элегантно. Тот наш перелет из Парижа в Мадрид был действительно коротким, и мы мало видели президента. К тому же командир экипажа был недоволен своими пассажирами и пытался их образумить:

— Мы изо всех сил боремся со встречным ветром, поэтому будьте так любезны, не толпитесь в хвостовой части. Самолет перегружен и тащится как черепаха. Спасибо за внимание!

Всю эту тираду он произносил очень спокойно. С подобными просьбами к пассажирам командир самолета обращался довольно часто, особенно когда мы летали на "каравелле". Дело в том, что бар в этом самолете находился именно в хвосте.

Мадрид! Стоит страшная жара. Все выходят из самолета. Как обычно, мы ждем, пока из багажного отделения выгрузят наши ящики, пересчитываем их, сверяя по списку, наблюдаем за тем, как ящики поднимают на грузовик, и отправляемся следом в посольство. Прибыв на место вскрываем ящики и... Катастрофа!

— Шеф, шеф, вы только посмотрите, наши шартрезы начали вздуваться!

Марсель Ле Серво оценивающе осматривал содержимое ящика. Одну из форм я держал в руках, чувствуя, что она с каждой минутой все больше тяжелеет. Калька и фольга вздулись под тесьмой, и казалось, что под напором содержимого тесьма эта вот-вот лопнет. Во время путешествия закуска все же пострадала от жары — шартрезы "запарились".

— Немедленно поставьте их в духовку, чтобы прекратить брожение. А там видно будет! Посмотрим, когда извлечем шартрезы из форм.

Мы приготовили 18 шартрезов, хотя, чтобы обслужить 140 гостей, вполне хватило бы и 14. Одно блюдо на 10 персон и еще четыре — на всякий случай. Мы всегда готовили про запас, поскольку могли возникнуть непредвиденные обстоятельства. Наконец все шартрезы были вытащены из духовки и освобождены от форм. Настал решающий момент пробы. Каждый из нас съел кусочек и высказал свое мнение. То же сделал и Ле Серво и после некоторых размышлений решил подать многострадальное блюдо на стол. Мы редко получали столько благодарностей и похвал после званых обедов... По окончании банкета я осмотрел несколько несъеденных шартрезов. Фарш действительно начал бродить. На запеченной его поверхности были видны маленькие дырочки от пузырьков воздуха. К счастью, мы успели вовремя поставить формы в печь. На фарше запеклась пористая корочка.

В 1979 году, когда мы были в Мексике, произошел другой случай. Нам пришлось остужать желе в большой ванне. Дело в том, что в посольской кухне не оказалось достаточно большого бака для этой процедуры. А нам нужно было приготовить и подать блюдо вовремя. Так что подошла и ванна...

В 1980 году во французском посольстве в Польше устраивался официальный прием. Мы прибыли на место рано утром, разумеется, с нашими ящиками, куда были упакованы готовые блюда для званого ужина. В частности, в меню значилось заливное тюрбо, состряпанное нами еще в Париже. Оставалось только сделать к нему соус. Все ингредиенты были привезены из Франции. Все, кроме воды. Обычно мы использовали воду прямо из-под крана. Это стало нашей роковой ошибкой. Оказалось, что в Польше она соленая. Ваненж Ванклеф, залив тюрбо соусом, уже собрался было поставить блюдо охлаждаться, но решил все же снять пробу. Сработал профессиональный рефлекс, ведь он имел достаточный опыт зарубежных поездок. Заливное оказалось совершенно несъедобным.

— Шеф, Жоель, идите скорее сюда! Вы только попробуйте!

Да, только взять в рот и сразу выплюнуть. Желе на самом деле было слишком соленым. Поскольку мы на этот раз доставили больше порций, чем нужно, то это буквально спасло положение. В результате заливное

все приглашенные ели с большим удовольствием, правда, никто не попросил еще одну порцию.

С тех пор мы никогда не отправлялись за рубеж, не прихватив с собой запас пресной воды, что делало наши взаимоотношения с командиром самолета еще более натянутыми. Ящики громоздились один на другом и не всегда умещались в багажном отделении. Их приходилось устраивать и в хвостовой части салона, причем закрепить груз было невозможно. Случалось даже, что мы усаживались на ящики сверху, чтобы они не разъезжались при взлете и посадке. Обратно мы возвращались без особых осложнений... кроме, пожалуй, одного случая. Это произошло опять-таки в Польше...

Мы должны были вылететь из Варшавы на самолете "Спар", то есть на самолете охраны президента, неизменно сопровождавшем его. Наше пребывание в Польше подходило к концу. Как только официальный прием завершился, мы собрали все наше хозяйство и погрузили в фургон, принадлежащий польской армии. В спешке заднюю дверь плохо закрыли. Мы, повара, ехали за фургоном. Наш кортеж, сигналя фарами и включив сирену, мчался в аэропорт, чтобы не задерживать самолет, который уже ожидал нас. Тут-то двери фургона и раскрылись, но он продолжал ехать дальше.

Шофер ничего не видел и не слышал, даже наших отчаянных сигналов, миганий фар. Один из ящиков вывалил свое содержимое на асфальт. Фургон проехал чуть ли не целый километр, прежде чем водитель сообразил наконец, в чем дело. Мы встали. Мотоциклы сопровождения перекрыли трассу... Люди вылезли из машин и бросились помогать нам собирать то, что рассыпалось по шоссе.

Все столовое серебро должно было вернуться в Елисейский дворец, пусть и поврежденным. Блюда, приборы, солонки, перечницы раскатились по дороге. Думаю, никогда больше полякам не приходилось наблюдать столь необычное зрелище, как, впрочем, и нашему ювелирному мастеру. Он метался туда-сюда, поднимая покореженные серебряные предметы, и причитал:

— О Боже мой! О Господи!..

Дворцовую утварь собирал весь кортеж. И ничего не пропало. Все вплоть до последней чайной ложечки было подобрано. Правда, ремонтной службе Елисейского дворца пришлось в течение нескольких недель здорово потрудиться, чтобы привести коллекцию столового серебра в порядок. Самолет прождал нас тогда три часа. Но в полете мы смогли насладиться вполне заслуженным отдыхом...

В 1976 году с официальным визитом во Францию прибыл Папа Римский Павел VI. Жискар д'Эстен с супругой присутствовали на вечерней мессе в соборе Парижской Богоматери, которую служил сам Папа. После этого они должны были вернуться на ужин в Елисейский дворец. Президент отличался пунктуальностью, поэтому я старался приготовить морской язык под нормандским соусом точно к восьми пятнадцати. Но время шло, а Жискара д'Эстена с супругой все еще не было. Мой соус стал слишком жидким. В тот вечер президент прибыл во дворец только к девяти часам. Но у меня уже не было возможности начинать все сначала.

— Кто хозяйничает сегодня на кухне? — спросил Жискар д'Эстен у метрдотеля.

— Господин Норман, — ответил тот.

— Странно, обычно он прекрасно готовит рыбу!
— Мы слишком задержались, — заметила госпожа Жискар д'Эстен.
— Да, это верно, — согласился президент.

У Жискара д'Эстена было хорошее настроение в тот вечер, и поэтому никаких других нареканий по поводу ужина он больше не высказал. А могло быть и хуже...

Жискар д'Эстен никогда не витал в облаках. Приближались президентские выборы 1981 года, и он, несомненно, уже начал готовиться к предстоящей борьбе. Хотя казалось, что французы скорее довольны своим президентом. В конце 1980 года его популярность среди населения составляла 50 процентов, в то время как рейтинг премьер-министра Раймона Барра сильно упал и едва достигал 25 процентов. Первый семилетний мандат Жискара д'Эстена подходил к концу, но, по всей видимости, действующий президент Франции вполне мог быть переизбран и на второй срок.

В ноябре 1980 года Франсуа Миттеран выдвинул свою кандидатуру на участие в выборах. За два месяца до него, в сентябре, то же сделал и Жорж Марше[1]. А еще раньше, в июле, о своем намерении участвовать в борьбе заявил Мишель Дебре[2]. Таким образом, в начале 1981-го насчитывалось уже девять претендентов на высший пост Франции. Жискар д'Эстен отпраздновал наступление Нового года в Париже, а 1 января, как обычно, отправился на обед в замок Рамбуйе. Несколько позже, 3 февраля, Жак Ширак, мэр Парижа с 1977 года, также заявил о своем вступлении в предвыборную борьбу. Наконец, во второй раз в истории Пятой республики, действующий президент тоже решил бороться за переизбрание на второй срок. <...>

На следующий день после своего поражения Жискар д'Эстен вернулся в Елисейский дворец. Официальная передача власти должна была состояться только 21 мая. У него оставалось десять дней, чтобы подготовить свой уход. Это было очень тяжелое время. Из администрации нового президента не просачивалось никакой информации. Соратники Жискара д'Эстена тоже собирали свои чемоданы. Настал наконец день, когда бывший президент должен был встретить Франсуа Миттерана у парадного входа во Дворец, чтобы передать ему свои полномочия. Встретившись, они закрылись в одной из гостиных и долго вели беседу наедине. После чего Жискар д'Эстен вновь появился на крыльце Елисейского дворца в сопровождении преемника. Он пересек парадный двор, ни разу не оглянувшись. Многие плакали, другие аплодировали. Все были расстроены. А меня одолевали тревоги.

Между тем Жискар д'Эстен уже подходил к своей машине, ждавшей его под дворцовой аркой. Он сел за руль и уехал, так и не попрощавшись с нами. Возможно, ему было тяжело смириться с поражением...

1. Жорж Марше (1920—1997) — политический деятель Франции, генеральный секретарь Французской компартии (1972—1994), депутат Национального собрания с 1973 года.
2. Мишель Дебре (1912—1996) — министр обороны с 1969 по 1973 год, до этого был министром иностранных дел (1968—1969), а еще раньше, с 1966 по 1968 год, возглавлял Министерство экономики и финансов

Ромен Гари: жизнь еще впереди?

Открытый для русской читающей публики нашим журналом, который сначала опубликовал (в Библиотеке "ИЛ", 1988) "Жизнь впереди", книгу, изданную под псевдонимом Эмиль Ажар, а затем напечатал "Обещание на рассвете" (1993, № 2), Ромен Гари вот уже десяток лет остается одним из самых популярных в России западных писателей, и каждую его новую публикацию ждут, предвкушая литературное событие. Не всегда эти ожидания оправдываются, однако интерес к Гари все равно высок и устойчив. А восприятие его произведений аудиторией на редкость разнообразно. Тут и неумеренный восторг, и скепсис, и чувство разочарования, и уверенность, что этот писатель еще по-настоящему не прочитан, не оценен.

Можно сказать, что в нашей стране, с которой он генетически связан, Гари нашел свою вторую родину, причем наиболее горячий отклик его книги встречают у молодых читателей. Представляя еще одну книгу из наследия французского автора, редакция "ИЛ" решила познакомить читателей с суждениями о Гари, которые принадлежат начинающим критикам. Все они студенты или недавние выпускники Российского государственного гуманитарного университета, участники семинара по сравнительному литературоведению под руководством А. М. Зверева.

Мария Табак

"Обещание на рассвете" – сюжет и жанр

Популярность Ромена Гари как на Западе, так и в России вряд ли может быть объяснена какой-то одной причиной. Одних привлекает разнообразие тем, жанров и стилей романов Гари, других — история с двумя Гонкуровскими премиями. Третьим любопытно сравнить романы, написанные Гари на французском и английском языках. Четвертые находятся под впечатлением от биографии этого человека — писателя, летчика и дипломата. Личная жизнь Ромена Гари очень тесно переплетена с творчеством. Женат он был дважды: первый раз — на писательнице Лесли Бланш (прототип главной героини романа "Леди Л."; затем она была консультантом Питера Устинова, экранизировавшего роман; в главной роли снялась Софи Лорен), второй — на голливудской актрисе Джин Сиберг, покончившей с собой в 1979 году. История этого брака была странным образом предугадана им в "Цветах дня".

Писатель публиковал свои книги под несколькими псевдонимами: Ромен Гари, Эмиль Ажар, Люсьен Брюляр, Фоско Синибальди и самым впечатляющим — Сатана Бога. В 1980 году Гари покончил с собой, сделав это весьма театрально. Накануне самоубийства он позвонил первой же-

не и сказал: "Я неправильно разыграл свои карты". Оставил записку: "Никакого отношения к Джин Сиберг. Ревнителям культа разбитых сердец обращаться по другому адресу". Сразу вспоминается и его весьма странное высказывание в интервью "Ночь будет спокойной": "Начнем с того, что мой сын еще слишком юн для того, чтобы меня понять, для того, чтобы я мог говорить с ним обо всем этом. Когда он сможет понять, меня уже не будет. Он потом прочтет" (1974 год — писателю в это время шестьдесят лет, его сыну Александру-Диего — одиннадцать).

Роман "Обещание на рассвете", быть может ключевой текст Гари, был написан в 1960 году. В большей части словарей и энциклопедий роман назван автобиографическим. Насколько справедливо такое определение?

С одной стороны, в романе присутствуют канонические признаки жанра автобиографии: налицо "акт преодоления уходящего времени, попытка вернуться в собственное детство, юность, воскресить наиболее значительные и памятные отрезки жизни — как бы прожить жизнь сначала", и "стремление осмыслить прожитую жизнь как целое, придать эмпирическому существованию оформленность и связность" (Литературный энциклопедический словарь). "Обещание на рассвете" — история становления личности, попытка понять себя и окружающий мир, борьба с обстоятельствами ("...я смотрю на жизнь как на грандиозную эстафету, в которой каждый из нас, прежде чем упасть, должен передать дальше свой вызов — вызов уделу человека..."[1]).

Однако в построении "Обещания на рассвете" есть некоторые особенности.

В центре этого "автобиографического" романа — не двойник писателя Роман Касев, от лица которого ведется повествование, а его мать, Нина Борисовская. И образ главного героя раскрывается только через ее представление о нем. Его личные интересы, вкусы, пристрастия отходят на второй план. Поэтому, как мне кажется, можно с значительной долей уверенности говорить о том, что главная сюжетная линия романа — это биография Нины. Именно поэтому повествование заканчивается практически сразу после рассказа о ее смерти. Роман "Обещание на рассвете" охватывает лишь сравнительно небольшой отрезок жизни Романа Касева и обрывается так же резко, как и начинается.

Все поступки героя — лишь исполнение воли матери. Возникает впечатление, что после ее смерти единственное, что он может, это лежать на пустынном пляже Биг-Сура, тишина которого нарушается только криками птиц да лаем тюленей, вспоминать молодость и мечтать "о какой-то первозданной нежности" (и это несмотря на все прежние карьерные успехи!). Французский исследователь творчества Гари Пьер Байяр считает главной темой романа "опыт расставания", анализ психологической ситуации расставания с любимой женщиной. Гари, предполагая, что "Обещание на рассвете" приведет в восторг фрейдистов, заранее их обезоруживает: психоаналитиков он называет "изворотливыми паразитами и душегубами" и отмечает, что больше всего его раздражает "всякое самодовольство, претендующее на полную осведомленность".

Сам Гари в эссе под названием "В защиту Сганареля" выдвигает концепцию так называемого "тотального" романа, то есть романа, объеди-

1. Здесь и далее роман "Обещание на рассвете" цитируется в переводе Е. Погожевой.

няющего в себе самые разнообразные жанровые признаки, темы, типы героев. Причем все эти разнородные включения в пределах одного произведения должны, по мнению писателя, взаимодействовать, подменяя друг друга, порождая новые ситуации.

Пьер Байяр в книге "Он дважды был Роменом Гари" говорит о том, что в романе наряду с чертами других жанров есть признаки "родительского романа" (судьба героя задается с детства его родителями). Хотя применительно к "Обещанию на рассвете" можно говорить, как он считает, скорее о "материнской автобиографии".

Точка зрения Байяра представляется мне весьма убедительной, поскольку в определении "материнская автобиография" фокусируются все основные особенности романа. Разделение же творчества писателя на романы пикарескные и лирические (такую классификацию предлагает отечественный литературовед Р. Галимова) кажется очень условным, поскольку в том же "Обещании на рассвете", отнесенном Галимовой к лирическим романам, любой читатель может без труда найти черты романа плутовского. Достаточно вспомнить хотя бы затею Нины с "парижским модельером Полем Пуаре", роль которого исполнил актер Алекс Губернатис. Вообще, авантюры Нины, да и некоторые выходки самого Романа Касева, как, например, попытка угона самолета, заставляют вспомнить плутовской роман. Кроме того, в романе (да и в жизни Гари) есть черты сказки — ведь именно в сказках добрая волшебница обещает герою замечательное будущее, и ее предсказания непременно сбываются.

Содержание романа не исчерпывается историей отношений Романа с матерью. Не менее важная тема — творчество в самом широком смысле этого слова. Понятие творчества не сводится для Романа к искусству как таковому, для него творчество — это умение увидеть красоту вокруг себя, понять ее спасительную силу, помочь ей выжить. Именно поэтому с такой гордостью говорит известный писатель и дипломат о том, как он спас колибри, нечаянно влетевшую к нему в комнату, газель, в которую уже приготовился выстрелить охотник. Красота, по его мнению, способна изменить мир: "Я свято верил, что в литературе, как и в жизни, можно изменить мир по собственному желанию, вернув к его истинному назначению, представляющему собой хорошо продуманное и первоклассно созданное творение. Я верил в красоту и, стало быть, в справедливость". Более того, герой не раз рассуждает о том, что он старался строить жизнь как художественное произведение. Литература же воспринимается Романом как нечто вторичное, она — лишь один из способов создания прекрасного. Свою улыбку герой называет одним из своих "литературных, давно вынашиваемых творений". Творец — не только человек, способный увидеть прекрасное в окружающем его мире, это человек, способный увидеть прекрасное в своем прошлом. Важнейшая функция памяти писателя, по Гари, — передача слов давно умерших людей и памяти как таковой: "С новыми друзьями, появившимися у меня после войны, я только сильнее ощущал отсутствие тех, с кем продолжаю жить бок о бок. Порой я забываю их лица; их смех и голоса ускользают от меня, но это только делает их ближе". Память как способ преодоления смерти, как способ создания произведения искусства — эта тема чрезвычайно важна для Гари.

Говоря о сюжете "Обещания на рассвете", нельзя не упомянуть о "вставных новеллах". В романе есть два эпизода, которые, при желании, можно было бы напечатать как отдельные блестящие рассказы. В них — лейтмотивы всех произведений Гари. Первый (и, признаться, это мои любимые страницы) — *рассказ о господине Пекельном:* "добрейшая вильновская мышь", "маленький человек", одинокий и грустный, мечтает о том, чтобы великие мира сего знали о самом факте его существования. Заметим, что ему даже не важно, что его уже и на свете не будет, когда Роман вырастет и сможет рассказать всему миру о г-не Пекельном. Ему, как и матери Романа, мечтающей стать "великой актрисой", важно, чтобы о нем знали, чтобы его жизнь не прошла напрасно. Так же, как и Нина Борисовская, он верит в то, что Роман станет французским посланником, что "есть справедливость". И Роман на самом деле становится "носителем памяти" (выражение Байяра).

Другой эпизод, не менее важный для нашей темы, — *история любви Романа и Валентины.* Байяр видит в Валентине всевластную роковую женщину и отмечает, что такой женский тип является преобладающим в творчестве Гари. Соперничество между мальчишкой Яном, впоследствии видным деятелем компартии Польши, и русским иммигрантом Романом, впоследствии известным французским дипломатом и писателем, неожиданно возрождается через много лет.

Обе основные темы романа — тема матери и тема творчества — так или иначе связаны с "обещанием" героя. По-французски название романа звучит как "La promesse de l'aube", на русский его переводят как "Обещание на рассвете", на английский аналогично — "Promise at dawn". Вообще же "обещание на рассвете" по-французски звучало бы "la promesse à l'aube", а "la promesse de l'aube" буквально означает "обещание рассвета". Герой романа дает два обещания. Первое — матери "на рассвете жизни" — обещание "воздать ей должное, придать смысл ее жертве и однажды вернуться домой победителем в споре за господство над миром с теми, чью власть и жестокость я так хорошо почувствовал с первых шагов". Второе — читателю: обещание "кончить этот рассказ". Возможно, это обещание герой дал в буквальном смысле слова на рассвете, поскольку, когда рассказ подходит к концу, на Биг-Сур скоро должен опуститься вечер, а Роман уже "слишком давно" лежит там, "слушая, как шумит море". Если же трактовать "рассвет" в символическом плане, как начало чего-то нового, то "обещание рассвета", данное Нине, выполнено. Нина верила, что благодаря сыну станет великой драматической актрисой, что сын приведет все к "счастливому концу". Так и случилось, хотя она этого уже не видит.

Закончить хотелось бы словами самого Гари, в которых, как мне кажется, вполне объяснена природа его творчества: "Во мне проснулась жажда справедливости к человеку, каким бы жалким и преступным он ни был, которая наконец-то толкнула меня к истокам моих будущих книг, и если правда, что это стремление болезненно родилось из моей сыновней любви, то все мое существо понемногу подчинялось ему, пока литературное творчество не стало для меня тем, чем является и по сей день, в высочайшие минуты аутентичности, — лазейкой, через которую пытаешься бежать от невыносимого, возможностью отдать душу, чтобы остаться в живых".

Алиса Романова

Поэзия маргинальности

Размышляя о таком сложном онтологическом понятии, как маргинальность, в рамках которого можно рассматривать большинство персонажей Гари, следует указать и на занимаемое в жизни самим писателем особое положение — аутсайдера, чужака в разных культурных пространствах. Отвечая на вопросы Франсуа Бонди ("Ночь будет спокойной"), Гари заметил: "Я от рождения принадлежу к *меньшинству*. В Варшавском университете я садился рядом с теми, кто в меньшинстве. Я всегда *против самых сильных*". Он — "гражданин мира", еврей, поляк, русский, американец, француз, воспитанный в традициях иудаизма и перешедший в католицизм. Маргинал по происхождению, Гари заговорил в своих литературных произведениях на разных языках, тем самым интегрируясь в разные культуры, адаптируясь в новой среде. Многих своих героев писатель также помещает в крайнее, предельное по отношению к конформистской реальности состояние.

Маргинальность — культурно-социальное явление, чаще всего негативно окрашенное, поскольку противопоставляется норме — социальной, физической и т. д., любое отклонение от которой воспринимается как нарушение, угроза, преступление или болезнь. Однако в произведениях Гари это понятие лишается какой-либо негативной коннотации и становится синонимом естественности, истинной сущности человеческой личности. Герои практически всех романов Гари — маргиналы различных мастей, своего рода блудные сыновья, живущие в чуждом им обществе, не ощущающие его традиций, не укоренившиеся в нем. Фоном для событий, в которые они вовлечены, служит регламентированный, конформистский мир.

Маргинальность как социальная категория и как феномен человеческого бытия — некое предельное, пограничное положение человека по отношению к какой-либо общности или культуре. Анализируя произведения Гари, условно можно выделить несколько типов маргиналов: те, кто вынужден быть маргиналом в силу своего происхождения, или социального статуса, или профессии, или этноса и т. д. Понятие маргинальности у Гари теснейшим образом связано с двумя оппозициями — *норма—патология* и *центр—периферия*. Норма или центр здесь — устойчивый, жестко структурированный, благополучный мир, "статистическая масса": патология или периферия — меньшинство, "болевые точки" ("В Париже и пригородах проживают десять миллионов человек, чье невидимое присутствие вполне ощутимо, но я иногда остро ощущаю их видимое отсутствие, и в этой отсутствующей толпе у меня разыгрывается комплекс. Испарина небытия". — "Голубчик"[1]). Мадам Роза и арабчонок Момо, персонажи романа "Жизнь впереди", относятся к социальному меньшинству, причем самому отверженному. Мадам Роза максимально отклоняется от всех норм — социальных, моральных, физиологических: она еврейка, жертва Освенцима, бывшая проститутка с незабываемой внешностью, кроме того, страдает приступами безумия —

1. Здесь и далее роман "Голубчик" цитируется в переводе Н. Мавлевич.

"отключками", как их называет ее воспитанник Момо. Безумен и главный герой романа "Голубчик", отождествляющий себя с удавом.

Важнейшие понятия, связанные с явлением маргинальности в творчестве Гари, – *граница* и *предел*. Голубчик находится на границе между положением аутсайдера и добропорядочного гражданина, постоянно отклоняясь в сторону маргинальности. Причем эту позицию следует рассматривать как динамичную, как выражение самого процесса перехода. С этим связана идея постоянной смены масок, идея перевоплощения, многоликости персонажей (Голубчик – удав; араб Момо – еврей Мойша, которых мадам Роза заставляет поменяться ролями, чтобы Момо остался с ней) и даже самого Гари (мистификация Гари-Ажар-Павлович). К другому типу героев-маргиналов можно отнести тех персонажей, которые стремятся преодолеть собственную инакость с целью реализовать себя в ином качестве: маленькому Момо очень хочется жить в семье и обрести дом, что в финале романа ему удается. И хотя все персонажи-маргиналы Гари чувствуют себя вполне самодостаточными в своей среде, они живут с ощущением близости другого, чуждого им мира, искушаемые желанием хоть ненадолго стать его частью.

Маргинальность в трактовке Гари – готовность к восприятию нового через отрицание всевозможных стереотипов и запретов, переходное состояние не только в пространственном, но и во временном отношении. Момо, встречая Надин – молодую женщину, которая в финале романа его усыновит, – начинает верить в существование будущего, у него появляется "надежда" – важнейшая категория в романах Гари. В зачаточном состоянии "пролонгмена" живет Голубчик, неким черновиком, эскизом, которому в будущем только предстоит обрести законченную форму. Он, как и Момо, проживает каждый день с ясным предчувствием будущего ("Великие чревовещатели – прежде всего освободители, они позволяют нам вырваться из одиночного заключения и ощутить родство с миром"). Ощущение реальности оказывается, в трактовке писателя, острее у маргинала, нежели у человека среднего, связанного условностями и нормами; именно маргинал сразу же замечает подмену естественного фальшивым ("Кругом и так сплошной обман. Иногда начинает казаться, что живешь в дублированном фильме: все шевелят губами, а слова не соответствуют").

Повествование в "Жизни впереди" и "Голубчике" ведется от первого лица; Гари позволяет персонажам говорить на языке их среды. Любопытно, что при этом Момо мечтает создать свой собственный, особый язык, "не такой разболтанный и затрепанный, как языки средних обывателей". Также и для Голубчика заветная мечта – "видоизмененный язык. Небывалый, с безграничными возможностями".

Осознание своего присутствия в мире у маргиналов Гари сродни экзистенциалистскому. Свою псевдосвободу, несвязанность канонами они воспринимают как некую приговоренность к жизни в этой реальности. Голубчик замечает: "Я маялся комплексом неполноценности. И полнейшей свободы, когда никто никому не обязан, никто никого не держит и не поддержит, полнейшей воли, когда один в поле воин, ни ответа и ни привета, связан свободой по рукам и ногам, невольник того, чего у тебя нету". Итак, маргинальность в интерпретации Гари – предельная степень отчуждения и изоляции, особая способность отделять главное от

несущественного. Одновременно, смирившись со своим вынужденным *существованием*, герои французского писателя превращают собственную непохожесть на других в сознательную игру; это становится способом самопознания и поиска места в мире.

Софья Фрумкина

Гари, *пишущий по-английски*

Ромен Гари – писатель русский по происхождению, бóльшую часть жизни провел во Франции и написал некоторые произведения по-английски, в том числе романы "Леди Л." и "Цвета дня", которые сам позже перевел на французский язык. Английский язык Гари выучил за годы Второй мировой войны, но первый английский роман был написан им только в 1957-м.

Говоря о творчестве Гари в целом, можно согласиться с оценками Франсуа Бонди, который в 1974 году взял у него большое интервью. Бонди пишет, что Гари "похож на мозаику, сложен из разных кусков – русский, азиат, еврей, католик, француз; автор, который пишет по-французски и по-английски, говорит на русском и на польском". Однако не стоит забывать, что это интервью относится ко времени, когда еще не была раскрыта мистификация, связанная с именем Эмиля Ажара. Сейчас, зная, что под этим именем скрывался Ромен Гари, можно предположить, что творчество на английском языке – первая попытка писателя начать в определенном смысле жизнь заново, что Гари искал новый язык для новых образов, пытался тем самым положить начало своей новой писательской жизни.

Для Гари характерны постоянный поиск нового пути, желание взглянуть на себя, на свое творчество и жизненный опыт со стороны. Он сам говорит об этом так: "Если я долго остаюсь собой, становится тесно – меня душит мое 'я'".

Итак, можно сказать, что английские романы Гари – это еще и смена привычного уже читателю писательского образа.

В первом романе на английском языке "Цвета дня", как и во всех произведениях Гари, много автобиографических мотивов, но, в отличие от большинства других его романов, здесь они проявляются не прямо (как, например, в "Обещании на рассвете") – чертами автора в той или иной степени наделены и Ренье, и Ла Марн, и Вилли Боше.

У Ла Марна общее с автором – эмиграция в детстве во Францию, которую он представлял по рассказам матери и по книгам ("Начав изучать Францию по книгам, он в течение долгого времени слышал ее лишь издалека, как звук охотничьего рога из глубины леса"). Фигура матери очень важна для героя, и это постоянно подчеркивается. Важно и происхождение: сам Ла Марн говорит, что он еврей, и придает данному обстоятельству огромное значение. Однако, как кажется, ключевой мотив для этого персонажа – страсть к пародии и самопародии. Для Ла Марна "пародия – попытка обезоружить реальность прежде, чем она доберет-

ся до него". Гари практически повторяет эти слова в книге "Ночь будет спокойной", и можно предположить, что в них его жизненная позиция.

Автобиографические черты приданы и фигуре Вилли Боше: стремительная карьера в Голливуде, женитьба на известной киноактрисе, совпадает даже количество снятых фильмов (два). Вилли Боше с Энн Гарантье составляют "звездную пару", как Гари с его второй женой Джин Сиберг; их также постоянно преследуют репортеры, их фотографии не сходят со страниц популярных изданий. Однако все это происходило с Гари через несколько лет после написания романа, так что в реальной жизни писатель оказывался скорее не на месте Ренье, а играл роль Вилли Боше, то есть реальная жизнь стала в некотором смысле искаженным отражением вымысла.

Роман "Цвета дня" построен на противопоставлении окружающей реальности и внутреннего мира героев. Каждый из персонажей сам осознанно лепит свое внутреннее "я", понимая его отличие от "я" внешнего; появляется мотив "лицо – маска". Так, Ренье создает свой образ в соответствии с установившимися штампами, он выбирает маску грубости и мужественности, за которой скрывается идеалист, борец за попранные ценности, человек, ищущий истинное счастье. У него в кармане лежит листок, на одной стороне которого изображена обнаженная женщина ("если его найдут, подумают, что в этом причина, – честь будет сохранена"). Однако с другой стороны листка – цитата из американской конституции, слова о праве каждого человека стремиться к счастью, они и представляют реальную ценность для Ренье.

Вилли Боше – человек, который по сути своей остался ребенком. Всю сознательную жизнь он так или иначе искал убежище от реальности, скрывал свое истинное лицо. Он превращает себя в некий персонаж и постоянно носит маску, которой отгораживается от реальности. Для Боше непереносимы полная открытость, подлинность; полдень для него ужасен, так как это время, когда человек вынужден столкнуться со всем, что он обычно отказывается видеть. Боше ведет постоянную игру, ведь напускные вульгарность и банальность – единственная возможность побороть реальность ("реальный мир вызывал у него приступ, как только контакт чересчур затягивался").

Погибает он именно в тот момент, когда понимает, что реальность берет над ним верх, – все, что делается вокруг, происходит не в его воображении, а на самом деле ("Энн, пытался он крикнуть, я не хотел этого, я только воображал!").

Реальность неприемлема и для отца Энн Гарантье. Тот делает все, чтобы свести свою жизнь к чисто условному существованию, "профильтрованному, освобожденному от всего, что могло его ранить". Осознавая, что его настоящее лишено смысла, он живет прошлым: "После ухода жены он выжил как отголосок своей любви, не помнит лица жены, но остается верен ей".

Противопоставление истинного лица и маски проведено у Гари на нескольких уровнях. Действие происходит в зимней Ницце во время карнавала: сравниваются карнавальная стихия и жизнь, лежащая вне этой стихии, однако каким-то образом с нею постоянно соприкасающаяся.

Главные персонажи "Цветов дня" воплощают карнавальное, шутовское начало. Таков Ла Марн, который постоянно меняет имена (соответственно, и лица-маски) и ведет себя в зависимости от того, кем он яв-

ляется в данный момент. Это и "лирические клоуны", находящиеся в вечном поиске идеала, борцы за обреченные идеи (Ренье).

Попытка писательского перевоплощения, выразившегося в смене языка, органична для мирочувствования Гари и его творческих установок, однако она не затрагивает основных, сюжетообразующих мотивов его произведений. В английских романах поиск счастья, идеала, гармонии, любви, справедливости остается для писателя высшей ценностью.

Мария Горбачева

Герои *"экзистенциального приключения"*

Литература "экзистенциального приключения" теснейшим образом связана с исторической и культурной ситуацией XX века, в первую очередь с ситуацией *после* войны – *после* концлагерей, *после* взрыва атомной бомбы; с ситуацией, повлекшей за собой крушение традиционных гуманистических представлений, казавшихся на протяжении нескольких столетий незыблемыми. Гари говорит о крушении "величайшей европейской иллюзии", а один из самых ярких его героев, Морель из "Корней неба", вспоминает "вышедших из моды слонов", "громоздкий пережиток ушедшей геологической эпохи". Разочарование, отчаяние, неверие стали основными категориями мироощущения, воплощенного в послевоенной литературе "экзистенциального приключения"; эти категории родственны другим — трагичности, конфликтности, обреченности.

"Не верю... что дух всесилен. Не верю в благородные соглашения, в миф о человеческом достоинстве. Не верю в силу разума, в превосходство духовной жизни"[1], — восклицает один из персонажей "Корней неба", достаточно четко формулируя банкротство гуманизма как веры в человека и его здравый смысл. От лица самого автора о его героях сказано: "Просвещенные, мыслящие, мечтательные, проницательные... любящие человечество, они подсознательно понимали, что гуманизм — несбыточное искушение".

Тема несостоятельности гуманизма как великой иллюзии постоянно звучит в произведениях Гари. Эта иллюзия становится своего рода фоном, на котором живут и действуют его главные герои — идеалисты, утописты, отчаянные и немного нелепые в своем стремлении удержать, спасти остатки былой веры в человека, ибо она последнее пристанище, которое еще осталось у людей в трагическом XX веке. "Все мои книги до предела напичканы *этим* веком", — признается сам Гари, еще раз подтверждая принципиальную связь собственного творчества с реальностью и культурной ситуацией своего времени ("Ночь будет спокойной").

В литературе "экзистенциального приключения" герой всегда оказывается насильственно вовлеченным, "втянутым" в самую глубь жизни, в самые травмирующие ситуации, в трагические и неразрешимые конфликты и противоречия окружающего мира. У Гари такие конфликты

1. Здесь и далее роман "Корни неба" цитируется в переводе В. Голышева.

предельно заострены: араб — еврей, еврей — немец, тюремщик — заключенный, общество — маргинал, одиночество — толпа, колония — метрополия и т. д. Причем для него принципиально, что источник конфликтов надо искать внутри самого человека: современная история не породила, но лишь спровоцировала и обнажила те противоречия, ту внутреннюю борьбу с "богами" ненависти, глупости, подлости, которую человек ведет постоянно, на протяжении всей жизни: "Стоит только поднять голову, чтобы увидеть их сверкающие доспехи и копья, устремленные на меня в лучах солнца. Сегодня мы старые враги, и я хочу здесь рассказать о своей борьбе с ними".

Именно борьба (сопротивление, преодоление) является магистральной темой литературы "экзистенциального приключения", темой романов Андре Мальро, Антуана де Сент-Экзюпери, Грэма Грина. Эта же тема — в центре внимания Ромена Гари, одного из самых ярких представителей такой литературы. Герой Гари часто оказывается в поистине "предельной" ситуации, в ситуации "экзистенциального выбора", определяющего не только его собственную, индивидуальную судьбу, но и будущее тех утраченных ценностей, "слонов" и "майских жуков", которых так отчаянно и нелепо пытаются защищать последние идеалисты. Для Гари гуманистические идеалы — не какой-то абстрактный набор ценностей и понятий или априори установленные и известные всякому истины, а тот нравственный императив, который каждый человек вырабатывает и определяет для себя сам. В его романах почти обязательной становится ситуация наивысшего напряжения, когда герой находится между жизнью и смертью. *"Le calme de la nuit"* — тишина и спокойствие звездного неба перед страшными бурями Вселенной, когда на небе вспыхивает "оранжевый шар", — вот излюбленный им момент действия.

Оказываясь перед драматическим выбором, герой Гари осознает, что у него есть два пути: навсегда отказаться от этого нравственного императива, впав в отчаяние и страх, ожесточившись (как, например, Орсини из "Корней неба"), спрятавшись в свою скорлупу, покрепче "обмотавшись" своим удавом (как месье Кузен из романа "Голубчик"), или же бросить вызов реальности — встать на защиту "слонов", как Морель и Минна в "Корнях неба". Герои ведут себя по-разному. Они вступают в схватку с вечными "богами", вновь и вновь возобновляют безнадежные попытки победить, научившись жонглировать седьмым мячом, как повествователь "Обещания на рассвете", или упорно не расставаясь со своим игрушечным зонтиком, заменившим друга, как малыш Момо из "Жизни впереди". Однако та "атавистическая неспособность отчаиваться", о которой говорит герой "Обещания на рассвете", движет практически всеми этими персонажами, определяя их существование как бытие "вопреки", бытие "против" того удела человеческого, который навязывает им сама действительность.

"...При малейшей провокации я тут же, сжав кулаки, оборачиваюсь к врагам всего человечества; я делаю все возможное, чтобы принять достойное участие в нашем извечном бунте против обстоятельств, я смотрю на жизнь как на грандиозную эстафету, в которой каждый из нас, прежде чем упасть, должен передать дальше свой вызов — вызов уделу человека... Я верю в счастливый исход этой борьбы..." — говорит рассказчик в "Обещании на рассвете", и здесь, возможно, квинтэссенция философии Гари. При этом позиция "вопреки", по Гари, всегда подразу-

мевает вовлеченность — *со*-участие, *со*-страдание, *со*-причастность происходящему и шире — всему человечеству. Соучастие противостоит безразличию; сострадание понимается как нечто более высокое, чем просто страдание. Сопричастность рождает ощущение братства, также понимаемого шире, чем просто общность судьбы всех отверженных, маргиналов и идеалистов.

Таким образом, жизненная позиция героя, что характерно для литературы "экзистенциального приключения", всегда предельно активна, так как сама ситуация, невольным, а затем и деятельным участником которой он становится, требует этой активности. "Судьбы нет. Господин Рок в перчатках, в цилиндре, с тростью не существует. Существуют мужчины и женщины, страдающие вперемешку, как попало, наудачу... — заявляет Гари, словно формулируя основную идею своих произведений, и продолжает: — Я рассматриваю человека как фронт братского сопротивления против своей изначальной сущности" ("Ночь будет спокойной").

Совершая выбор, "проходя" свое "экзистенциальное приключение", герой Гари неизбежно проходит и определенный путь самопознания, корректирует свои представления о мире и об окружающей действительности, переживает своего рода испытание — именно в соответствии со сделанным выбором. По мысли Гари, выбор совершается каждую минуту человеческой жизни, и введение в повествование "предельной" ситуации — только повод заострить внимание на самой сути и извечной необходимости для каждого этот выбор сделать, ощутив и осознав реальность тех понятий и категорий, которые в условиях новой действительности уже стали казаться лишь призраками, "пережитками" давно ушедшей эпохи. Исход этой борьбы более всего занимает автора.

Важно, однако, что итоги "схватки с богами", с действительностью и с самим собой в романах Гари далеко не всегда однозначны. Рядом с оптимистическими словами о триумфе Мореля, о неистребимости "майских жуков" и "улыбке природы", которая останется всегда и вопреки всему, звучит и некоторая ирония над отчаянными попытками "поймать седьмой мяч", одержать окончательную победу: "Я часто выигрывал в своей жизни, но мне понадобилось много времени, прежде чем я понял, что можно выиграть битву, но нельзя выиграть войну. Для этого необходима помощь со стороны, которой пока что ждать неоткуда" ("Обещание на рассвете"). Индивидуальный, одинокий бунт, по Гари, — единственно возможная и достойная позиция человека в наше время, если он хочет остаться человеком. Однако это трагический бунт — в силу своей исключительности и единичности; "последний, несуразный крик наивысшего человеческого мужества".

Есть у Гари небольшой, но очень интересный рассказ с симптоматичным названием "Гуманист". Это история Карла Леви, немецкого фабриканта и убежденного гуманиста, отказавшегося после прихода к власти Гитлера эмигрировать и решившего отсидеться в подвале собственного дома, обложившись сочинениями любимых писателей — поборников гуманизма. В этом рассказе выражена не только последовательная и непоколебимая вера в идеалы "великодушия, справедливости, разума"[1], но и подвергнута проверке их состоятельность, а также воз-

1. Здесь и далее рассказ цитируется в переводе С. Козицкого.

можность их защищать. Сопротивление реальности поставлено под сомнение, а в некоторых местах даже отчетливо пародируется, и тем самым поставлен под сомнение тип героя, который преобладает в таких романах, как "Корни неба", "Обещание на рассвете", "Жизнь впереди". "Главное — не терять веру, не впадать в уныние, хотя не мешало бы и принять кое-какие меры предосторожности", — думает гуманист Карл, не очень веря ни в самодостаточность гуманизма, ни в собственные силы. Проходят дни, недели, годы, а он все сидит в подвале, не решаясь выйти наружу. "...Тем не менее оптимизм и вера в человечество крепли, он мужественно держался в своем погребе, ожидая, пока на земле восторжествуют великодушие и справедливость..."

Инна Странцова

Мифология Гари

Африканский континент на протяжении долгого времени привлекал писателей своей экзотичностью, архаичностью и первозданной природой. В романе "Корни неба" Ромен Гари показывает Африку под двумя углами зрения. С одной стороны, мы видим законченный мифопоэтический образ континента: бескрайние песчаные просторы, саванны, темное звездное небо. Африка выступает в романе как некий космос, где разворачиваются события. С другой стороны, Африка рисуется в состоянии распада и морального упадка, который не так давно пережила Европа.

Как мне кажется, мифологическая окраска в описаниях этого континента все же превалирует. Это связано с тем, что африканский континент вплоть до наших дней смог сохранить многие архаические верования и представления, оставаясь своего рода "колыбелью человечества". В романе этот мотив обыгрывается не раз (например, в диалоге между Сен-Дени и Пером Квистом, который вернулся в Африку, чтобы умереть). Показательно, что государством, которое Гари выбрал местом действия, стал Чад — центр, сердце Африки. Приезд героев в Африку переплетается с важнейшими для Гари мотивами — поиска дома и в буквальном смысле тепла, а также поиска самого себя. Уже в середине романа читатель узнает, что все герои, вставшие на сторону Мореля, оказываются в Африке именно с целью самопознания и в надежде обрести дом. Африка стала для них той землей, где "корни неба", глубоко вросшие в их душу, сумеют дать побеги.

Вечной, мифологической Африке противопоставляется реальная ситуация на континенте: "Люди заволновались, в Кано (в Британской Нигерии) вспыхнула борьба между сторонниками и противниками Федерации; на востоке жгли и заливали кровью издавна самые мирные территории Африки; с севера грозно заявлял о себе ислам, арабы опять захватили древние дороги работорговцев; наконец, на юге Африки выходки буров разбередили в душах черных древние раны". Роман датирован 1956 годом, когда древнейшая земля начала приходить в состоя-

ние войны и хаоса, из которого с таким трудом выбралась Европа. В романе много раз упоминается об ужасах войны, развязанной Гитлером, о кошмаре установленного им режима. Морель пришел именно в Африку бороться за свою свободу и достоинство, за свои "корни неба", ведь здесь еще не полностью разрушена связь времен, поколений. Конфликт ощущается тем более остро, так как это последнее место на земле, где сохранилось что-то подлинное, первозданное.

"Корни неба" – основная метафора в романе Гари, которая обладает емким смыслом. "Мусульмане называют это "корнями неба", а индейцы Мексики – "древом жизни"; и те и другие падают на колени и воздевают к небу глаза, в муках колотя себя в грудь. Потребность в защите живого, которую упрямцы вроде Мореля пытаются утолить воззваниями, комитетами борьбы и обществами охраны природы, эти люди хотят насытить сами, нуждаясь в справедливости, свободе, любви – в этих корнях неба, так глубоко вросших им в сердце".

В другом месте читаем: "Корни неба бесчисленны, красота их бесконечна и разнообразна, и некоторые так глубоко вросли в человеческую душу: беспрестанное, мучительное стремление ввысь и вперед, потребность в бесконечном, жажда, предчувствие чего-то иного, безграничное ожидание – все это, сведенное к человеческим масштабам, есть потребность в собственном достоинстве. Свобода, равенство, братство, достоинство... Нет корней более глубоких и при этом более хрупких..."

Касаясь мифологического пласта романа, еще раз упомянем такие понятия, как мировое древо и древо жизни – они обеспечивают смену поколений в мире и связь всех его частей. Африка – континент, где на исконные племенные представления наслоились ислам и традиции европейских народов. В исламе мировое древо имеет вертикальный вид, а, например, в верованиях, распространенных в Западном Судане, что находится недалеко от Чада, – горизонтальный: там мировое древо соединяет все части света.

Слоны на фоне африканской природы – ключевой образ романа. В самом начале говорится, что слоны Мореля – символ, и символ поэтический. Показателен эпизод, где описывается нацистский лагерь; там люди изобрели способ бороться с замкнутым пространством, представляя стада слонов, бегущих по вольным просторам Африки. Очень часто герои романа видят слонов на горизонте и думают о бескрайности человеческих мыслей и стремлений. Для Гари слоны – это "могучий символ естественной свободы". Неоднократно в романе применительно к слонам встречаются слова "анахронизм", "пережиток прошлого". Они относятся здесь и к таким понятиям, как гуманизм, внутренняя свобода человека, любовь ко всему живому. Человек, сохранивший в себе эти качества, уже не может найти места в современном мире.

Сен-Дени, рассказывая об Африке, говорит: "Попутно я больше верю в фетиши моих черных, чем в ту политическую промышленную дешевку, которой их пытаются завалить. Да, я, конечно, анахронизм, пережиток минувшей геологической эпохи, – кстати, как и слоны, раз о них зашла речь. По сути, я и сам – слон". Человек, пытающийся сохранить ценности гуманизма, которые смогут обеспечить связь поколений и времен, становится анахронизмом. Европа в течение длительного времени истребляла человека. В Африке тысячами истребляются слоны, причем убивают их сами черные.

Показательно, что в мифопредставлениях африканцев образ слона играл ключевую роль. Например, предкам царских династий и знатным вождям приписывалось происхождение от слона. Слон принимал участие в обряде инициации. Слон и человек в африканских верованиях неразрывно связаны. Истребление слонов в Африке — это то же самое, что истребление человека, конец мироздания. Отец Фраг сравнивает Бога с животным. У Гари "корни неба" повелевают защищать слонов. Возникает связующая вертикаль между небом и землей, между "тем" миром и "этим", между Богом и человеком.

Екатерина Тарасова

"Пожиратели звезд": заметки на полях

В романе "Пожиратели звезд" (1960) Гари предложил свою интерпретацию сюжета о докторе Фаусте — на современном для автора материале. Писатель существенно изменил мотивировку поступков героя. В традиционной легенде Фауст продает душу дьяволу ради абсолютного знания. Гари переворачивает эту схему: для диктатора Альмайо, правителя одной из латиноамериканских стран, само понятие "душа" эфемерно, и стремится он к абсолютной власти. Мысль о сделке с дьяволом приходит в голову не средневековому чернокнижнику ("Народная книга о докторе Фаусте") и не ученому ("Доктор Фаустус" Кристофера Марло, "Фауст" Гёте), а индейцу с его примитивными, на взгляд европейцев, представлениями: "Он оказался в точности таким, каким его описывал отец Хризостом, а потом все учителя из Сан-Мигеля... Вокруг него развевались языки пламени и лежали пачки банкнот со знаком доллара; позади стояли голые девицы... В руке он держал американский флаг, которым размахивал. Справа были видны пушки, танки, люди в военной форме и самолеты, сбрасывавшие бомбы; разумеется, как и утверждали священники, у Эль Сеньора были раздвоенные копыта и рога, но еще у него была седая бородка; на нем был жилет, вышитый знаками доллара, и цилиндр с лентой в виде американского флага. Одна нога его стояла на теле убитого крестьянина, голодная жена которого сжимала в руках исхудалого ребенка..."[1]

Легенда о Фаусте — сюжет, часто используемый Гари. В "Обещании на рассвете" Гари пишет, что настоящая трагедия Фауста заключается "не в том, что он продал душу дьяволу. Настоящая трагедия в том, что нет никакого дьявола, чтобы купить вашу душу". Эта идея высказывается и в "Пожирателях звезд". "Никому еще никогда не удавалось продать свою душу, милейший. Спроса нет. Это — всего лишь одна из тех лживых надежд, которыми нас убаюкивали, дабы не падали духом и стояли на своем", — говорит марионетка Оле Йенсен. Гари убежден, что не существует никаких надличностных ценностей, никакого абсолюта, идет ли речь о добре или зле. Судьба человека творится не могущественными бо-

1. Здесь и далее роман "Пожиратели звезд" цитируется в переводе Е. Капитонова.

гами, а им самим, его отношениями с миром. Однако сомнение в существовании абсолюта не единственный аспект, интересующий Гари в трагедии Фауста. Для писателя важна попытка средневекового героя жить по особым законам, маргинальность последнего. Всю жизнь Гари вставал на защиту маргиналов в самом широком смысле этого слова — социальном, психологическом и т. д. В "Пожирателях звезд" идея особой участи маргинала иллюстрируется изображением латиноамериканского мира. Легенда, возникшая в лоне западной цивилизации, воссоздается на принципиально иной почве, и действие приобретает фарсовые черты, хотя коллизия по-прежнему остается трагической. Писатель настаивает на праве индейской цивилизации существовать и развиваться по собственным законам. Гари пишет о чуждости и враждебности двух культур и о том, что любое навязывание взглядов или ценностей, неприемлемых для одной из них, неизбежно порождает зло. Собственно, насильственное вторжение европейцев с их комплексом представлений и ценностей в стихию индейской жизни и становится истоком того зла, которое совершает диктатор.

Бóльшая часть повествования ведется от лица безымянной американки, любовницы Альмайо, пытающейся донести до индейцев достижения прогресса. По ее приказу возводятся университет и библиотека, прокладываются телефонные линии и современные дороги. Однако эти начинания ни к чему не приводят, так как встречают враждебную реакцию индейцев. Истины, бесспорные для сознания людей Запада, их интеллектуальные концепции подвергнуты в романе проверке, и становится очевидно, что они вовсе не имеют общечеловеческого значения.

При столкновении двух культур многое из того, что прежде почиталось за безусловное и самоочевидное, наполняется иным смыслом или обесценивается. Так, один из героев романа, доктор Хорват, молодой американский священник, "неутомимый и вдохновенный борец с врагами Господа", представитель современной просвещенной церкви, работающей во имя прогресса, оказавшись в "предельной" ситуации, в положении между жизнью и смертью, при соприкосновении с иррациональной стихией испытал необходимость переосмыслить все догмы, которыми он привык руководствоваться в жизни. Ведь в этом мире его борьба с дьяволом воспринимается как его прославление — поэтому-то Хорват и получил приглашение от диктатора. Былые истины оказываются иллюзиями.

Понятие "иллюзии" приобретает в романе Гари смысл экзистенциальной категории. Очень существенно, что большинство персонажей романа — фокусники, создающие иллюзорный мир. Индейцы же жуют листья масталы — растения, вызывающего наркотический дурман, и тоже постоянно погружены в грезы. Соприкасаясь с индейской жизнью, "цивилизованные" герои начинают ощущать призрачность своего существования.

В изображении латиноамериканского мира роман созвучен произведениям многих писателей этого континента (Габриэля Гарсиа Маркеса, Марио Варгаса Льосы). Бытие индейцев описывается как первобытный хаос, где в неразрывной взаимосвязи сосуществуют добро и зло, любовь и ненависть, прошлое и настоящее, а плотское начало доминирует над духовным. Перед нами стихия вечного, в которой отсутствуют какие бы то ни было хронологические границы и рамки. В романе есть

черты современности, упоминаются битники, Гитлер, Сталин, Синатра, но все это приметы преходящие и случайные, тогда как круг существования индейцев незыблем. Соотечественники Альмайо, живя в не подчиняющемся законам времени магическом пространстве, и сами как бы не имеют возраста. "Что же до доктора Хорвата, то он не питал ни малейших иллюзий, нисколько не верил словам негодяя Гарсиа, которого *много веков назад* кто-то забыл расстрелять".

На рубеже 50-60-х годов на Западе широкое распространение получили революционные теории, и попытки воплотить их на практике будоражили мир. Было модно говорить о Фиделе Кастро, Че Геваре... Роман Гари, написанный одновременно и в полемике и в согласии с этими настроениями, обладал определенной злободневностью. Однако, как и большинство его произведений, "Пожиратели звезд" затрагивают и современные и вечные проблемы. Гари — очень человечный писатель, он касается тем и мотивов, которые будут волновать людей в любое время. Этим, видимо, можно объяснить популярность, которой неизменно пользуются его книги.

Дарья Бондарчук

Г*ари/*А*жар – двое в одном*

Читая самые известные романы, подписанные Ромэном Гари или Эмилем Ажаром ("Обещание на рассвете", "Пожиратели звезд"; "Голубчик" и "Жизнь впереди"), мы встречаем общую проблематику и некоторый комплекс мотивов, образующие художественный мир этого автора. Конечно, зная о знаменитой литературной мистификации, легче говорить о сквозных мотивах, звучащих в произведениях Гари/Ажара. И все-таки: возможно ли, оставаясь самим собой, человеком с определенным жизненным и духовным опытом, писать с совершенно разных позиций, вставая, например, на "ажаровскую" точку зрения? До какой степени осуществимо полное перерождение писателя при смене языка, стиля или псевдонима?

Думается, что, несмотря на несколько попыток Гари "сменить кожу" (до появления Ажара были и другие "маски"), в его произведениях всегда оставалось общее ядро — одни и те же мотивы поступков героев, сходные ситуации, переживаемые ими. Писатель каждый раз воссоздает мир, в котором люди существуют вопреки бесчеловечным законам природы и социума ("хочешь не хочешь, а жить-то приходится"), где каждый в одиночку борется за то, чтобы сохранить хоть какую-то часть себя, хоть каплю человеческого достоинства. Беседуя с Франсуа Бонди ("Ночь будет спокойной"), Гари говорит, что в современном мире, полном цинизма, мошенничества и шарлатанства, существуют лишь "мужчины и женщины, страдающие вперемешку, как попало, наудачу".

Его героев объединяет неистребимая, почти по-детски наивная вера в чудо, в некую высшую силу, которая противостояла бы несправедливости окружающего мира, где властвует страдание. И очень час-

то герои эти терпят крах, как Хосе Альмайо из "Пожирателей звезд", который остался "один во вселенной, внезапно показавшейся лишенной всякого смысла – не было в ней ни таланта, ни магии, ни тайной власти".

И тем не менее вера в волшебство, надежда на чудо становятся главной силой, движущей героями и спасающей их от отчаяния. Сам Гари признает, что его всегда привлекало чудесное, что в каком-то смысле без этой "погони за чудом" невозможно творчество ("Ночь будет спокойной").

Воображение, творческое начало для многих героев Гари – единственный способ переделать мир, "подправить" реальность: Роман ("Обещание на рассвете") обращается для этого к литературе; для Момо ("Жизнь впереди") монтажный стол обладает магической силой, потому что дает возможность "переиграть" жизнь, пустив ее вспять. Эта вера в то, что чудо поможет достичь счастья и гармонии, держит героев Гари/Ажара, спасает вселенную от распада.

Чудесное в романах Гари/Ажара зачастую обретает форму клоунады, карнавального веселья, шутовства. Хосе Альмайо окружает себя клоунами, фокусниками, чревовещателями и прочими кудесниками, среди которых он надеется найти "величайшего волшебника" – дьявола, который мог бы наделить его абсолютной властью. С помощью всесильного "мага" он надеется восстановить справедливость и оправдать все те страдания и жестокость, с которыми ему пришлось столкнуться в жизни. На протяжении всего пути он ищет идеал, совершенную силу, абсолют, но, потеряв последнюю надежду ("Тебя вообще нет", – говорит он Джеку, которого считал дьяволом), утратив веру в высшую справедливость, погибает.

Мотив клоунады возникает и в "Жизни впереди". Малыш Момо приходит в магазин посмотреть на витрину, где был устроен цирк, который кажется мальчику самым прекрасным на земле: "Это ничуть не было похоже на жизнь ни в каком отношении... В этом цирке все были счастливы, а в жизни так никогда не бывает". Глядя на разноцветных клоунов, Момо чувствовал себя счастливым, потому что понимал, "что они не страдают, не стареют и что с ними уж точно никакой беды не может случиться". Он не испытывал страха, так как знал, что "клоуны не умирают, потому что в смерти нет ничего смешного".

Скромный клерк по прозвищу Голубчик обращается к чревовещателю Паризи, в совершенстве владеющему "искусством самоубеждения, диалога с собой... со всей вселенной". Однако оказывается, что все попытки "войти в диалог" с окружающими – иллюзия, что "ответа не дождешься. Нет даже резонанса. Звук тонет в глухоте". Голубчик – "одинокий человек, затерянный под крышами Парижа", в мире, оставленном Богом. Лежа в обнимку со своим любимым удавом, он втайне мечтает, чтобы тот "сделал грандиозный скачок в эволюции и заговорил".

Центральными персонажами романов Гари/Ажара неизменно становятся маргиналы, люди, существующие вне социальных, национальных, религиозных рамок и установлений. Однако у Гари эта маргинальность совершенно лишена негативной коннотации, наоборот, только в такой среде можно еще найти настоящие человеческие чувства, способность к любви и сопереживанию. Так, например, трансвестит мадам Лола, принадлежащая к той породе людей, что "слишком отличаются от

всех, а такое никогда не прощают", оказывается способна на настоящие материнские чувства — в отличие от женщин, сдающих своих детей в приюты.

Герои романов Гари существуют в опрокинутом, вывернутом наизнанку мире, где все направлено против человека, и само устройство человеческого общества, кажется, призвано уничтожить всех слабых или слишком необычных. Они живут наперекор законам реальности и борются за сохранение самих себя в равнодушном и обезличивающем мире. Хосе Альмайо пытается преодолеть жалкую судьбу крестьянина-кужона и подняться до самых вершин власти. Роман, сын русской эмигрантки, всеми способами хочет добиться славы, чтобы как-то уравновесить несправедливость, выпавшую на долю его матери. Арабский мальчик Момо сохраняет любовь и сострадание к старой воспитательнице-еврейке. Одинокий Голубчик изо всех сил стремится прорваться сквозь стену человеческого безразличия к любви и пониманию.

Вот это стремление преодолеть свою отчужденность и одиночество, найти контакт с миром, превозмочь судьбу, исправить несовершенство мира и роднит героев Гари/Ажара. Это, как мне кажется, и есть тот общий знаменатель, та точка, где соприкасаются такие разные и в то же время в чем-то схожие романы. Меняя "маски", Гари оставался собой.

Статьи, эссе

Дэвид Лодж
Разные жизни Грэма Грина[1]

Перевод с английского О. Макаровой

1

Не знай читатели Грэма Грина прежде всего как романиста, он сохранился бы в их памяти как талантливейший литературный обозреватель, кинокритик и эссеист XX века. Рецензируя первый том монументальной биографии Генри Джеймса, принадлежащей перу Л. Эделя, Грин с присущим ему проницательным остроумием заметил:

В каком-то смысле этот том является пробным камнем, поскольку материалы для него по большей части почерпнуты у самого объекта исследования, в его неотразимо обаятельных и полных лукавства книгах "Маленький мальчик и другие" и "Записки сына и брата". Мистер Эдель, человек весьма компетентный и лишенный благоговейного трепета перед своим героем, умело проникает сквозь созданную им дымовую завесу, не позволяя Джеймсу раствориться в сиянии его писательской славы.

За подобной же дымовой завесой всю жизнь таился и сам Грэм Грин, лишь иногда позволявший любопытным журналистам, а впоследствии и биографам бросить беглый взгляд на те или иные события своей личной жизни (будь то душевные травмы или безрассудные поступки, вроде игры в русскую рулетку) — и не дававший угаснуть интересу публики к собственной персоне. Завершается вышеупомянутая рецензия словами, которые сегодня вполне могут быть отнесены и к самому Грэму Грину. Полагая, что Эдель продолжит жизнеописание Г. Джеймса, и размышляя о том, как непросто будет биографу осветить зрелые годы писателя, который и сам скупился на слова, когда об этом заходила речь, Грин говорит:

Именно этот период жизни Генри Джеймса, скрытый за фасадом его общественной деятельности, <...> изобилует неясностями, напоминающими зачехленную мебель в роскошном особняке. Однако вскоре вспыхнет свет, покровы будут сдернуты, и даже сам автор, который с такой невероятной истовостью раскапывает тайны в романе "Священный источник", не сможет предъявить претензии своей серьезной и добросовестной ищейке, случись ей обнаружить то, о чем, по его мнению, не принято говорить вслух.

Однако сам Грэм Грин не проявил подобной снисходительности к сыскной работе биографов, которые со временем взялись и за него. Впрочем, к началу 70-х годов он, похоже, согласился с мыслью (или поддался уговорам семьи), что лучший способ отвадить непрошеных следопытов — это самому заказать авторизованное жизнеописание. Официальным биографом был избран Норман Шерри, автор двух научных трудов о Джозе-

© David Lodge, 1996
© О. Макарова. Перевод, 2001

1. Обзор книг: Norman Sherry. The Life of Graham Greene. Vol. 2: 1939–1955. London, Cape, 1994; Michael Sheldon, Graham Greene: The Man Within. London, Heineman, 1994; Anthony Mockler. Graham Greene: Three Lives. The Guynd by Arbroath, Hunter Mackay, 1994; Leopoldo Duran. Graham Greene: Friend and Brother. New York, Harper Collins, 1994. (*Прим. авт.*)

фе Конраде, которые Грин прочел с восхищением. Для Шерри, преподававшего тогда английскую литературу в ничем не примечательном университете города Ланкастера, это стало столь же ярким событием, каким бывает в жизни провинциального актера неожиданное приглашение на ведущую роль в голливудской киноэпопее.

Поначалу казавшийся подарком судьбы заказ Грэма Грина впоследствии обернулся проклятием, чтобы не сказать распятием, для Нормана Шерри. Взяв на себя непосильный труд повторения всех путешествий Грина (который был одним из самых непоседливых писателей XX века), Шерри перенес много испытаний и невзгод: и временную потерю зрения, и жестокую дизентерию (настигшую его в той же мексиканской деревушке, где ею некогда мучился и сам Грэм Грин), и чуть не стоившую ему жизни загадочную тропическую болезнь, вследствие которой ему удалили часть кишечника (как не вспомнить тут зловещие слова чиновника из "Сердца тьмы" Дж. Конрада: "Людям, сюда приезжающим, не следовало бы иметь никаких внутренних органов"[1]). Пришлось пожертвовать биографу и штатной университетской должностью, причем гонорара, который бы покрыл его финансовые потери и издержки, он так и не увидел: согласно недавнему отчету в "Паблишерз уикли" (от 27 февраля 1995 года), своим издателям он остался должен 78 тысяч фунтов.

Что же касается Грэма Грина, то он и сам испытал немало неудобств от затеянного им предприятия и, по признанию Шерри, соглашался на интервью с опаской и нечасто. Он тщетно пытался поставить пределы свободе исследователя и как-то даже сделал вид, что и вовсе не заказывал ему столь подробного и тщательно документированного труда. Из уст Грина прозвучало довольно-таки обескураживающее пророчество, которому, по большей части, суждено было сбыться: он успеет прочесть первый том своего жизнеописания, но второго – так и не увидит, а до третьего не доживет и сам биограф. Почти тогда же, когда писатель засадил за работу Нормана Шерри, он подружился с Леопольдо Дураном, испанским священником и университетским преподавателем, специалистом по английской литературе, который посвятил свою докторскую диссертацию религиозным подтекстам в романах Грэма Грина. Писатель подвигнул Дурана на запись их бесед во время совместных поездок по Испании, явно надеясь превратить его в своего Босуэлла[1], чьи восторженные свидетельства станут противовесом "объективной" биографии Нормана Шерри.

Леопольдо Дуран вспоминает, что Грин всегда мрачнел при упоминании о книге, над которой трудился Шерри, и советовал ему избегать "самозваного биографа по имени Моклер". Когда в 1989 году Энтони Моклер стал печатать главы своей биографии Грина, намереваясь тем самым обскакать Нормана Шерри, герой обеих книг прекратил незаконную публикацию с помощью судебного преследования. В апреле 1991-го, через три года после смерти Грина, Моклер выпустил в свет новую редакцию приостановленного писателем исследования, и одновременно Майкл Шелден, американский ученый, автор книг о С. Конноллли[2] и Дж. Оруэлле, опубликовал одну из самых разоблачительных литературных биографий нашего времени, переполненную такими подробностями, о которых действительно не принято говорить вслух.

На фоне всего этого копания в грязном белье покойного писателя рассказанное Шерри представляется нам весьма достоверным отчетом о противоречивом жизненном пути Грина. Как-то раз, провожая Шерри на вокзал после одного из интервью,

1. Перев. с англ. А. Кривцовой. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

1. Джеймс Босуэлл (1740–1795) – английский писатель-мемуарист, прославился книгой "Жизнь Сэмюэла Джонсона" – жизнеописанием известнейшего критика, лексикографа, романиста и эссеиста.
2. Сирил Коннолли (1903–1974) – английский писатель.

Грин поделился с ним слухом о том, что его жена Вивьен намеревается писать книгу о проведенных в супружестве годах:

Грин сказал мне об этом и, изобразив на лице полное отчаяние, тонким голоском пропел песенку из старой оперетки: "Брось на гроб старикана землицы, хватай перо и валяй пиши". Голос его прозвучал столь печально, что я застыл от смущения, почувствовав себя невольным свидетелем его страдания.

По выходе в 1989 году, еще при жизни Грина, первого тома написанной Шерри биографии (1904–1939 гг.) писатель и сам, должно быть, пытался понять, подпортила или же укрепила его репутацию эта санкционированная им книга и сотрудничество с ее автором. Прежде всего она запомнилась двумя, отнюдь не лестными для ее героя, особенностями. Во-первых, в ней вскрывалась причина его одержимости идеей измены и предательства. Разумеется, Грин и сам писал о том, что впервые познал их в Беркампстедской школе, где его нередко задирали однокашники и где он пережил немало унижений и страхов, причем страдания его усугублялись тем, что в извечной войне между учителями и учениками, столь характерной для подобных заведений — а директором школы служил его отец, — он становился то на одну, то на другую сторону. Однако Шерри, с его неутомимым упорством и изощренной въедливостью, удалось докопаться до все объясняющего факта: нарушив неписаный кодекс чести, Грин как-то раз выдал своего мучителя, мальчишку по имени Картер, которого незамедлительно исключили из школы. Подобного рода предательство, всплывшее на поверхность в первом же написанном им романе "Человек внутри" (1928), будет тревожить творческое воображение писателя всю последующую жизнь.

Другая запоминающаяся черта — это тщательно документированный (со ссылками на дневники и переписку) рассказ о необычайно яркой эмоциональной и сексуальной жизни Грэма Грина, особенно в пору его ухаживания за Вивьен Дейрелл-Браунинг и женитьбы на ней. Эта же история — в более сжатой форме, но с новыми подробностями — приводится и в книгах Шелдена и Моклера.

Еще будучи студентом Оксфорда, Грин стал редактором журнала "Оксфорд аутлук" и в февральском выпуске за 1925 год поместил статью о сексе, религии и кинематографе, которая имела для него весьма серьезные и неприятные последствия. Начиналась она словами: "В большинстве своем мы непомерно сластолюбивы. Мы мечемся между церковью, где поклоняемся Деве Марии, и публичным домом с продажными девками; мы скалим зубы над сальными стишками и анекдотами. Подобное извращение полового инстинкта оказывает тлетворное влияние на все искусство в целом и в особенности на кинематограф и театральную сцену". Само собой разумеется, Грин был выпестован англиканской церковью, однако в ту пору был неверующим. Некая молодая сотрудница оксфордской издательско-книготорговой фирмы "Блэкуэлз", недавно перешедшая в католичество, обратилась к автору статьи с письмом, где упрекала его в неправильном употреблении церковных терминов при обсуждении католического культа Девы Марии. Грин пригласил Вивьен Дейрелл-Браунинг на чашку чая, а затем сводил в кино на фильм "Безрадостный переулок" с Гретой Гарбо в главной роли.

Ироническая подоплека этого эпизода достаточно многослойна. В вопросах секса Грин и сам отличался болезненной противоречивостью, которую столь безапелляционно заклеймил в своей студенческой статье: его одновременно и привлекали, и отвращали любовные акты, и женщин он по укоренившейся привычке делил на святых и блудниц (к этим мотивам он неоднократно возвращался в своих романах). Увидев в Вивьен Мадонну, он воспылал к ней романтической любовью. Девушке в ту пору было всего девятнадцать лет, чувства ее были незрелы, к тому же она была девственницей и, по собственному

признанию, испытывала отвращение к физической стороне любви. Выходить замуж за Грина ей совсем не хотелось — ей вообще не хотелось замуж. Однако он поставил себе цель покорить ее сердце, в чем и преуспел, продемонстрировав исключительную силу воли и обрушив на избранницу поток любовных писем: за два с половиной года их было написано около двух тысяч, иногда она получала от него по три послания в день.

Ради нее он прошел катехизацию и был принят в лоно святой церкви. Тогда же он попытался избавить ее от страха перед сексом — предложил ей брак без супружеской постели. Согласно Моклеру, в ответ Вивьен выступила с куда более странным предложением: если ее мать усыновит Грина, они смогут жить как брат с сестрой. Грин начисто отверг эту идею, однако, рисуя заманчивые картины предстоящего медового месяца, обещал, что у них будут отдельные спальни. Не в силах отвергнуть столь пылкую галантность, Вивьен сдалась и согласилась стать женой Грина. Он торжествовал и наслаждался счастьем. Однако, как удалось установить Шерри, в первый же год супружеской жизни он стал наведываться к женщинам легкого поведения. По утверждению Моклера, Грин зачастил в злачные заведения сразу после того, как предложил Вивьен руку и сердце.

Проститутки, без сомнения, привлекали Грина на протяжении всей его жизни. В середине 30-х годов с одной из них по имени Аннет, у него был вполне серьезный роман, а героиней его книги "Почетный консул" стала представительница древнейшей в мире профессии. Он непременно посещал публичные дома во всех странах, куда его заносила судьба, причем нередко ради впечатлений, а не оказываемых там услуг. Однако такое потакание собственному сластолюбию с первых же дней супружеской жизни едва ли могло благотворно сказаться на ее дальнейшем течении. Хотя Грин безусловно испытывал к Вивьен теплые чувства, посвящал ей книги и регулярно писал нежные послания, он сознательно провел большую часть супружеской жизни отдельно от нее и своих двух детей, причем уединение зачастую делила с ним та или иная любовница.

Имеются свидетельства того, что семейным отношениям мало способствовала также католическая метода планирования семьи. Грин полностью разделял убеждение С. Коннолли в том, что "детская коляска в коридоре — злейший враг искусства", но Вивьен оставалась в этом отношении послушной дочерью католической церкви. Согласно Моклеру, супружеская спальня их была разделена занавеской, предназначенной содействовать воздержанию. В беседах с Леопольдо Дураном Грин с завидным постоянством критиковал запрет католиков на искусственную контрацепцию и, насколько мне известно, отослал мой роман "Падение Британского музея" архиепископу Вестминстерскому кардиналу Хинану, питая слабую надежду на то, что сатирическое развитие этой темы окажется для кардинала поучительным.

Однако секс был не единственной причиной несовместимости супружеской четы. Грэм Грин, обуреваемый таинственными демоническими силами, наделенный блестящими талантами, переменчивый и погруженный в собственные переживания, порой впадал в депрессию, граничившую с самоубийством. В противоположность ему Вивьен была робкой, пассивной, приверженной условностям и весьма положительной на английский манер особой. Как справедливо замечает Моклер, "двум столь непохожим людям, надо полагать, не стоило даже и думать о том, чтобы связывать себя узами брака". Этот брак принес им и счастье, и несчастье, однако в то время как Грин чувством вины за доставляемые жене страдания подпитывал свое вдохновение, Вивьен была просто по-житейски несчастна. Хотя, как и Грин, она, похоже, не могла или не хотела решиться на развод — лишь через многие годы их супружество потерпело окончательный крах.

Дальнейшее развитие деликатной темы неблагополучного брака мы находим во втором томе биографии Нормана Шерри. По словам са-

мой Вивьен, супружеские отношения прекратились как раз перед началом Второй мировой войны, но эпизодически Грин и Вивьен делили постель вплоть до 1947 года, хотя Грин большую часть времени проводил вне дома. С 1935 года и до начала войны пристанищем для семьи служил построенный в стиле королевы Анны особняк в Клапаме. Как писатель на вольных хлебах Грин пробавлялся тогда случайными заработками: к скромным гонорарам за художественные произведения приплюсовывалась плата за рецензии на книги и фильмы, путевые заметки, сценарии. Трудился Грин с каким-то маниакальным упорством, и не только ради денег, но, как можно предположить, и для того, чтобы заглушить разочарование в личной жизни и уйти от семейных конфликтов. А возможно, осознав неизбежность войны, он, подобно многим другим, почувствовал, как мало у него времени, чтобы сказать свое слово в английской литературе. В 1939 году он писал одновременно две книги: "Доверенное лицо" — "развлекательный роман", которому отводил первую половину дня и который закончил за полтора месяца, а кроме того, роман "Сила и слава", над которым трудился по вечерам, для сохранения работоспособности прибегая к такому допингу, как бензедрин. Будучи не в силах писать дома, он снял — поначалу только для работы — комнату в Блумсбери. Жившая по соседству дочь его домохозяйки по имени Дороти Глоувер, в прошлом танцовщица, а впоследствии книжный иллюстратор, перед самой войной или немного раньше стала его любовницей.

Читавшие "Доверенное лицо", возможно, припомнят один довольно живой эпизод: герой по имени Д., спасаясь бегством от убийц, врывается в пустующую квартиру — на двери которой висит табличка с фамилией "Глоувер". Обстановка подсказывает герою, что хозяйка квартиры — "незамужняя стареющая женщина, очевидно, довольно ограниченная"[1].

1. Перев. с англ. М. Виленского и З. Юрьева.

Эта понятная только двоим шутка — а Грин нередко прибегал к подобному в своих романах — была адресована Дороти и исключала из игры Вивьен, которая, возможно, прочла этот пассаж задолго до того, как стала догадываться о существовании в жизни мужа женщины по фамилии Глоувер. Тем временем началась война, и он отправил Вивьен с детьми в более безопасное (хотя и менее комфортабельное) место — к своим родителям, а затем к друзьям в Оксфорд.

Сам Грин оставался в Лондоне якобы в семейном особняке, однако бóльшую часть времени проводил с Дороти. Супружеская измена, по иронии судьбы, спасла его от верной смерти, поскольку как-то ночью, когда он был у своей подруги в Блумсбери, в их дом в Клапаме попала немецкая бомба (впоследствии изменивший свою реальную топографию эпизод спасения был помещен в роман "Конец одной любовной связи"[1]). Грин как будто разом освободился от тяготивших его уз добропорядочного семьянина. Журналист Малькольм Маггеридж заметил, что не может забыть "того ликующего выражения лица, с которым Грин сообщил ему о гибели дома, где жил с семьей". Через несколько лет Грин довершил начатое немецким бомбардировщиком в своем мрачноватом юмористическом рассказе "Разрушители", исполненном красочных подробностей. Лишившаяся семейного гнезда Вивьен была вне себя от горя и с той поры занялась коллекционированием старинных кукольных домиков. Их брак все более походил на психологические драмы Стриндберга и Ибсена разом. Однако знакомство Вивьен с Дороти Глоувер, состоявшееся во время ее случайного посещения лондонской квартиры Грина в один из послевоенных дней и впоследствии ею описанное, скорее вызывает в памяти фарсы в духе Ноэла Коуарда[2]:

1. Впервые на русском языке роман был опубликован под названием "Конец одного романа" ("Иностранная литература", № 5—6, 1992).
2. Ноэл Коуард (1899—1973) — английский актер и драматург.

Дальше прихожей мы не пошли и остановились, продолжая говорить о пустяках. Грэма как будто что-то беспокоило, и спустя некоторое время невысокая полноватая женщина в синих очках, делавших ее похожей на героиню викторианского романа, возникла на пороге. Она напоминала аппетитный пончик. В дверях женщина отпрянула и произнесла: "Ой, Грэм, я хотела спросить, нельзя ли мне позвонить от вас моему скорняку". Я сразу же подумала: "Ведь это ж надо, не поленилась преодолеть три лестничных пролета, чтобы из чужой квартиры в семь вечера звонить скорняку". Грин представил нас друг другу, и я тут же откланялась. Было очевидно, что он собирается идти с ней ужинать; непонятно, зачем понадобилась эта дурацкая история про скорняка.

В то время Дороти было уже за пятьдесят, но даже когда она была моложе, его друзья не могли разгадать тайну, чем ей удалось приворожить Грина. Она была толстушкой и коротышкой, а чертами лица, если судить по единственной фотографии в книге Нормана Шерри, смахивала на лягушку. Однако к Грину она привязалась всей душой, умела хранить секреты и была не робкого десятка. Особенно оценил он ее смелость во время бомбежки Лондона — в то время днем он работал в центре города, а вечерами участвовал в добровольной пожарной бригаде, да еще находил время для флирта с Дороти (какой-то пожарный чин был шокирован, увидев, как они нежничают в углу бомбоубежища. "Но это же мистер Грин, — сказал ответственный дежурный, — один из лучших наших пожарников, а с ним его прелестная жена").

2

Пожалуй, уже стало общим местом, что молодые люди того же поколения и социального статуса, что и Грэм Грин, выросшие на буржуазных приключенческих и героических книгах Р. Киплинга, Дж. Хенти[1] и Р. Хаггарда и воспитанные в духе патриотизма в английских частных школах, отчасти чувствовали себя обманутыми или виноватыми из-за того, что по молодости лет не воевали на Первой мировой. Ради морального удовлетворения и с целью "испытать себя" они искали приключений в далеких землях или уходили добровольцами на гражданскую войну в Испании. Рискованные и полные лишений странствия Грина по Либерии и Мексике, нашедшие отражение в книгах "Путешествие без карты" и "Дороги беззакония", как нельзя лучше вписываются в эту схему. Если Грин воздержался от участия в гражданской войне в Испании (после ряда неудачных и довольно вялых попыток войти в контакт с басками), то лишь потому, что ему была далека идеология обеих сторон. В ту пору большинство католиков становилось на сторону Франко, поскольку он защищал святую церковь от гонений республиканцев, однако Грину были ненавистны фашистские диктаторские режимы. Его романы 30-х годов, и "серьезные" и "развлекательные", исполнены сочувствия к эксплуатируемым и неимущим, что вполне соответствовало левым политическим взглядам, модным в то время в литературных и академических кругах, но социалистом Грин все-таки не был. Он сам объяснил это в "Путешествии без карты": "Меня всегда мучает противоречие: я убежден, что жизнь должна быть лучше, чем она есть, и в то же время верю, что всякое видимое благополучие непременно скрывает темную изнанку"[1]. Грин был одним из тех немногих литераторов, кто отказался отвечать на знаменитую анкету "Война в Испании: моя писательская позиция" (1937).

Учитывая все это, можно было бы ожидать, что Грин, как и его собрат по католической вере и приятель Ивлин Во, будет активно стремиться на фронты Второй мировой войны, особенно после заключения советско-германского пакта о ненападении, когда (по слову Гая Краучбека, персонажа Ивлина Во) "враг наконец

1. Джордж Хенти (1832—1920) — английский писатель и журналист, автор приключенческих рассказов для мальчиков.

1. Перев. с англ. Е. Голышевой и Б. Изакова.

предстал в полный рост"[1], то есть фашистский и коммунистический режимы явили себя этаким двуглавым монстром. В автобиографии "Пути спасения" Грин сообщает, что он записался добровольцем в пехоту, но затем попросил полугодовой отсрочки, чтобы закончить роман "Сила и слава". Однако, как удалось установить и Шерри, и Моклеру, даты не сходятся: роман был закончен до того, как Грина пригласили на собеседование в комиссию по вербовке добровольцев. Шерри великодушно объясняет это несовпадение тем, что писатель захотел подсобрать денег на содержание семьи, но всего вероятнее, сделав красивый жест в духе Джорджа Хенти, Грин все-таки решил, что как человек неорганизованный он не создан для полковой жизни и военной дисциплины (как и Ивлин Во, которому пришлось убедиться в этом на собственном болезненном опыте), и отложил зачисление на военную службу в надежде, что со временем ему подвернется нечто более интересное и менее сковывающее его свободу.

Грин попытался заинтересовать официальные круги идеей включения в успешно действующую программу "Война глазами художника" проекта "Писатели-фронтовики", который для него стал бы идеальной возможностью и самому понюхать пороху, и сохранить при этом личную свободу (много позже он возьмет на себя подобную миссию в Юго-Восточной Азии). Однако эта идея не получила поддержки, и весь его военный опыт свелся к гражданской обороне — к дежурствам на крышах во время ночных бомбежек Лондона (что, откровенно говоря, в ту пору было куда более опасным и захватывающим делом, чем пребывание в зоне военных действий). Грин даже испытывал определенное удовольствие, когда бродил по улицам под звон подметаемого стекла и думал о том, что прошедшей ночью удалось сорвать еще один кон, играя в прятки со смертью, а также не без злорадства наблюдал, как расползается под бомбами архитектурная ткань Лондона, усматривая в этом Божью кару за упадочное развитие цивилизации.

Месяца за два до призыва на военную службу Грин принял предложение занять некий пост в Министерстве информации (а может статься, и сам добился подобного назначения — над этим эпизодом все еще висит дымовая завеса). По замечанию Шерри, это был довольно неожиданный шаг, поскольку сравнительно недавно Грин поднял на смех поэта Стивена Спендера за то, что тот устроился на такую же непыльную канцелярскую работу. Однако сия непоследовательность не помешала Грину высмеять Министерство информации в рассказе "По горло в работе". В этой маленькой изящной вещице, литературные достоинства которой особо отмечает Моклер, писатель направляет свое насмешливое перо и против самого себя. В разгар битвы за Англию, когда Европу уже топчет кованый фашистский сапог, главный персонаж рассказа по имени Скейт председательствует на собрании Комитета по книгоизданию, повестка дня которого включает следующие пункты:

1. Процедурные вопросы.

2. Брошюра на валлийском языке об условиях труда в Германии.

3. Посещение Вилкинсоном Службы воздушных перевозок.

4. Дискуссия по поводу брошюры, представленной Боуном.

5. Предложения по листовке, поступившей от Комиссии по мясной торговле.

6. Индийский вопрос.

Вдруг кто-то приносит весть о недавнем налете немецкой авиации.

Но нам непременно следует выпустить в свет брошюру Боуна, – сказал Хилл.

Неожиданно для себя Скейт со злобой в голосе произнес:

– И это послужит им уроком, – и беспомощно повалился на стул, будто его кто-то уличил в предательстве.

2. Гай Краучбек — герой трилогии И. Во "Вооруженные люди" (1952), "Офицеры и джентльмены" (1955), "Безоговорочная капитуляция" (1961).

Немного погодя, по завершении собрания, Скейт подходит к окну и выглядывает на улицу:

В высокой дали прозрачного неба белели тонкие штрихи, похожие на оставленные улитками влажные блестящие дорожки, – они указывали путь, по которому мужчины с работы возвращаются домой.

Срывая покровы тайны с частной жизни Грэма Грина, в которой находилось место и весьма неблаговидным поступкам, нелишне обратить внимание и на то, что в наше время немного найдется писателей, выстраивающих столь же точные и уравновешенные синтаксические конструкции. Вызывает интерес (но отнюдь не удивление) и сообщение Леопольдо Дурана: работая над новой вещью, Грин имел привычку зачитывать ее вслух, так как "придавал огромное значение ритму фразы".

Спустя полгода Грин без ропота принял известие о своем увольнении из Министерства информации в связи с проведенной там кадровой чисткой. Немного погодя он стал редактором журнала "Спектейтор", однако едва ли это можно счесть заметным вкладом в дело защиты отечества. Таким образом, отличиться на войне писателю никак не удавалось. Но в 1941 году его вербует в британскую секретную службу младшая сестра, Элизабет.

"По натуре Грин был идеальным шпионом, – замечает в своей книге Норман Шерри, – и едва ли возможно что-либо объяснить в его жизни, не сказав, с каким рвением он предавался этому занятию". Вообще шпионство было семейным делом Гринов. Дядя Грэма, сэр Уильям Грэм Грин, был одним из главных организаторов Отдела морской разведки при Военно-морском министерстве; Герберт, старший брат Грэма ("паршивая овца" в респектабельном семействе), работал на японскую разведку в Англии и имел каких-то тайных клиентов в Испании; Элизабет была сотрудницей МИ-6[1] и женой Родни Дениса, одного из высокопоставленных чинов этого ведомства.

Как утверждает Шелден, ссылаясь на воспоминания однокашников Грэма Грина из Беркампстедской школы, его отец всячески поощрял слежку и доносительство среди учеников, особенно если это касалось дурного поведения, вроде рукоблудия и однополой любви. В студенческие годы Грин совершил путешествие по Германии за счет немецкого посольства в Лондоне – в обмен он обязался написать цикл газетных статей в поддержку немцев, протестовавших против французской оккупации Рурской области, однако одновременно предложил поставлять информацию и французскому правительству. Шелден вполне обоснованно сомневается, что поездка на каникулы в Эстонию в 1934 году, как раз в то время, когда в соседней Латвии (где нужно было сделать авиапересадку) произошел фашистский переворот, была простым совпадением. И достоверно известно, что его поездка в Либерию, которую в "Дорогах беззакония" он живописал как донкихотское странствие "в сердце тьмы" по безотчетному велению сердца, была оплачена Аболиционистским обществом[1], крайне заинтересованным в сборе разведданных о либерийском правительстве и его кровожадном лидере – полковнике Дэвисе. Согласившись сотрудничать с британской разведывательной службой, Грин откликнулся на зов судьбы, которого дожидался всю жизнь.

Однако его первые шаги в этой роли были до смешного неудачны. Профессиональная подготовка обернулась фарсом: на строевых учениях он хромал на обе ноги, а на занятиях по вождению то и дело падал с мотоцикла. Его первым назначением стала Сьерра-Леоне в западной Африке – пожалуй, самый незначительный из всех театр военных действий. Единственным занятием Грина, приносившим хоть какую-то практическую пользу (но при

1. БМИ-6 – битанская секретная разведывательная служба.

1. Аболиционистское общество – орган движения за отмену рабства в колониях Великобритании, Франции и др. странах.

этом довольно утомительным и принижающим его достоинство), стал таможенный досмотр кораблей нейтральных стран. Его же собственная, и вполне типичная для него, инициатива свелась к предложению организовать передвижные бордели и укомплектовать их проститутками для сбора информации среди профашистски настроенных офицеров в соседнем Сенегале. Идея эта так и не нашла воплощения в жизнь, хотя на удивление серьезно рассматривалась руководством в Лондоне.

Во Фритауне Грин обретался в лишенном удобств бунгало на окраине города. На него с одинаковым подозрением косились и бывшие соотечественники, и соседи-африканцы, которые на местном наречии прозвали его "плохим человеком". Однако несмотря на это, к Западной Африке он проникся нежными чувствами и окрестил ее "всепроникающей страной — она проникает во все ваши поры". Пожалуй, эти чувства можно точнее описать (цитируя его роман "Суть дела") как "нежность, которую все мы испытываем к несчастной поре своей жизни, словно несчастье — наше естественное состояние"[1]. Для этой книги (которая принесла Грину международную писательскую славу) Сьерра-Леоне и, в особенности, Фритаун послужили местом действия, и, как видно из дотошных изысканий Шерри, практически для каждого персонажа или события романа можно найти реальный прообраз. Однако все это было еще впереди. Книгой, над которой он работал во Фритауне, был один из лучших его романов "для развлекательного чтения", названный им "Ведомство страха", — действие переносит читателя в Лондон времен Второй мировой войны.

В 1943 году Грин был отозван в "центр" и переведен в португальский сектор пятого отдела МИ-6, занимающегося контрразведкой. ("Похоже, было не важно, — походя замечает Шелден, — то, что он практически ничего не знал об этой стране, а также не умел ни читать, ни говорить на ее языке".) Его непосредственный начальник был завербован разведслужбой примерно в то же самое время, что и Грин. Звали его Ким Филби. Вскоре они стали друзьями.

Португалия была стратегической ареной разведдеятельности союзных держав, поскольку через нее, как через нейтральную страну, шел основной поток дезинформации, призванной ввести в заблуждение немецкое командование относительно планируемого вторжения союзников во Францию (главной фигурой здесь был агент под кличкой Гарбо, чьи необычайные способности к изворотливой лжи позже вдохновили Грина на создание образа Джима Уормолда в романе "Наш человек в Гаване"). В противоположном направлении через Португалию передавалась информация другого рода — касавшаяся заговора немецких генералов против Гитлера и имевшая целью оценить перспективы мирных переговоров с союзными правительствами, если попытки ликвидировать Гитлера увенчаются успехом. Для Грина это представляло особый интерес, поскольку его кузина Барбара, бесстрашно вызвавшаяся сопровождать его в поездке по Либерии (о чем она поведала в собственной книге), жила в Германии и была замужем за немецким католиком и аристократом, к тому же поддерживавшим антигитлеровский заговор. Оба они лишь чудом уцелели в жестоких чистках, последовавших после раскрытия заговора в июле 1944 года.

Как известно, Филби не поддерживал контактов с антигитлеровской группировкой в Германии, так как мирные переговоры (с учетом послевоенной расстановки сил на Европейском континенте) противоречили интересам Советского Союза. Возможно, в это же время он передавал русским особо секретные разведданные, полученные через "Ультра"[1] и касавшиеся дешифровки кодов немецкого командования силами агентства СИГИНТ в Блетчли-парк, что было совершенно недопустимо, поскольку

1. Перев. с англ. Е. Голышевой и Б. Изакова.

1. Разведывательная система союзных держав во Второй мировой войне.

таким образом нацисты могли догадаться о существовании системы "Ультра". Как убедительно показывает Моклер, помимо Филби в МИ-6 были и другие сотрудники, посчитавшие нецелесообразным лишать союзника жизненно важной информации, и по крайней мере еще один из них не подчинился общей установке. Насколько Грин был осведомлен о том, что происходит вокруг? И Шерри, и Шелден приходят к выводу, что его неожиданная отставка из разведслужбы в мае 1944 года означала, что он имел кое-какие основания подозревать в Филби двойного агента. Грин уволился в один из самых интригующих периодов деятельности британской секретной службы — как раз накануне открытия в Европе второго фронта и все более растущего сопротивления Гитлеру в Германии. Почему в столь ответственный момент Грин решился оставить разведку и подыскал себе пустяковую работенку (похожую на ту, что высмеял в рассказе "Дел по горло") в каком-то "Комитете политической борьбы"? (Первым из порученных ему дел был выпуск журналов, которые сбрасывались на парашюте на территорию оккупированной Франции и должны были просвещать местное население на предмет новинок мировой литературы.)

Сам Грин так объяснял свою отставку: зная, что Филби хлопочет о повышении, он ушел, чтобы не мешать более достойному занять освобождающийся пост — служебные интриги вызывали у него отвращение. Но здесь опять неувязка с датами. Ким Филби лишь через полгода получил вожделенную должность и возглавил отдел контрразведывательных операций против СССР. Таким образом, у Грина не было особых оснований увольняться столь заблаговременно. В этой связи и Шерри, и Шелден полагают, что Грин все-таки уверился в двурушничестве Филби и решил покинуть сцену до того, как ему, по слову Э. М. Форстера[1], придется выбирать между изменой другу и изменой родине. Грин никогда не признавал открыто, что именно этим вызван его уход из МИ-6, однако на вопрос Шерри о том, что бы он сделал, узнав, что Филби — предатель, ответил: "Наверное, по-дружески дал бы ему возможность в двадцать четыре часа удариться в бега, а потом сразу донес бы на него".

Однако до полного разрыва с секретной службой и Кимом Филби было еще далеко. Впрочем, в то время Грин, похоже, захотел вернуться к мирной жизни и ее заботам. Довольно неожиданно он избрал издательское поприще и стал директором процветающей компании "Эр энд Споттизвуд". Возможно, он почувствовал, что как писатель отчасти потерял форму (за 1943 и 1944 годы он не написал ни строчки), и стал искать близкую по духу и финансово выгодную деятельность. Следует признать, что издатель из Грина вышел активный и предприимчивый. Благодаря ему редакционный портфель компании пополнился книгами его любимых зарубежных авторов, например Мориака и Нарайана, хотя в конце концов его неуемный темперамент стал приносить делу больше вреда, чем пользы. Коллегам начала приедаться его страсть к розыгрышам и мистификациям (так, выдумав дело о пропавшей рукописи, Грин стал донимать редакцию звонками и письмами от лица раздраженного сочинителя), однако, когда он упустил такого автора, как Энтони Пауэлл, непростительно затянув издание его книги о Джоне Обри[1], и заявил писателю, что книга у него "чертовски скучная", ему все-таки пришлось оставить директорский пост. О подробностях данного эпизода говорят по-разному, но английская литература от этого увольнения только выиграла, поскольку для Грина начался один из самых плодотворных периодов, давший миру такие романы, как "Суть дела" и "Конец одной любовной связи", сценарии фильмов "Третий человек" и "Поверженный идол", а также пьесу "Комната для живых".

1. Эдуард Морган Форстер (1879—1970) — английский писатель.

1. Джон Обри (1626—1697) — английский антиквар и фольклорист.

К началу 50-х годов Грин не без основания прослыл одним из самых почитаемых современных английских писателей — не только у себя в стране, но и за рубежом. В то же самое время для него начался новый, эмоционально насыщенный период личной жизни, главным событием которого стала его большая любовь к леди Кэтрин Уолстон. Как нам теперь известно, именно ей посвящен роман "Конец одной любовной связи", где она послужила прототипом героини. Однако все перипетии их подлинного романа (в изложении Шерри и Шелдена), попади они на страницы художественного произведения, могли бы показаться читателям совершенно неправдоподобными.

3

Когда Кэтрин Уолстон вошла в жизнь Грэма Грина — а случилось это в сентябре 1946 года, — у него все еще тянулся роман с Дороти Глоувер; при этом он иногда навещал и Вивьен с детьми в доме, который купил для них в Оксфорде. К тому времени жене Грина было уже известно о его связи с Дороти, равно как и о других, менее серьезных увлечениях, однако до поры до времени она скрывала свое негодование, вероятно ради спокойствия детей, а также в надежде, что их брак еще удастся спасти. Грин, судя по всему, тоже не находил в себе мужества порвать ни с одной из женщин. Душевные метания автора отразились в переживаниях героя романа "Суть дела" Скоби, испытывающего чувство вины от того, что он не может выбрать между своей несчастной женой Луизой и столь же горемычной молодой вдовой Элен, которая в конце концов становится его любовницей. Возможно, именно поэтому в последующие годы он не раз собирался, но так и не смог перечитать "Суть дела". С Кэтрин Уолстон Грэм Грин познакомился в ту пору, когда работа над романом близилась к концу.

По рождению она была наполовину англичанкой; воспитание и паспорт у нее были американские, а замуж она вышла за богатого английского землевладельца, впоследствии пэра и лейбориста Гарри Уолстона. Кэтрин была хороша собой, как голливудская звезда, и отличалась своенравным характером и эксцентричным поведением. Их с Гарри брак был "лишен предрассудков", и до связи с Грином у нее уже было несколько романов, на которые муж, похоже, смотрел сквозь пальцы. Писатель и не подозревал о существовании Кэтрин, когда получил от нее письмо с признанием, что под влиянием его книг она решила перейти в католичество. Вскоре после этого она позвонила Вивьен и пожелала у нее узнать, не сможет ли Грин выступить в роли ее крестного отца и присутствовать в церкви при обряде крещения. История нежных отношений, складывающихся между писателем и его почитательницей, пожалуй, не знает более оригинальной завязки. Грину это показалось забавным, и вместо себя он отправил в церковь на все согласную Вивьен.

Это событие отображено на весьма примечательной фотографии (она приводится в книге Шерри): довольно безвкусно одетая Вивьен искоса смотрит на привлекательную и невозмутимую Кэтрин и, судя по недоуменно-неприязненному выражению ее лица, словно прикидывает, каких еще неприятностей можно ожидать от этой женщины. Когда Грин узнал от жены, сколь необычна его новая крестная дочь, он сразу пригласил ее на обед в один из лондонских ресторанов. По окончании трапезы она стала настойчиво зазывать его в гости в свое роскошное имение в восточной Англии, и когда он возразил, что к вечеру ему надо быть в Оксфорде, не задумываясь предложила взять напрокат самолет и подбросить его домой — что и сделала. Перед женщиной, столь щедро наделенной красотой и богатством и обладающей таким бурным темпераментом, Грин устоять не мог. Он немедленно влюбился в Кэтрин Уолстон, и у них начался головокружительный роман, в котором высокие любовные восторги перемежались тяжелыми душевными муками. Много лет спустя Вивьен поделилась с

Шерри своим взглядом на эти отношения: "Я думаю, она поставила себе цель заполучить его — и заполучила. Просто прибрала к рукам... Как если бы вы сели в поезд с добрыми знакомыми, которые купили вам билет и расположились рядом вроде бы почитать, но вдруг, вскочив и открыв дверь, вытолкали вас на ходу из вагона".

Самым удивительным в этом романе было то, что в религии, которую исповедовали возлюбленные и которая соединила их, прелюбодеяние почиталось тяжким грехом. Однако и Грин, и Кэтрин, похоже, вполне мирились с таким противоречием и даже испытывали по этому поводу какой-то странный духовный подъем. В письмах к Кэтрин Грин часто пишет о том, что после встречи с ней стал куда более ревностным католиком, чем раньше, и теперь гораздо чаще наведывается в церковь. "Теперь я истинный католик, несмотря на смертный грех, или, по крайней мере, намного лучше осознаю его как таковой". Душевное равновесие достигалось за счет детской веры в безграничную силу церковной исповеди и достаточно вольного истолкования идеи "исправления и искупления греха" — необходимого условия истинного покаяния в моральной теологии.

Яркой иллюстрацией к сказанному может служить история, поведанная Вивьен Норману Шерри (а также, с некоторыми вариациями, и Шелдену). Однажды вечером в апреле 1947 года она вернулась домой в Оксфорд и обнаружила там Грина и Кэтрин. Они возвращались в Лондон после совместного визита в летнюю резиденцию Кэтрин на острове Акилл, расположенном у западного побережья Ирландии. Вивьен окончательно утвердилась в мысли, что у ее мужа любовная связь с этой женщиной. Грин объяснил, что у Кэтрин разболелась спина и он пригласил ее переночевать в Оксфорде.

Поскольку мне надо было хоть что-то сказать, я обратилась к Кэтрин: "Кажется, завтра у вас именины. Я все равно собиралась идти на службу – церковь в двух шагах, – так что если хотите..." "О, непременно пойду с вами", – сказала она и действительно пошла со мной в церковь, где причастилась сразу после меня. Спустя какое-то время я сказала об этом Грину, и он ответил: "А до того, как мы приехали в Оксфорд, мы тоже причастились". Но потом они сразу отправились в Лондон и там жили как муж и жена, и, по-моему, это отвратительно.

Шерри отмечает, что по поводу последней подробности Вивьен заблуждается: в то время, так сказать, по рабочим дням, Грин продолжал сожительствовать с Дороти Глоувер.

Прочтя любовное письмо Грина к Кэтрин, неверно адресованное и переправленное по оксфордскому адресу, Вивьен наконец потеряла терпение. Возможно, письмо вызвало у нее в памяти те две тысячи посланий, которые она получила от Грина в минувшие годы. Между ними состоялось объяснение, после которого Грин окончательно покинул ее. Она запомнила дату, поскольку то был день бракосочетания будущей королевы Англии Елизаветы II.

Тем временем Грину предстояло завершить роман с Дороти. Словно желая извлечь максимум страдания из предстоящего, он надумал поехать с ней в Марокко и там в городе Марракеш вручить письмо с признанием, что он полюбил другую женщину и им необходимо расстаться (правда, остается неясным, намеревался ли он наблюдать за тем, как она читает письмо, или же скрыться от нее на просторах африканской пустыни). Однако весной 1948 года Дороти сама прознала о новом увлечении Грина — как раз накануне предполагаемой поездки в Марокко. Как ни странно, они все-таки отправились в путешествие, хотя оно, надо полагать, ни ему, ни ей не доставило никакой радости. И лишь затем в мае 1948 года Грин окончательно съехал из квартиры на Гордон-сквер, которую снимал вместе с Дороти. В том же месяце увидел свет его новый роман "Суть дела" с эпиграфом из Шарля Пеги: "Le pécheur est au coeur même de chrétienté... Nul n'est aussi compétent que le pécheur en matiere de chré-

tienté. Nul, si ce n'est le saint"[1], — и Грин проснулся знаменитым.

Роман Грина с Кэтрин превратился в густую декадентскую смесь духовности и секса. Как-то он написал ей, что хотел бы лежать с ней в постели и читать Хуана де ла Круса[2]. В другом его письме содержатся неприкрытые намеки на желание заняться с ней анальным сексом, а еще в одном — свидетельства садомазохистских экспериментов: "Любовь моя, тот самый след от сигаретного ожога уже не виден. Надо бы его возобновить". Отношения между возлюбленными вдохновили писателя на роман "Конец одной любовной связи" (1951) — откровенно эротический и вместе с тем предельно насыщенный религиозными мотивами (и не менее безупречный в смысле формы). В переписке с Кэтрин Грин дает ему "домашнее" название — "великий роман о сексе". Похоже, что в ранних редакциях текст был еще более откровенен: "Изъятые пассажи насчет «узких чресел» совсем меняют дело", — писал он Кэтрин в ноябре 1959 года. (Эта не распознанная Шерри аллюзия отсылает нас к считавшейся предосудительной цитате из романа Ивлина Во "Возвращение в Брайдсхед": "А теперь, на разбушевавшемся океане <...> я вступал во владение ее узкими чреслами..."[3])

Появившись в печати, роман "Конец одной любовной связи" оказал заметное влияние на роман реальный. До того времени Гарри Уолстон, похоже, оставался снисходительным мужем и ничего не имел против частых отлучек Кэтрин. Однако ознакомившись с книгой, не без горечи узнал себя в том самом государственном чиновнике, которому наставляет рога жена и которому Грин с присущей ему игривостью дарит свое первое крестное имя — Генри. Уолстон стал требовать, чтобы связи Кэтрин и Грина был положен конец. Последовали бурные выяснения отношений, разговоры в повышенном тоне, ссоры, примирения и новые ссоры. Однажды Гарри всю ночь горько рыдал в своей комнате. В письмах к Кэтрин Грин тоже часто признается, что, разлучившись с ней, пролил много слез, — хотя они продолжали изредка встречаться в разных точках земного шара. Он настойчиво уговаривал Кэтрин оставить мужа, пытаясь найти квадратуру теологического круга, в который они попали как в ловушку: исповедуя католичество, они не только не имели права на развод и новый брак, но и не могли сожительствовать, так как не были женаты. Вот образчик его аргументации:

Если бы мы на какое-то время поселились вместе, то у каждого была бы собственная комната, так что в любой момент, не прерывая нашей совместной жизни и любви, ты могла бы ходить к причастию (мы то и дело будем отступать от правил, но какое кому дело).

Когда Кэтрин в ответ предложила перейти на платонические отношения (ироническая реприза эпизода ухаживания за Вивьен), Грин ответил отказом, приведя цитату из своего любимого поэта Браунинга: "Грешить так грешить, раз под Богом мы ходим"[1].

Все письма Кэтрин Грин уничтожил, так что у нас складывается несколько односторонний взгляд на их отношения, однако ее письмо к сестре (которое приводит в своей книге Шерри) дает представление о том, что она сама думала о Грине:

Грин так несчастен, что это похоже на болезнь... У него нет ни работы, ни семьи, ни друзей, по отношению к которым он имел бы хоть какие-то обязательства, и ему незачем планировать свою жизнь и не с кем считаться, кроме как с самим собой. Для него, от природы подверженного депрессиям, все это очень

1. "Грешник постигает самую душу христианства... Никто так не понимает христианства, как грешник. Разве что святой" (перев. с франц. Е. Голышевой и Б. Изакова).
2. Хуан де ла Крус (1542—1591) — испанский писатель-мистик, сподвижник Терезы Авильской, причислен к лику святых.
3. Перев. с англ. И. Бернштейн.

1. Из стихотворения Р. Браунинга "Прежде".

опасная почва, а я, вместо того чтобы помочь ему, в конечном счете делаю его еще несчастней тем, что никак не могу расстаться с ним.

Постепенно в начале 60-х годов роман этот скорее сошел на нет, чем получил какое-то драматическое разрешение: Грин понял, что Кэтрин никогда не оставит семью и не посвятит себя исключительно ему. К 1966 году у него уже появится новая любовница — Ивон Клоетта, которая и останется с ним до самой его смерти. Кэтрин же завершила свой жизненный путь довольно печально. Алкоголь и болезни лишили ее былой красоты, и она даже отказалась принять Грина, когда в 1978 году он пришел проведать умирающую от рака бывшую любовницу. После ее смерти Грин и Гарри Уолстон снова стали друзьями — подобный ход событий странным образом предвосхищен в романе "Конец одной любовной связи".

По вполне понятным причинам биографы-писателей всегда стремятся отыскать параллели между жизнью и сочинениями своих героев, но порою именно разного рода несовпадения оказываются более интересными и информативными. Например, в романе "Тихий американец" герой не может расстаться с женой, которая хоть и стала ему чужой, но как примерная прихожанка англиканской церкви отказывается разводиться, из-за чего он не может жениться на любовнице-вьетнамке. Однако в реальной жизни Грин не согласился разводиться с ревностной католичкой Вивьен даже после того, как роман с Кэтрин Уолстон положил конец их двадцатилетнему браку, и так и не узаконил факт их с женой раздельного проживания. В чем причина? Возможно, в том, что, несмотря на неустанные призывы к Кэтрин оставить мужа, он в глубине души опасался новых обременительных связей и сохранял свой несчастливый, но законный брак в качестве прикрытия.

Даже во время романа с Кэтрин у Грина бывали амуры с другими женщинами, например с Джоселин Ри-кардс, привлекательной молодой австралийкой, которая охотилась за литературными знаменитостями послевоенной Англии — в число ее любовников входили А. Айер и Дж. Осборн[1]. Шерри лишь кратко и глухо упоминает об этом увлечении Грина, зато Шелден сообщает нам по этому поводу массу любопытных подробностей. По словам самой Джоселин, роман у них был недолгий, но бурный и страстный, и Грин отвел душу, занимаясь с ней любовью в общественных местах (в парках, поездах и так далее). Судя по всему, страх быть застигнутым на месте преступления вызывал у него особое возбуждение. Приводит Шелден и слова одного из друзей о том, что в Италии Грин с Кэтрин предавались любви за каждым достаточно высоким церковным алтарем, однако это уже следует отнести к разряду сказанного ради красного словца.

4

Настало время поговорить о чрезвычайно недоброжелательном отношении Шелдена к герою своей книги. (На обложке ее английского издания воспроизведен портрет Грина, смахивающего на кого-то из его собственных персонажей — скажем, на ведущего дознание следователя-садиста.) Вместе с тем из четырех рецензируемых биографий Грина книгу Шелдена следует признать лучшей: она отличается энергичным и ясным стилем, четкой структурой и увлекательностью повествования, а кроме того, изобилует интересными выводами и открытиями, равно как и сомнительными предположениями. Тогда как труд Нормана Шерри станет по завершении своеобразной биографией-протоколом, что и само по себе есть замечательное и героическое свершение. Однако порою под пером Шерри жизнь Грэма Грина (это особенно заметно во втором томе) начинает терять и ритм, и очертания

1. Альфред Айер, лорд (1910–1989) — британский философ и лингвист; Джон Осборн (1929–1994) — британский драматург.

из-за избытка информации, к тому же подаваемой по тематическому, а не хронологическому принципу. Шелден же, которому не было разрешено приводить цитаты из писем и других личных бумаг, вынужден прибегать к их пересказу, что позволяет ему уложить жизнь Грина в одну книгу, и это более удобно для читателя.

Из всей этой команды (а может, лучше сказать своры?) биографов Шелдена можно считать лучшим литературным критиком, легко распознающим в книгах Грина аллюзии и заимствования из Дж. Конрада, Э. Паунда и Т. С. Элиота. Из всех известных мне исследователей лишь он один догадался, каким образом банда Пинки убивает Хейла в самом начале романа "Брайтонский леденец" (бандиты заставляют героя подавиться конфетой, которая потом тает, не оставляя следа). Он проводит удивительные параллели между домом сэра Уильяма Грина — дяди будущего писателя — в Кембриджшире, куда Грэм в детстве иногда приезжал на летние каникулы (странно, что в первом томе книги Шерри этот факт не упоминается), и довольно загадочным рассказом Грина о его взрослой жизни "Под сенью сада".

И тем не менее книга Шелдена пропитана злобной ненавистью автора к своему герою, что заставляет задуматься о том, каковы истоки этого чувства в его собственной жизни. В предисловии к американскому изданию Шелден заявляет, что поначалу взялся за труд, будучи искренним почитателем английского писателя, однако в результате проведенных изысканий изменил свое мнение о нем (что сразу вызывает в памяти слова О. Уайльда: "У всякого выдающегося человека теперь есть ученики, однако биографии всегда пишут иуды"[1]).

Шелден обвиняет Грина в том, что движущими мотивами его творчества являются ненависть, злоба и другие скверные качества, которых не замечают или не признают обожающие его читатели. "Они не видят — или не желают видеть, — что он антисемит, враг католицизма и женоненавистник и что он часто позволяет себе издевательские шуточки в их адрес". При этом Шелден подчеркивает, что этим он отнюдь не стремится умалить литературный талант Грэма Грина: "Человеческие слабости не могут заслонить его достоинств как художника"; "Писательский дар Грина изрядно подпорчен злобой, <...> но это еще не причина отвергать его романы как произведения искусства". Но тогда непонятно, как можно продолжать восхищаться романами Грэма Грина, коль скоро в них он просто освобождается от гнусных качеств, которые биограф обнаруживает в его характере. Вот, например, как Шелден отзывается о романе "Брайтонский леденец":

Неприятность заключается в том, что автор рассматривает читателя как жертву собственной глупости <...> Мы хотим, чтобы нас любили, и мы тоже хотим любить. Мы хотим верить Грину, мы хотим посочувствовать Пинки, мы хотим думать, что наш мир вовсе не так плох. И в то время как с улыбкой на лице мы заняты поисками добродетели, и мудрости, и высшей цели, Пинки вместе с Грином проклинают нас за то, что мы евреи, или католики, или калеки, или слишком толстые, или родились женщинами.

Безусловно, роман "Брайтонский леденец" подвергает сомнению общепринятые понятия о добре и зле и о том, кто прав, а кто виноват, но, к счастью, соотношение между "абстрактным автором" романа и его главным героем гораздо более тонкое и сложное, чем просто знак равенства, который ставит между ними Шелден. При этом, чтобы мы по-прежнему могли восхищаться романами Грэма Грина, биограф советует нам либо иначе истолковывать их, либо научиться получать мазохистское (и очищающее душу) удовольствие, лицезрея представленную писателем инфернальную картину мира.

1. Оскар Уайльд. Критик как художник. Перев. с англ. А. Зверева. В кн.: Избранные произведения в 2-х т. М., Республика, 1993.

Самого Шелдена, судя по всему, вполне удовлетворяет вторая из предлагаемых возможностей — очевидно, по той причине, что он претендует на некое извращенное сродство между собою и своим героем. Что особенно явно проступает в английском издании его книги. Например, изложив обстоятельства судебного дела, последовавшего за рецензией Грина на фильм с участием Шерли Темпл (октябрь 1937 года)[1] — рецензией, квалифицированной судом как "необоснованная непристойность" (Грин в ней дал понять, что девятилетнюю кинозвезду не без успеха используют в качестве возбуждающего средства для пресытившейся сексом публики), Шелден легкомысленно признается, что и сам, бывало, "позволял себе рискованные домыслы и "необоснованные непристойности". Он замечает, что Грин всегда с большой готовностью и без зазрения совести использовал своих друзей и близких в качестве литературного материала, и добавляет: "...поэтому неудивительно, что ему так часто хотелось обратиться к биографическому жанру, ведь искусство жизнеописания предполагает наличие у автора непреодолимой тяги к вуайеризму". Воспользовавшись далее метафорой Грина о его собственном писательском темпераменте, он пишет: "Именно эта самая "льдинка в сердце" позволяет романисту или биографу беззастенчиво заимствовать чужие жизни для своих писательских нужд". И когда Шелден с насмешкой размышляет о том, какого рода биографию Грина написал бы его собственный персонаж журналист Паркинсон, гнусная личность из романа "Ценой потери" ("он уж точно вывернет всю грязь наружу и похоронит под ней даже лучшие его вещи"[2]), — он явно предвидит критические выпады в адрес своего собственного труда, но отнюдь не пытается застраховать себя от них.

Несомненно, во многих предъявляемых им Грину обвинениях есть доля правды, однако все они либо раздуты, либо тенденциозно сформулированы, либо содержат откровенные домыслы. Нельзя отрицать, например, что ранние романы Грина выдают некоторую предубежденность автора по отношению к евреям, совершенно неприемлемую в наши дни, — но тем же грешили и многие другие писатели его поколения. Едва ли допустимо судить за это писателя с позиций сегодняшнего дня, после того как человечество пережило холокост Второй мировой войны. К тому же еврейские персонажи Грина отнюдь не антисемитские карикатуры. Например, Майетт в "Стамбульском экспрессе" обрисован с достаточной тонкостью, сочувствием и пониманием. И хотя его поведение морально небезупречно, в нем много больше человечности, чем в других героях романа. Обвинение Грина в женоненавистничестве — еще одна запоздалая дань политкорректности, которая тоже не помогает понять предвзятость Грина в трактовке женских образов. Что же касается того, что Шелден несколько странно определяет как "антикатолицизм" Грина, то за этим стоит не что иное, как отказ писателя пропагандировать святую церковь в литературе — именно поэтому его "религиозные" романы интересны сами по себе и имеют общечеловеческую значимость.

Английское издание книги Шелдена содержит обширный именной и предметный указатель, и туда (статья "Грин, секс") помещен длинный список смачных тем: "анальный секс, флагелляция, инцест, интерес к мужскому полу, возможная гомосексуальность, мазохизм, педофилия, проститутки и бордели". Аргументы в пользу педофилии, наиболее одиозного из всех приписываемых Грину сексуальных извращений, основываются исключительно на слухах и совершенно произвольных умозаключениях. Например, Грин с излишней и, по мнению Шелдена, вызывающей подозрение эмоциональностью отреагировал на появление крайне

1. Фильм "Бедная маленькая богачка" (1936).
2. Перев. с англ. Н. Волжиной.

недоброжелательной биографии его соседа по Капри Нормана Дугласа[1] (несомненно педераста), написанной Ричардом Олдингтоном. Однако Грин всегда с яростной готовностью вступался за тех, кого хорошо знал и кому симпатизировал. Далее, некто Скоппа, доставлявший телеграммы на виллу Грина в Анакапри, с удивлением обнаружил, что в доме проживают итальянские мальчики, а потом узнал от кого-то в городе, что их там держат в сексуальных целях. Но этот эпизод относится к началу пребывания Грина в Анакапри, то есть ко времени, когда к нему еще приезжала Кэтрин, порой привозившая с собой сыновей. Не этих ли мальчиков видел любопытный Скоппа? И в любом случае, неужели можно поверить в то, что Грин в самый разгар своего пылкого романа с женщиной мог заинтересоваться любовью подобного рода?

"Тема однополой любви пронизывает все произведения Грэма Грина — от первого до последнего, — заявляет Шелден. — Его герои-мужчины неизменно ищут каких-то непонятных отношений с себе подобными". Однако между двумя этими предложениями нет логической связи. Шелден смешивает гомосексуальное влечение (а мы не имеем никаких свидетельств того, что Грин испытывал либо практиковал нечто подобное) с тесными дружескими отношениями, связывающими мальчиков, а затем и взрослых мужчин, что было неизбежным следствием раздельного обучения, типичного для английских частных закрытых школ и университетских колледжей в молодые годы Грэма Грина. Преследуя свои "порочащие" цели, Шелден не может не разделить идиотическую реакцию Д. Селзника[2] на сценарий фильма "Третий", предложенный ему Грином и режиссером Кэролом Ридом. Об этом эпизоде Грин с иронией вспоминает в "Путях спасения":

– Так дело не пойдет, ребята, – сказал он, – так дело не пойдет. Зачем у вас там гомосеки?

– Гомосеки?

– Вы думаете, раз их в ваших английских школах полным-полно...

– Я не понимаю...

– Этот малый приезжает в Вену и ищет друга. Так? Узнает, что он умер. Так? Почему же он не возвращается домой?

Месяца работы над сценарием как не бывало. Я молчал, подавленный его сокрушительной логикой. Селзник покачал седой головой.

– Ребята, он гомосек.

Я принялся слабо возражать:

– Но этот персонаж... у него есть повод для мести. Его избил военный полицейский. И через сутки, – я выложил последнюю карту, – он влюбляется в девушку Гарри Лайма.

Селзник печально покачал головой.

– Тогда почему он не уехал до того, как это случилось?[1]

К счастью, Селзник либо изменил свое мнение о сценарии, либо позабыл о своих претензиях, а снимавшая фильм группа молча их проигнорировала. Остальное — уже история кинематографа.

5

Упоминание повести "Третий" снова возвращает нас к теме Кима Филби и к вопросу о взаимоотношениях Грина с британской разведывательной службой. В 1963 году, когда Филби, вслед за Бёрджессом и Маклином[2], сбежал в Россию, едва не попав под арест за измену родине, Грин написал газетную статью, в которой шутливо заметил, что словечко "третий" он выдумал еще тогда, когда никто и не догадывался, до чего оно подойдет впоследствии его старому другу. Однако ирония ситуации, скры-

1. Норман Дуглас (1868–1952) — английский писатель.
2. Дэвид Оливер Селзник (1902–1965) — американский кинопродюсер, выпустивший такие фильмы, как "Кинг-Конг", "Унесенные ветром", "Дэвид Копперфилд" и др.

1. Перев. с англ. А. Бураковской.
2. Гай Бёрджесс (1910–1963) и Доналд Маклин (1913–1983) — английские разведчики, советские агенты.

тая от большинства читателей, заключалась в том, что образ Гарри Лайма был навеян Кимом Филби или даже списан с него — что вполне убедительно показывает Шелден (здесь он более доказателен, чем Шерри). Решающий эпизод "посвящения" Килби в шпионы имел место в Вене как раз перед началом войны, и те непростые чувства, которые Холли Мартинс испытывает по отношению к Гарри Лайму — и осуждая его преступную деятельность, и клянясь ему в дружбе и преданности, — это зеркальное отражение дружбы-вражды Филби и Грина в бытность последнего сотрудником МИ-6. Как справедливо отмечает Шелден, "Грин не мог совершить предательства по отношению к Киму Филби, однако всю оставшуюся жизнь размышлял над беспокоившей его дилеммой. Он снова вернулся к ней в романе "Человеческий фактор" и даже послал рукопись Филби в Москву — хотел узнать его мнение".

В романе "Человеческий фактор" действует советский агент, сотрудник британской разведслужбы, женатый на темнокожей южноафриканской женщине; он передает русским сведения о тайном договоре между Западом и южноафриканским правительством, чья цель — не допустить перехода африканских золотых приисков в руки Советов. Вскоре после публикации романа общественность узнала, что договор о золотых приисках и в самом деле существовал. Леопольдо Дуран приводит этот случай как иллюстрацию присущего Грэму Грину дара политического ясновидения. Однако вполне вероятно, что эти сведения писатель получил благодаря своим контактам с разведслужбой. Которые, кстати сказать, не прекратились с его отставкой из МИ-6 в 1944 году. Шелден утверждает, что узнал об этом от сотрудников секретариата британского кабинета министров, из чего следует, что весь послевоенный период, вплоть до начала 80-х годов, некоторые поездки Грина за границу субсидировались секретной службой и он регулярно писал туда отчеты, действуя, так сказать, на общественных началах. Тщательно проанализировав эти данные, Норман Шерри приходит к выводу, что, как и подозревали французские власти, во время французских военных действий в Индокитае Грин функционировал там в качестве английского шпиона, хотя и представлялся журналистом и писателем, собирающим материал для нового романа.

В 1968 году Ким Филби выпустил в свет воспоминания, к которым Грин написал восхищенное предисловие, чем нанес серьезное оскорбление Англии. Его сразу же заклеймили как предателя, чьи руки обагрены кровью многих агентов Британии и союзных стран. Проводимая им параллель между тайным пособничеством Филби советской разведке и подпольной деятельностью католиков во времена королевы Елизаветы I была отвергнута как софистика. Возможно, в "Человеческом факторе" (1978) Грин попытался придать образу шпиона более привлекательную окраску, увязывая его с высокоморальной идеей — оппозицией режиму, несущему ответственность за апартеид. Но если Грин и впрямь продолжал сотрудничать с МИ-6 в годы "холодной войны", то публичная поддержка Филби несомненно служила ему весьма ловким прикрытием и позволила снискать статус "персона грата" в Советском Союзе, а также и получить доступ к знаменитому перебежчику. Возможно, встречаясь с Филби в России, Грин старался вытянуть из него кое-какую информацию; возможно, он обрабатывал его, пытаясь снова "завербовать" (скорее всего, Филби к тому времени был уже завербован). Однако здесь мы вступаем в зеркальный лабиринт, каковым является мир современного шпионажа, где нет ничего невозможного.

Согласно Шелдену, сотрудничество Грина с секретной службой плохо согласуется с его позднейшими клятвами в верности "международному социализму", и этот факт, почерпнутый из биографии писателя, разочаровал некоторых английских обозревателей (например, Ф. Нормана, журналиста газеты "Индепендент"). С другой стороны, если к идее "международного социализма" Грин относился кри-

тически, то для его шпионской деятельности, якобы служившей ему прикрытием, можно найти оправдание. Кстати, Ивлин Во всегда считал, что Грин "был нашим агентом и заигрывал с русскими исключительно для отвода глаз". Подобное объяснение загадочного поведения Грэма Грина представляется не лишенным привлекательности в ряде отношений. Публично поддержать предательство Филби и этим навлечь позор на свою голову во имя служения родине — такой жест был достоин героев патриотических приключенческих книг, на которых был воспитан Грин. Однако теория эта представляется уж слишком стройной и не отвечает на вопрос, почему воспоминания о Киме Филби до самой смерти вызывали у Грина угрызения совести.

Как следует из статьи Р. Розенбаума в "Нью-Йорк таймс мэгэзин" от 10 июля 1994 года, Норман Шерри писал в Швейцарию доживающему последние дни Грину и просил подтвердить часто встречавшиеся сведения о том, что Филби был двойным контршпионом, то есть разыгрывал из себя перебежчика, а на самом деле поставлял информацию в британскую разведслужбу. Грина этот запрос привел в волнение, и он даже распорядился прислать свои архивные материалы, касающиеся Кима Филби, словно хотел заново уяснить мотивы, которыми руководствовался его бывший друг. В записях Леопольдо Дурана о посещении умирающего Грина есть интригующая фраза, скорее всего, имеющая отношение к этому делу: "Аманда [племянница Грина — *Л. Д.*] упомянула о чем-то, касавшемся секретной службы и беспокоившем его последние несколько дней". Дуран далее поясняет: "Отвечал он в ясном сознании, хотя говорил уже́ с трудом". Поскольку Грина и Дурана тогда уже не связывала тайна исповеди, когда-нибудь испанский священник поведает нам о том, что услышал от писателя.

Мое собственное мнение на этот счет таково: Грин был слишком непоследователен и противоречив в своих политических взглядах, и его связи с разведслужбой в послевоенные годы объясняются прежде всего личными и сиюминутными соображениями. Мы знаем о его великой склонности к шуткам, розыгрышам и прочим способам дурачить публику; нам известно и то, что уже с младых ногтей он упражнялся в соглядатайстве отнюдь не по идейным соображениям, но исключительно из любви к искусству, а также из желания посмотреть мир за чужой счет. Несомненно, он извлекал массу удовольствия из того, что путешествовал по всему свету, запросто общался с политической элитой и был очевидцем войн, революций и политических заговоров. В конце концов, все это, как любят повторять писатели-профессионалы, и есть литературный материал.

Его отношение к "холодной войне" всегда отличалось своеобразием. Прежде всего, он был настроен антиамерикански, истоки этого следует искать в его довоенной карьере кинокритика. В заметке, написанной вдогонку уже упоминавшейся выше кинорецензии, он ясно дал понять, что глубоко презирает Голливуд и ни во что не ставит вклад, внесенный его деятелями в мировой кинематограф. Однако упреки в сексуальности девятилетней Шерли Темпл, которые он высказал в своей рецензии в журнале "Найт энд дэй", явно выходили за рамки дозволенного, и студия наказала Грина за дерзость, возбудив судебное дело по обвинению в клевете против него и журнала. В результате журнал прекратил свое существование, а Грин был подвергнут большому штрафу. Этого эпизода он не забыл и американцам не простил.

В романе "Тихий американец" (1955) Грин дал тонкую оценку безрассудной политике США, развязавших военные действия в Юго-Восточной Азии, и верно предсказал последствия такого вмешательства, однако несколькими годами раньше он как журналист поддерживал антикоммунистическую кампанию французских колониалистов. И вместе с тем ему ничего не стоило петь хвалы коммунизму в пику американцам, одновременно снабжая британские спецслужбы материалами, собранными в

поездках за железный занавес. Именно антиамериканизм заставлял Грина бездумно поддерживать центральноамериканские революционные и народные движения и их лидеров — Кастро, Трухильо, Торрихоса и сандинистов[1], чьи идейные установки были сомнительны, а политические методы отличались жестокостью. Шелден весьма недвусмысленно высказывается насчет политических игр Грина в Центральной Америке, характеризуя их как двуличные и безответственные. Интересно, удастся ли Норману Шерри в третьем томе (относящемся к этому периоду жизни писателя) привести хоть сколько-нибудь реабилитирующие Грина данные.

В соревновании на лучшую биографию Грэма Грина Шерри и Шелден выступают в качестве тяжеловесов, и поединок между ними будет продолжаться еще какое-то время. Кроме них, есть Энтони Моклер — журналист и военный историк, воспитанный в католичестве. В молодости он был знаком с дочерью Грина и много путешествовал, нередко по маршрутам писателя. Казалось бы, он лучше других мог справиться с жизнеописанием Грэма Грина, однако, как это ни удивительно, его книга грешит дилетантизмом. Он то и дело прибегает к авторитету других исследователей, будто пишет статью в развлекательный журнальчик. Конечно, не стоит забывать о моральном ущербе, понесенном им в связи с судебным запретом первого варианта книги; кроме того, как и в случае Шелдена, душеприказчики Грина крайне ограничили его свободу по части цитат. Тем не менее из имевшегося в его распоряжении материала он все же смог добыть немало интересных подробностей, которые ускользнули от внимания его собратьев по перу или не были по достоинству ими оценены.

Самой странной из рецензируемых здесь книг являются воспоминания Леопольдо Дурана. Он познакомился с Грином в начале 70-х годов, после того как послал ему экземпляр своей докторской диссертации, над которой работал в Лондонском университете. Грин позвонил ему и пригласил на обед в "Ритц". Дуран, похоже, всю оставшуюся жизнь пребывал под впечатлением от этого яркого события. Вообще говоря, это был странный и нетипичный для Грина жест, так как писатель обычно избегал поклонников, особенно имеющих церковный сан. Если на то пошло, то и Дуран был не из тех священников, которых Грин предпочитал описывать в своих романах. И в силу характера, и в силу мировоззрения Дуран никогда не выходил за рамки общепринятых условностей, а в политике и теологии неизменно придерживался правых взглядов. Он был убежденным поклонником Франко, и это единственное, чем можно объяснить некоторые затруднения в его академической карьере. Дуран делает глухие намеки на то, что студенты бойкотировали его лекции, а также что он не получил повышения по службе, которому могли бы способствовать его публикации о Грэме Грине (писателя, по словам Дурана, крайне удивило столь несправедливое отношение академической среды).

Дуран простодушно рассказывает различные жизненные истории, невольно придавая отдельным пассажам своей книги комический оттенок. Например, однажды его пригласили прочесть лекцию о Грине в университет Комплутенсе[1]. Грин сам помог ему отредактировать текст выступления, но на лекцию никто не пришел — ни единой души.

Позже, когда я позвонил Грину, чтобы рассказать о случившемся, в трубке установилась мертвая тишина. Я подумал, что нас разъединили. Но я ошибся: Грин просто задумался.

1. Рафаэль Трухильо (1891—1961) — диктатор Доминиканской республики; Эррера Торрихос (1929—1981) — президент Панамы, ему посвящена книга Г. Грина "Знакомство с генералом"; сандинисты — участники Фронта национального освобождения Никарагуа называли себя в честь Аугусто Сандины (1895—1935), возглавившего борьбу против оккупации Никарагуа США в 1921—1933 гг.

1. Комплутенсе — католический университет в Мадриде.

Очень бы хотелось знать, какие мысли пришли тогда ему в голову.

Почти каждое лето Грин в обществе Дурана, с корзинкой провизии и хорошим запасом спиртного в багажнике, несколько недель ездил в машине по сельским дорогам Испании, чаще всего на северо-востоке страны, на стоянках путешественники беседовали за бутылкой вина. Эти поездки Грин прозвал пикниками. Их разговоры, которые Дуран аккуратно записывал, чаще всего касались вопросов религии, особенно католического учения о взаимоотношениях полов:

Мы с Грэмом делились друг с другом самым интимным. Он всегда с большой охотой слушал то, что я рассказывал о своих подругах, и часто при обсуждении этих дел на глаза у него наворачивались слезы.

Возможно, эти рассказы смешили Грина до слез и он пытался скрыть это? Он, несомненно, распознал в священнике комическую фигуру и вывел его (при несколько игривом попустительстве самого Дурана) в качестве главного героя романа "Монсеньор Кихот" (1982), книги довольно странной и не вполне удачной, напоминающей затянувшийся анекдот. Воспоминания Дурана снабжены множеством фотоснимков, на которых Грин неизменно смотрит прямо в объектив с натянутой улыбкой, будто чем-то раздражен или просто не в духе. Однако неподдельная искренность испанского священника действовала на Грина умиротворяюще, и, прощаясь с жизнью, он вызвал его к своему смертному одру. Леопольдо Дуран причастил и соборовал писателя.

6

Книга Моклера заканчивается небольшой главой под названием "Что я думаю о Грэме Грине?" Вопрос сформулирован довольно прямолинейно, однако именно его наверняка задаст читатель романов Грэма Грина, выбравшись из-под груды новой для него биографической информации и досужих вымыслов. У меня есть собственные резоны задаться этим же вопросом. Своим творчеством Грэм Грин оказал на мое писательское становление гораздо большее влияние, чем кто-либо иной из современных писателей, и, хотя я встречался с ним всего несколько раз, а наша переписка прерывалась длинными паузами, общение с ним для меня было чрезвычайно интересно и полезно.

В конце 40-х — начале 50-х годов, когда я был учеником средней школы и делал первые, но решительные попытки взяться за перо, Грэм Грин пребывал на вершине писательской славы и, по всеобщему признанию, был самым интересным и талантливым английским автором. Из его современников лишь Ивлин Во мог составить ему достойную конкуренцию, хотя, по мнению многих критиков, именно с того времени, после написания — или до написания — романа "Возвращение в Брайдсхед" (1944), его писательский успех пошел на спад, тогда как "Суть дела" (1948) или "Конец одной любовной связи" (1951) стали, по всем меркам, лучшими романами Грэма Грина. Я читал произведения обоих писателей с жадным интересом и огромным удовольствием и многое перенял у них по части писательского мастерства. Поскольку я был католиком, получившим соответствующее воспитание, немалое значение для меня имело и то, что оба они приняли католичество и затрагивали в своих произведениях темы католицизма. Хотя нельзя сказать, что та местническая, мелкобуржуазная католическая субкультура в ее ирландском варианте, с которой мне, главным образом, довелось познакомиться, имела много общего с папистами-аристократами и светскими львами Ивлина Во или с исповедующими католицизм уголовниками, чудаковатыми и падкими до виски священниками, а также распутничающими эмигрантами, которых изображал в своих романах Грэм Грин. Главное же заключалось в том, что благодаря этим писателям получивший свое от-

ражение в литературе католицизм стал интересен, привлекателен и престижен. В современном мире, не знавшем ни англиканских, ни методистских писателей-романистов, похоже, стало возможным говорить о существовании такой фигуры, как писатель-католик.

Грин весьма убедительно показал, что все, о чем мечтает наделенная творческим воображением юность: бунтарство, богемность, антибуржуазность, — вполне согласуется с сочинительством, отнюдь не выходящим за пределы католической веры и ее исповедания. В своих ранних романах я разрабатывал некоторые типично гриновские темы: вера и безверие, прегрешение и чувство вины — и, хотя переносил действие в другую, менее красочную среду городских окраин, еще не освободился от стилистических заимствований. В первом из опубликованных мною романов "Киношники" есть второстепенный персонаж по имени Гарри, который смахивает на Пинки из романа "Брайтонский леденец"; и Кингсли Эмис, в целом положительно оценивший мое творение, отмечает в своей рецензии "две или три невольные метафоры в духе Грэма Грина: "свое несчастье он нес перед собой, как дароносицу".

Роман "Киношники" был начат младшим капралом, исполнявшим обязанности делопроизводителя в Королевском танковом полку, — в то время я отбывал двухлетнюю воинскую повинность. За спиной у меня был Лондонский университетский колледж, где я получил степень бакалавра, а впереди — два года работы над магистерской диссертацией. Ее тема звучала так: "Английский католический роман со времен Оксфордского движения до наших дней". Грэм Грин стал героем последней, ударной главы моего чудовищно длинного опуса (в фондах Британского музея обнаружилось куда больше католических романов, чем можно было ожидать). В диссертации я рассматривал католический роман прежде всего с точки зрения тематики — я стремился показать, что беллетристика использовалась для проведения в жизнь постоянно меняющегося "католического мировоззрения". Однако по ходу дела меня стали больше интересовать вопросы художественной формы. Тщательный анализ писательской техники Грэма Грина показался мне лучшим средством защитить его от ученых ниспровергателей, которых уже тогда развелось немалое количество. В то время в литературоведении господствовали две школы — американская "новая критика", признававшая высшей литературной формой лирическое стихотворение и оказывавшая предпочтение модернистскому и символистскому роману, а не традиционному реалистическому, и школа Ф. Ливиса[1], более склонная к реализму, но при условии, что писатель "правдиво отражает жизнь" в соответствии с великой традицией секуляризованного английского пуританства. Сочинения Грэма Грина, недвусмысленно воспевающие смерть и сливающие воедино романтический приключенческий рассказ, современный детектив-триллер и французский католический роман о грехе, спасении души и "мистической сублимации" (получивший свое развитие у Бернаноса[2] и Мориака), не отвечали критериям обеих упомянутых школ и, как и следовало ожидать, подвергались уничтожающей критике в академических литературоведческих журналах.

В то время Грин виделся мне писателем, который, при всем его сочувствии к страдающему и угнетенному человечеству, придерживается антигуманного и антиматериалистического взгляда на человеческую жизнь (отраженного в афоризме Т. С. Элиота: "Уж лучше, как это ни странно, творить зло, чем бездействовать; по крайней мере, это тоже жизнь"), который по-новому преломился в романе "Суть дела": "Только человек доброй воли несет в своем сердце вечное проклятие"[3]. Однако

1. Фрэнк Реймонд Ливис (1895—1978) — британский литературный критик, автор монографии "Великая традиция".
2. Жорж Бернанос (1888—1948) — французский католический писатель и публицист.
3. Перев. с англ. Е. Голышевой и Б. Изакова.

эта умозрительная истина (если позволить себе охарактеризовать ее столь приблизительно) в романах Грина наполнилась живой и убедительной конкретикой и в каждом из них получила новую тематическую разработку. В сочинениях Грина мне удалось выявить ключевые слова и словосочетания, зачастую достаточно абстрактные по своему значению, такие, как "доверие" – в "Доверенном лице", "жалость" – в "Сути дела", "любовь и ненависть" – в "Конце одной любовной связи", которые, то и дело встречаясь в тексте, оказывают почти суггестивное воздействие на читателя, направляя и фокусируя его восприятие все более закручивающегося сюжета и вызывающего яркие ассоциации романного антуража. От этих первых наблюдений я перешел к более серьезному изучению проблем литературного стиля, что и составило содержание моей первой литературоведческой книги "Искусство прозы" (1966). В том же году в выпускаемой Колумбийским университетом серии "Современные писатели" я опубликовал отдельной брошюрой расширенный и видоизмененный вариант моей последней диссертационной главы, посвященной Грину.

К тому времени у меня уже вышли два романа: "Рыжий, да ты спятил!" (1962) – о службе в вооруженных силах (который, как я обнаружил по прошествии нескольких лет, был написан не без влияния "Тихого американца", ибо повторял такие важные его особенности, как повествование от первого лица и использование временных сдвигов) и "Падение Британского музея" (1965) – мой первый откровенно юмористический роман, содержавший целый ряд пародий, в том числе и на Грина. С моей стороны, это был скорее акт поклонения, чем сатирический выпад, и все же с великим душевным трепетом послал я Грину экземпляр книги, приложив брошюру Колумбийского университета и сопроводительное письмо, в котором признавался в своем давнишнем интересе к его сочинениям и выражал восхищение его творчеством. Это было мое первое послание известному писателю. Полученный от него ответ доставил мне огромное удовольствие. Грин поблагодарил за брошюру, хотя и не скрыл, что не любит читать критических разборов своих произведений (теперь я понимаю и разделяю его чувства), роман же – дело иного рода. "Я прочитал его с превеликим наслаждением. Он очень смешной и в наше время весьма уместен". Грин настойчиво рекомендовал мне послать роман кардиналу Хинану, и когда в своем следующем письме я отклонил эту идею (которая мне показалась чересчур смелой, и к тому же в те дни я не мог позволить себе роскошь бесплатно рассылать свои книги), он обещал, что сделает это сам. Вскоре роман был принят к публикации в Соединенных Штатах, и издатели спросили меня (как это часто бывает с малоизвестными авторами), к кому из признанных писателей они могут обратиться за отзывом для суперобложки. Несколько нервничая, я написал Грину и попросил разрешения процитировать его письмо ко мне, и он великодушно согласился, как нередко изъявлял готовность поддержать и других писателей. Стоит ли говорить о том, какой бесценной рекомендацией стал для меня этот отзыв!

С тех пор я всегда посылал Грину экземпляр каждого нового романа и неизменно получал в ответ благодарственное письмо из его резиденции на Антибах. Но встретиться нам довелось лишь в 1975 году, когда группа литературоведов – поклонников Грина, возглавляемая Мириам Элотты (написавшей в соавторстве с мужем первое монографическое исследование о Грине) и моим другом Ианом Грегором (ученым-католиком, давно проявлявшим интерес к писателю), пригласила меня на ужин, чтобы отпраздновать семидесятилетие писателя и премьеру его пьесы "Возвращение А. Дж. Раффлза", ради чего тот и появился в британской столице.

Ужин проходил в ресторане на севере Лондона, неподалеку от квартиры Мириам, где все мы заблаговременно собрались. Грин, похоже, стеснялся и чувствовал себя неловко, а нас несколько сковывало то обстоятельство, что увиденная нами только

что пьеса оказалась далеко не лучшим из написанного им для театра и не вызвала у нас восторга. Но постепенно он оттаял и рассказал несколько забавных историй, оказав нам этим большую честь (правда, на следующий день мы не без смущения обнаружили в воскресном выпуске какой-то газеты те же самые истории — он повторил их в своем интервью). Не думаю, что Грин прибегнул к своим излюбленным розыгрышам — просто решил сэкономить силы, требуемые в подобного рода случаях. К концу жизни он, как и многие известные литераторы, смирился с неизбежной надоедливой шумихой в средствах массовой информации, которой сопровождался выход в свет каждого его нового романа, однако интервью его стали настойчиво однообразны, как будто он старался не отступать от заранее заготовленного и выученного сценария, — впрочем, содержавшего в себе гораздо больше умолчаний, чем признаний.

На следующий год Британский совет уведомил меня, что Грин согласился дать интервью, которое должно было быть записано на кассеты, предназначавшиеся для изучающих современную английскую литературу студентов-иностранцев, и либо одобрил, либо сам предложил мою кандидатуру на роль интервьюера. Я радостно откликнулся на это предложение, и в одну из мартовских суббот мы встретились в Лондоне. Впоследствии я запечатлел на бумаге эту встречу, вся атмосфера которой, казалось, была пропитана столь типичной для него горькой иронией.

Студия звукозаписи находилась на Дорсет-сквер. Я прибыл на место загодя, но Грин уже был там и ожидал меня у газетного киоска, вглядываясь в витрину светло-голубыми, слегка выпуклыми глазами. Он был в черном, ворсистом, перехваченном поясом пальто. Головного убора на нем не было, и на лысеющей голове ветер шевелил нежный, как у младенца, седой пух. Мы вспомнили водителя такси, подвозившего нас после прошлогоднего ужина в ресторане, — словоохотливого иранца, который вмешался в разговор, заявив, что знаком с одной из упомянутых участниц ужина, профессором Молли Махуд, возможно, приняв ее ирландскую фамилию за персидскую. "Едва ли не самое яркое событие вечера", — лаконично заметил Грин и потом признался, что за ужином среди незнакомых людей, чьих имен не запомнил во время знакомства, чувствовал себя не в своей тарелке.

Мы разыскали студию, которая приютилась в каком-то обветшалом подвале. Я подавил искушение припомнить вслух название одного из рассказов Грина "Комната в подвале", все вокруг в самом деле навевало мысли о стране "Гринландии". Через окно первого этажа был виден изысканно накрытый обеденный стол с расставленными на нем подсвечниками, а между тем, было лишь полодиннадцатого утра. Дверь в подвал после некоторой паузы отворилась, и приглашенный Британским советом продюсер по имени Лиддердейл провел нас по грязному сырому коридору в самую тесную и неопрятную студию звукозаписи, какую мне когда-либо приходилось видеть. Стол, на котором стояли микрофоны, был покрыт грязным коричневым сукном, изрезанным бритвенными лезвиями и прожженным окурками.

Нас торопливо и несколько сконфуженно представили радиоинженерам. Затем, попивая растворимый кофе, мы в течение часа записывали интервью. Поначалу Грин был не слишком словоохотлив и в ответ на мои тщательно продуманные вопросы отделывался обескураживающими "да" или "нет". Но постепенно он оживился, и хотя не сказал ничего нового, Лиддердейл дал понять, что результатом доволен. По окончании мероприятия он, к моему удивлению, расплатился с нами наличными, выдав каждому по тридцать фунтов — банкноты он достал из своего бумажника и попросил нас расписаться на каких-то убогих на вид квитанциях. Грин пригласил меня пропустить по стаканчику, и Лиддердейл порекомендовал буфет около железнодорожной станции Мерилбоун, поскольку там подавали новое бочковое

пиво "Раддлз". Потом он и сам решил заглянуть туда.

Грину бар очень понравился, и он порадовался тому, что узнал о его существовании. Он сказал, что сюда было бы неплохо пригласить его брата Хью, большого любителя пива. Потом заговорил о предстоящей им обоим совместной поездке в Грецию; и Лиддердейл, чьим увлечением была Византия, порекомендовал осмотреть несколько достопримечательностей, до которых можно добраться лишь верхом на мулах. Грин ответил, что ему уже не по годам ездить верхом, и кстати припомнил свое долгое путешествие на мулах по Мексике. Я задал ему вопрос о поездке в Либерию, описанной в "Путешествии без карты", и поинтересовался, что стало с сопровождавшей его кузиной. Он сказал, что кузина жива, во время войны ей пришлось многое испытать, а теперь она проживает в Европе. Он вспомнил, что пригласил ее в Либерию, явно хватив лишнего на свадьбе у родственника, и что потом его смутила ее твердая решимость ехать с ним вопреки возражениям родни.

Затем к нам присоединились звукорежиссер и секретарь Лиддердейла. Мы выпили по новой, переключившись с пива на джин с тоником, и слегка захмелели. Потом, когда Грин принес для всех еще по одной порции джина с тоником, я заметил, что выпивка пробьет брешь в его гонораре. Ухмыльнувшись, он ответил: "Что может быть лучше подобной бреши?" Мы перевели разговор на фильмы и коснулись готовившейся экранизации романа "Почетный консул". Перед расставанием, уже на улице, Грин спросил, куда идут поезда со станции Мерилбоун. Этот вопрос, я думаю, был не только типичен, но и весьма показателен для одного из самых великих писателей-странников нашего времени.

В последующие годы наша переписка немного оживилась, и мы стали обращаться друг к другу по имени. Послав ему свой новый роман "Далеко ли вы пойдете?", я снова получил от него похвальный отзыв, который он снова позволил мне процитировать на суперобложке (я дал ему понять, что впредь не буду беспокоить его подобными просьбами). Кроме того, он написал: "Вот что удивило меня. Мне никогда не встречались католики, которых вы изображаете в своей книге, — возможно, потому, что я принадлежу к предыдущему поколению. Мне казалось, что люди перестали верить в геенну огненную и считать противозачаточные средства порождением зла еще до войны. Наверное, я общался с какими-то другими католиками и слишком много времени провел за границей". Все это как-то плохо соответствовало нарастанию эсхатологических мотивов в его собственных романах конца 40-х годов — вплоть до "Сути дела" (1948) и желанию познакомить кардинала Хинана с моим романом "Падение Британского музея", хотя была своя правда в том, что католическая церковь, чьим прихожанином он стал в свое время, заметно отличалась от той, что описываю я, особенно когда речь идет о богослужениях на современном языке, церковных песнопениях под гитару, пеших маршах в поддержку миссионерства, службах на дому, воскресных вечерах для неблагополучных семей, харизматических молитвенных группах — то есть обо всем том, что стало возможно после Второго ватиканского собора[1].

К слову сказать, из романов самого Грина, начиная с "Ценой потери" (1961), явствует, что его собственная вера в Бога претерпевает изменения и истощается. Если раньше он называл себя "пишущим католиком", то теперь подобрал другое определение: "католик-агностик". В одном из интервью он проводит границу между религиозными убеждениями, которых лишился, и верой, которую сохранил, хотя эта последняя скорее напоминает тоскливую надежду на то, что вся христианская мифология в конце концов чудесным образом обернется правдой. Я и сам, пожалуй, в чем-то католик-агностик (или агнос-

1. Второй ватиканский собор (1962–1965) был созван для обновления католической церкви.

тик-католик), но мне все-таки кажется, что самые сильные, выдержавшие проверку временем романы Грина те, в которых он без всяких компромиссов следует каноническому учению о Боговоплощении и конце света; ни он, ни я в период нашего знакомства уже не разделяли подобных взглядов.

В мае 1985 года мы с женой ненадолго поехали отдохнуть во Францию, и я воспользовался давнишним приглашением Грина навестить его при случае на Антибах. Он принял нас в довольно скромных размеров квартире, окна которой выходили на море, предложил выпить и показал входную дверь, изуродованную местной криминальной группировкой, пытавшейся запугать его (эта история излагается в эссе "J'accuse[1]": Теневая сторона Ниццы", 1982). Затем он пригласил нас пообедать в старом городском квартале неподалеку от гавани, и, угощаясь ухой и печеным палтусом, мы позволили себе откровенные и отчасти даже рискованные разговоры. Казалось, Грин ничуть не потерял интереса ни к жизни, ни к литературе. Не без гордости он признался, что в семьдесят с лишним лет перенес операцию по поводу рака кишечника и что недавно вернулся к роману, начатому несколько лет тому назад. Похоже, он испытывал какую-то озорную радость от того, что бедняга Норман Шерри вдоволь хлебнул горя, пытаясь отследить каждый его шаг. Я пришел к выводу, что безразличие к смерти, столь часто проповедуемое Грином, и культ неудач, якобы помогающих узнать жизнь по-настоящему, в какой-то степени являются для него искупительными или защитными мерами против собственной гордыни и что в глубине души он наслаждается выпавшей на его долю славой и долголетием.

Спустя два дня, сидя на краешке бассейна где-то в Провансе, я записывал по памяти состоявшийся между нами разговор. Неожиданно налетевший порыв ветра, "маленький мистраль", как называют его местные жители, нарушил мирную картину, пустив по бассейну волны, перевернув навесы и столики и взметнув в небо страницы моей рукописи. Разинув рот от удивления, я наблюдал, как, порхая в воздухе, они удаляются в сторону соседней оливковой рощи. Прыгнув в машину, мы с женой бросились вдогонку, но смогли отыскать лишь несколько измятых и перепачканных листков. Позже этот инцидент в несколько переработанном виде был использован мною в рассказе "Отель Бубс": писателя, сидящего у бассейна и что-то сочиняющего, подобным образом повергает в изумление женщина, устроившаяся позагорать рядом с ним в купальнике без верха. Я думаю, Грин позабавился бы, узнай он, каковы истоки моего рассказа, но я даже не заикнулся ему об этом, опасаясь, что сам факт существования записей поставит под угрозу наши отношения, однако он наверняка догадывался, что все, с кем он общался, делали их.

У меня сохранились лишь самые теплые воспоминания о Грэме Грине, и даже откровения его биографов ничем не смогли их омрачить, хотя, пожалуй, я теперь меньше жалею о том, что не познакомился с ним поближе. (С другими писателями он сохранял добрые отношения, лишь находясь на далеком расстоянии; например, с Энтони Бёрджессом они перестали ладить после того, как поселились по соседству на Лазурном берегу.) Однако многие поклонники Грэма Грина пришли в полное смятение, когда их посвятили в подробности его интимной жизни, — то же самое произошло и с почитателями Филипа Ларкина[1], чьи письма и биография, написанная Э. Моушеном, были опубликованы незадолго до того. Подобная реакция понятна, но не вполне логична. Никакие разоблачительные открытия, касающиеся личной жизни писателя, не должны влиять на наше мнение о его творчестве, сложившееся вне всякой связи с ними. Хотя, конечно, они помогут подтвердить либо рассеять кое-какие возникающие у нас сомнения.

1. Я обвиняю (*франц*).

1. Филип Ларкин (1922–1985) — английский поэт, библиотекарь и музыкальный критик.

Биографы ни в коей мере не повлияли на мою уверенность в том, что романы Грина, написанные им в 30-е и 40-е годы и завершающиеся "Концом одной любовной связи", принадлежат перу крупнейшего мастера и занимают важное место на карте современной литературы. Однако я не могу не согласиться с Майклом Шелденом, который выносит суровый приговор поздней прозе Грина, и здесь, по-видимому, биографические факты должны быть учтены. В постскриптуме к моей брошюре о Грэме Грине, выпущенной еще в 1976 году, я написал:

Эпиграф из Томаса Гарди к роману "Почетный консул" довольно точно определяет его нынешнее мировоззрение: "Все слито воедино: добро и зло, великодушие и правосудие, религия и политика..."[1]. Однако самые удачные его произведения рождаются скорее из столкновения конфликтующих идей, чем из туманного и маловразумительного взаимного их перетекания.

Новые сведения о подозрительных и, вероятно, двусторонних шпионских связях Грина с секретной службой во время "холодной войны" действительно укрепляют наши сомнения относительно таких его поздних романов, как "Комедианты", "Путешествия с тетушкой", "Почетный консул" и "Человеческий фактор". При всем своем техническом совершенстве они оставляют странное чувство неудовлетворенности, поскольку затронутые там важнейшие политические и философские проблемы не получают должного разрешения. Читая книги Шерри и Шелдена, постепенно утверждаешься в мысли, что у Грина не было последовательного и непротиворечивого взгляда на мир и что именно этот свой недостаток он пытался замаскировать, настаивая на том, что у художника не должно быть приверженности к той или иной идеологической системе. Возможно, это не было бы столь важно, если бы он сам не обращался к этой теме в своей поздней прозе.

Однако странные и сумасбродные поступки, которые позволял себе Грин в личной жизни, его черствость и эгоизм по отношению к женщинам — все, что вытащили на свет божий старательные биографы, — нисколько не умаляют эмоциональной и духовной глубины его лучших произведений. Нравственный зазор между живым писателем и "абстрактным автором" не есть постыдный факт, но скорее проявление известного принципа, провозглашенного Т. С. Элиотом: "Чем совершеннее художник, тем четче разделены в нем человек, непосредственно живущий и страдающий, как все люди, и творящее сознание"[1]. Грин, безусловно, человек страдающий, и мне непонятно, почему Шерри кажется парадоксальным, что "этот человек, которого многие считают крупнейшим писателем своего времени, и к тому же человек весьма преуспевающий, <...> знает, что такое отчаяние вопреки успеху и материальному благополучию". Однако страстность, которой от природы обладал Грин (или которая обладала им), пожалуй, не подлежит рациональному объяснению. Сторонние наблюдатели усматривают в ней род недуга, но к счастью для Грина — а равно и для нас всех, — он нашел против него средство, пусть и не радикальное: "Писательский труд — это форма терапии, и мне непонятно, как спасаются от безумия, тоски и панического страха, которые подстерегают человека на каждом шагу, те, кто не пишет книг, не сочиняет музыки, не рисует картин"[2]. Да пребудет душа его в мире — там, где не пишут биографий.

1. Перев. с англ. Е. Голышевой и Б. Изакова.

1. Традиция и индивидуальный талант. Перев. с англ. Н. Пальцева. В кн.: Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. М., Изд-во МГУ, 1987.
2. Пути спасения. Перев. с англ. А. Бураковской.

Дмитрий Затонский

"Жестяной барабан" Гюнтера Грасса, или Понимаем ли мы мир, посреди которого существуем?

Австрийский прозаик Герман Брох, когда лет семьдесят тому назад прочитал – еще в рукописи – роман младшего собрата Элиаса Канетти под названием "Ослепление", сказал о его персонажах: "Но это уже не настоящие люди". А Канетти ответил: "Это – фигуры..." И прибавил: "Люди и фигуры – не одно и то же... Роман как литературный жанр начинается с фигур. Первым романом был "Дон Кихот". Что вы думаете о его главном герое? Не представляется ли он вам достоверным именно потому, что является крайностью?"[1]

Так он сказал Герману Броху, а вот еще что записал по тому же поводу для самого себя: "Однажды мне пришло в голову, что мир не следует более изображать так, как то делалось в старых романах, потому что мир *распался*".

При этом Канетти вовсе не относил к "старым романам" ни сочинения Гоголя, ни даже сочинения Сервантеса. Ведь решающим, на его взгляд, было отнюдь не *время* написания книги, а от времени как бы и вовсе не зависящий *характер* авторского мировосприятия: к примеру, умение того же Гоголя через посредство *смещенного* образа постигать и воссоздавать непоправимо *смещенный* мир императорского Петербурга...

1. *Кое-что о герое книги*

"...Я принадлежу к числу тех восприимчивых младенцев, – заявил Оскар Мацерат, главное действующее лицо "Жестяного барабана" и одновременно повествователь, – чье духовное развитие уже завершено к моменту появления на свет, в дальнейшем его надлежит только подтверждать..." И далее: "Одинокий, никем не понятый, лежал Оскар под лампочками и сделал для себя вывод, что так все и останется, пока через шестьдесят-семьдесят лет завершающее короткое замыкание не обесточит все источники света, а потому и вообще расхотел жить, еще раньше, чем началась эта жизнь под лампами; только обещанный барабан помешал мне тогда более активно выразить свое желание вернуться в нормальное положение эмбриона головкой вниз".

Здесь сразу соприкасаешься как бы с совершенно новым (по крайней мере, "иным", нежели в большинстве известных всем нам книг) взглядом на жизнь: автор констатирует (причем словно "наперед"!) некое изначальное, необоримое, фундаментальное *несовершенство* мироздания, какую-то *порочность* его привычного и тем самым вроде бы уже чуть ли не "нормального" естества. Иными словами, Грасс готов брать в расчет наличие жизненных обстоятельств, которые не поддаются никакому более или менее существенному улучшению.

Сегодня такой взгляд на вещи распространен особенно широко, даже стал чуть ли не само собою разумеющимся. И прозывается он "постмодернистским". Одни этот взгляд разделяют, другие, напротив, оспаривают. Но от того, что закроешь на нечто глаза, оно не исчезнет, даже, увы, ничуть не усохнет...

© Д. Затонский, 2001

1. Elias Kanetti. Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931–1937. München–Wien, 1985, S. 44.

Вдобавок, по-видимому, именно сейчас человечество переживает свою самую последовательную, а может статься, и самую глобальную постмодерную ситуацию.

На протяжении всей человеческой истории "модернистские" и "постмодернистские" периоды (то есть те, что отличались верой в прогресс, в достижимость высоких общественных идеалов, наличием светлой мечты или, напротив, скептицизмом, насмешливым неверием и пр., и пр.) попеременно наследовали друг другу: "модернистская" (преимущественно средиземноморская) античность сменилась застойно-"постмодернистским" Средневековьем; последнее, в свою очередь, оказалось вытесненным — опять-таки "модернистским" — Ренессансом, а за ним последовала эпоха маньеристского и барочного "упадка"...

И так все это тянулось вплоть до сегодняшнего дня, который являет собою чуть ли не "образцовое" царство мировидения постмодерного. Тем не менее если мир наш по какой-нибудь внешней или внутренней причине вскорости не погибнет, нас, надо полагать, ожидает следующее "модернистское" возрождение... В настоящий момент мы, однако, энтузиастически осваиваем постмодерный упадок. Нынче именно он отправляет у нас функции "символа веры".

Само собою разумеется, что такое коловращение ничем не напоминает оркестр или балетную группу, послушно подчиняющиеся дирижерской палочке. Рука, палочку держащая, либо вообще отсутствует, либо остается не только невидимой, но и как бы непостижимой. Тем не менее некие постмодернистские "правила" все-таки существуют; нам лишь неведомо, *когда*, *кем*, *как* и, главное, *ради чего* были они введены.

Для меня очевидно, что "Жестяной барабан" — произведение сугубо постмодернистское (к тому же в этой своей ипостаси чуть ли не образцовое); оттого *именно сейчас* — не раньше и не позже — его в числе других книг Грасса отметили Нобелевской премией. Так что тут все как раз очень даже логично...

Может, впрочем, статься, что даже чуть логичнее некоей "нормы", в конце концов установившейся путем проб и ошибок. Я имею в виду, что Нобелевских премий, конечно же, удостаивались далеко не все из тех, кто их так или иначе заслуживал. Даже ограничившись немцами, позволительно было бы спросить, отчего этих премий так и не получили ни Герман Гессе, ни Бертольт Брехт?.. Однако цель моя состоит вовсе не в осуждении затеи сказочно разбогатевшего изобретателя динамита, а именно в ответе на вопрос, *почему* учрежденную им премию все-таки присудили Грассу именно теперь?

Как о том свидетельствует само название, чуть ли не ведущая в книге роль досталась детскому жестяному барабану: мать, родив Оскара, тут же и решила к третьей годовщине первенца преподнести ему такую игрушку. И лишь это ее счастливое решение кое-как примирило нашего героя с тяготами человеческого существования. Можно бы даже сказать, что только при условии обладания барабаном он и согласился жить.

Хотя время от времени (в некие переломные моменты) Оскар делал попытки с барабаном своим разлучиться, тот так и остался для него — в смысле прямом и переносном — *способом* (или, как знать, может быть, даже и *Целью?*) существования. Ведь, барабаня, наш герой выражал свое отношение к бытию... И состоит оно в фундаментальном его неприятии. Не будучи обусловленным социально, бытие так и остается, я бы сказал, целиком и полностью "беспартийным", а, следовательно, именно экзистенциальным: "Я барабанил не только против коричневых манифестаций. Оскар сидел также под трибунами у красных и у черных, у скаутов и у молодых католиков... У Свидетелей Иеговы... у вегетарианцев и у младополяков..." Иными словами, все социальные образования герою нашему в равной мере отвратительны.

В то же время барабан, пусть и не сразу, начинает его "кормить" — при-

чем как материально, так и, можно бы сказать, "духовно". С одной стороны, Оскар делает карьеру популярного, недурно зарабатывающего музыканта, а с другой – вроде бы осознает сакраментальную весомость "барабанной" деятельности. Недаром однажды он повесил свой инструмент на шею гипсовому изображению Сына Божьего, что вроде бы должно было подтвердить чуть ли не их "идентичность"... А много позже, когда французские полицейские задержали Оскара в качестве предполагаемого убийцы медицинской сестры Доротеи, он так им и представился: "Я – Христос!"

Да и Иисус вроде бы Оскару симпатизирует: даже выбивает на его барабане "Лили Марлен" и прочие популярные ритмы. Но когда Оскар собрался наконец уходить и Иисус спросил его, любит ли он Сына Божьего, то услышал в ответ: "Я тебя терпеть не могу и все твои штучки-дрючки". А Иисус ему: "Ты, Оскар, камень, и на этом камне я создам Церковь мою. Следуй за мной". И героя нашего слова эти до того разозлили, что он отломал палец у гипсового изображения Бога...

Как видим, все тут построено на противоречиях, даже точнее было бы сказать, на некоей капризной (а то и опасной) *двойственности*.

Итак, Добро и Зло неразличимы... А может быть, даже и нераздельны?!.. И в то же время они не составляют целостности.

Когда хоронили его рано умершую мать, которую Оскар по-своему любил, он "желал вскочить на гроб. Он хотел сидеть на крышке гроба и барабанить. Не по жести – по крышке желал Оскар стучать своими палочками". Но еще ему хотелось лежать в материнской могиле... И это тоже как бы две стороны одной медали.

Тут, наверное, пришло время поразмыслить над некоторыми особенностями Оскара Мацерата как человека и как литературного героя. Помните: он явился на свет целиком *завершенной личностью* и одновременно желал бы не покидать материнского лона. Лишь перспектива обладать барабаном подвигнула его на отказ от вожделенного убежища. Но только на время подвигнула. Ибо героя непрестанно манит вечный покой материнской могилы.

Было бы, разумеется, наивным объяснять эти странности Оскарова характера некоей его индивидуальной психологией, ибо, конечно же, он – "фигура" в том самом смысле, в каком употреблял это определение Элиас Канетти. Иными словами, Оскар тут – попросту "медиум", с помощью которого автор намерен покопаться в зловонной куче, каковой, на его взгляд, была, есть и будет история рода человеческого. Ибо единственный логический вывод, вытекающий из упорного нежелания нашего героя появляться на свет и тем паче из его стремления воротиться в уют могильного забвения, – это непоколебимая убежденность в том, что мир сей вообще *не стоит нашего в нем присутствия*.

Не случайно же "Жестяной барабан" зачинается таким эпизодом: осенью посреди необозримого поля сидит у костра будущая бабушка Оскара, Анна Бронски, и лакомится печеной картофелиной. Мимо, привычно спасаясь от полицейской погони, пробегает Йозеф Коляйчек: по национальности он, как и она, из кашубов (о них в романе сказано: "...наш брат и поляк не настоящий, и немец не настоящий"), а по роду занятий – поджигатель.

Анна Бронски, разумеется, прячет Коляйчека под своими четырьмя юбками. Сидя там, он, непонятно каким образом, ухитряется сделать ей ребенка.

Эта "кашубская история" лишь подкрепляет все вышесказанное: ведь и она отложилась в сознании Оскара прежде всего неистребимым желанием спрятаться от страшного, немилосердного мира под четыре бабушкины юбки.

Но известный след в душе нашего героя, надо думать, оставила и дедушкина страсть к поджигательству, или точнее сказать – к любому *разрушению*. Оскар, как бы "вечный трехлетка", кроме умения виртуозно бить в барабан, был наделен еще одним

необычным талантом: мог немым криком резать стекло. И на темных улицах ночного Данцига выступал в совсем уж необычной роли: вскроет, бывало, аккуратненько витрину ювелирного магазина, спрячется и совращает легкой наживой добропорядочных ночных прохожих (Диавол-искуситель — вот еще одна Оскарова функция в этом странном романе).

Именно так совратил он двоюродного брата матери Яна Бронски, которого — может быть, и небезосновательно — считал своим отцом, поскольку Ян с его матерью спал, а вдобавок был еще, как и Оскар, голубоглазым.

Вокруг нашего героя вообще разыгрывается нечто вроде античной "комедии ошибок": не только считающийся его отцом Мацерат вроде бы таковым не является, но и Куртхен, младший Оскаров брат, назван сыном нашего героя, ибо "трехлетка" Оскар не раз забавлялся в постели с Марией, новой женой своего фальшивого отца.

Что тут истина, что — ложь, так и остается невыясненным. Да и не имеет это для Грасса ни малейшего значения...

2. *Об обороне Польской почты, о войсках маршала Рокоссовского в Данциге и о книге Гюнтера Грасса "Мое столетие"*

"...По волнам Тихого океана навстречу друг другу проплыли два мощных авианосца, разукрашенных наподобие готических храмов, дали своим самолетам стартовать со своих палуб, после чего пустили друг друга ко дну. А самолетам теперь некуда было сесть, и они беспомощно и чисто аллегорически зависли в воздухе, подобно ангелам, с гудением расходуя запас горючего".

Эти строки не столько клеймят бесчеловечность войны, не так даже осуждают ее кровавость, как вроде бы тычут пальцем в ее полную *бессмысленность*, в ее наперед заданную *абсурдность*. Оттого и вопрос, кто с кем и ради чего воюет, "справедлива" или "несправедлива" изображаемая война, тут даже не ставится.

Дело ведь в том, что в глазах автора истребление себе подобных не может быть оправдано вообще никакими резонами, даже и теми, что кому-нибудь могут показаться "высокими" и "святыми". Но исходит он при этом вовсе не из прописей христианской морали. Нет, позиция Грасса обусловлена тем, что для него человеческая история вообще лишена какой бы то ни было "истинной" (или, если угодно, "высокой") Цели, к осуществлению которой всем нам надлежало бы стремиться... Да и какая уж там цель, ежели и выбор-то надлежит делать лишь между бессмысленным бытием и избавленным от хлопот небытием?..

Не по этой ли причине в "Жестяном барабане" наличествует довольно-таки обширный раздел, где автор совершенно как бы неожиданно начинает издеваться над тем, что даже ему должно бы быть по-своему, если не свято, так по меньшей мере дорого. Я имею в виду описание событий, связанных с обороной данцигской Польской почты в первые часы Второй мировой войны.

Поскольку сочинитель "Жестяного барабана" тоже, конечно же, кашуб, ему пристало бы симпатизировать полякам, но... Нет, немцам Грасс, разумеется, не симпатизирует. Просто в истории с захватом почты их как бы и не существует: да, рвутся снаряды, свищут пули, но *нет людей*, то есть в данном случае атакующих немцев, которые как-то проявляли бы себя через поступки. Зато в изобилии наличествуют обороняющиеся поляки. Но то, что по логике вещей должно бы выглядеть трагедией, оборачивается — именно благодаря их поведению — постыдным фарсом...

Очередной барабан нашего героя пришел чуть ли не в полную негодность, а хоть так-сяк его починить способен лишь пан Кобиелла, комендант вышеупомянутой Польской почты. И Оскар уговаривает Яна Бронски с ним туда сходить. Но едва дядя

и племянник (или отец и сын?) переступают порог, начинается ее штурм.

Немецкий снаряд разорвался в комнате, где находились наши герои, и все они, кроме Оскара, получили тяжелые ранения (особенно пострадал мастеровитый комендант). Но, освободившись таким манером от необходимости участвовать в боевых действиях, они принимаются... играть в карты.

Немцы, ясное дело, почту все-таки захватили и расстреляли чуть ли не всех ее защитников, включая и Яна. Что же до Оскара, то его — "невинное дитя", подвергшееся таким треволнениям, — не только пальцем не тронули, но положили в больницу. Кроме того, ему удалось-таки обзавестись загодя присмотренным новым барабаном; тем самым он, по собственным его словам, "придал хоть какой-то смысл обороне почты".

С не менее "веселой злостью", а можно бы даже сказать, что и доброй долей цинизма описан конец той, наверное, самой кровавой в истории человечества войны, что началась штурмом Польской почты. Войска маршала Рокоссовского вступили в Данциг. Семейство Мацерата — вкупе с вдовушкой-соседкой и в окружении мешков с сахаром — прячется в собственном погребе.

Русские солдаты уже в доме и вот-вот сюда заглянут. Мацерат снимает с лацкана пиджака нацистский значок и бросает на пол, чтобы, наступив на него ногой, скрыть от глаз победителей. Куртхен и Оскар, как малые дети, мечтают значком завладеть; Оскар оказывается ловчее и сжимает значок в кулаке.

В это время русские — при ближайшем рассмотрении они, впрочем, оказались калмыками, — оккупируют подвал и принимаются по очереди насиловать вдовушку. Марию, однако, не трогают, — надо думать, из-за сидящего у нее на коленях Куртхена. И тут Оскар вдруг возвращает Мацерату его значок, а Мацерат — как бы в состоянии умопомрачения — этот corpus delicti берет и сует себе в рот, вроде бы намереваясь проглотить. Но начинает давиться... И один из калмыков разряжает в Мацерата автомат, потому что не может понять, почему тот вдруг опустил руки и зашевелился.

Убитый валится на пол, а Оскар по этому поводу медитирует: "...У меня не шла из головы некая сложная конструкция, вычитанная у Гёте. Муравьи заметили, что ситуация изменилась, но не побоялись окольных дорог и проложили новую трассу вокруг скрюченного Мацерата, ибо сахарный песок, струящийся из лопнувшего мешка, не стал менее сладким от того, что армия маршала Рокоссовского заняла город Данциг".

Между прочим, выходит, что Оскар — двойной отцеубийца, ибо Яна Бронски он погубил, приведя на Польскую почту, а Мацерата — толкнув под пули калмыка... Кстати, в этих двух преступлениях героя нашего прямо обвиняет лилипут Бебра, "высокий покровитель" Оскара, особа, некогда приближенная к самому... Геббельсу.

Помянутый Бебра, между прочим, дает Оскару еще и такую, любопытную своей неожиданностью, характеристику: "Вы злы и тщеславны, как, собственно, и положено гению". Слово "гений" тут, надо думать, указывает не столько на музыкальные способности Оскара, сколько на его умение разгадывать загадки бытия.

Иными словами, читателя вроде бы призывают вслушиваться в Оскаровы откровения, ибо он — своего рода Вергилий, что ведет нас по *не ведающему Завершения* миру, ибо нет в мире этом ни единой истинной Цели: "...Они уже надеялись, что скоро, что скоро будет конец, чтобы можно было начинать снова или продолжать в том же духе после финальных аккордов... в надежде, что концу скоро придет конец... А когда в самом деле пришел конец, они обратили его в богатое надеждами начало... Ибо сказано в Писании: покуда человек не утратил надежды, он будет начинать снова и снова в исполненном надежды финале..."

Впрочем, это еще можно бы наречь если не оптимистичным, так хотя бы на самом себе не зациклившимся коловращением, ибо истинного страха оно как будто и не порождает.

Чего, однако, не скажешь о видениях, которые являются Оскару, когда он вдруг решает покинуть райские кущи детской безответственности и принимается расти, постепенно превращаясь в уродливого горбатого карлика. Сразу и не сообразишь, что это его решение могло бы значить? Скорее всего, некую социализацию: ведь теперь он вынужден так или иначе вписываться в окрестное бытие.

И тут же вроде бы терпит фиаско: он бредит, и ему является гигантская карусель, на которой вертится множество мальчиков и девочек. Их давно укачало, и они умоляют остановить карусель, но Отец Небесный (он же — Хозяин Карусели) все вынимает и вынимает из кошелька монетки и платит за следующий круг. И каждый раз оборачивается к детям иным своим ликом:

"...Иногда то был Распутин, который... зубами колдуна впивался в монетку за очередной круг, а иногда то был король поэтов Гёте, доставший из изысканного расшитого кошелька монетки, лицевая сторона которых неизбежно изображала его отченашевский профиль, и снова Распутин — завораживающий, и снова Гёте — сдержанный. Немного безумия — с Распутиным, потом — из соображений здравого смысла — Гёте. Экстремисты группируются вокруг Распутина, календарные мудрости — вокруг Гёте..."

Некий немецкий исследователь, старательно все проверив, назвал год, когда, по всей вероятности, впервые было вымолвлено словечко "постмодернизм". Точную дату этого события я, увы, запамятовал, но помню, что она ненамного опережает время написания "Жестяного барабана". Иными словами, контуры вроде бы нового художественного (да и философского, вообще мировоззренческого) явления лишь осторожно нащупываются, а Грасс уже сподобился вылущить чуть ли не существеннейшую его суть?! Прежде всего имею тут в виду этих с течением времени один другого *сменяющих* Гёте и Распутина: ведь первый олицетворяет носителя традиций, а второй — их разрушителя.

Тут, впрочем, у меня возникает некое с Грассом расхождение: он, различая "модернистское" и "постмодернистское", как видим, ставит во главу угла уважительное или, соответственно, неуважительное отношение к традиции; на мой же взгляд, тут весомее наличие *веры в Прогресс, в достижимость Цели* или же, соответственно, *всеобщность Безверия*. Впрочем, это может оказаться и расхождением чисто терминологическим, поелику традиции уже и сами по себе — нечто вроде Цели...

Оттого у Грасса, надо думать, важнее другое, а именно, что он утвердил — впрочем, к этому, наверное, специально и не стремясь — извечность "модернистских" и "постмодернистских" начал. И тем самым, в сущности, перечеркнул все послевоенные "прогрессистские" упования. Ведь История — во всяком случае, с точки зрения сочинителя "Жестяного барабана" — вовсе не какая-то там восходящая спираль, а попросту замкнутый круг...

Приятель Оскара Клепп некогда был монархистом, приверженцем Британского королевского дома, а ныне — член Коммунистической партии Германии. И, нас об этом уведомив, автор присовокупляет: "Одного у Клеппа отнять нельзя — он оставил для себя открытыми пути ко всем конфессиям: ...учение Маркса надлежит хорошенько перемешать с мифом джаза". Однако в подобной "открытости" напрасным было бы искать свободу выбора: напротив, тут скорее имеешь дело именно с хождением по замкнутому кругу...

В новелле "1908" (и тут я, как обещал, обращаюсь наконец к книге "Мое столетие") рассказчик — тогда еще маленький мальчик, которого отец взял с собою на митинг, — не утерпев, помочился в штаны именно во время антивоенной речи Карла Либкнехта. И был нещадно бит отцом, правоверным соци. "Вот поэтому и только поэтому, когда позже все началось, — признается некогда битый мальчик, — я побежал на призыв-

ной участок и записался в добровольцы, и был впоследствии награжден за храбрость..."

Выходит, что герой этой новеллы, если бы не случай, имел все шансы остаться правоверным левым и не стал бы ландскнехтом Первой мировой войны... А из этого разве не следует, что в глазах Грасса идеология немного стоит?..

В новеллах с "1914" по "1918" фигурируют знаменитый пацифистский писатель Эрих Мария Ремарк и чуть ли не столь же прославленный (особенно в последние десятилетия) певец солдатской доблести Эрнст Юнгер. "Они, – повествует Грасс, – вспоминали о войне с нескрываемым энтузиазмом" (хотя вроде бы и выставляя ей противоположные оценки). Но когда Ремарк – не без воодушевления – начинает превозносить боевые достоинства саперной лопатки, Юнгер удовлетворенно присовокупляет: "Вы совершенно правы, дорогой Ремарк..."

Иными словами, между *милитаристом* и *пацифистом* опять-таки нет никаких существенных различий, а свобода убеждений – чуть ли не химера?..

В новелле "1956" тема продолжена: здесь повествуется о встрече прославленного гэдээровского драматурга и режиссера Бертольта Брехта с защитником моральных ценностей Запада поэтом Готфридом Бенном. "Вам удалось фенотипическое отчуждение", – восклицал один, а другой пришептывал: "Ваша западная мертвецкая монологически, как и диалектически, существует бок о бок с моим эпическим театром".

Иными словами, левые и правые (если, конечно, верить Грассу) великолепно понимают друг друга?..

А в новелле "1976" речь идет о взаимодействии западно- и восточногерманских спецслужб, которые между собою враждовали, ни на минуту, впрочем, не забывая, что все это не более чем "споры в семейном кругу".

Хотя, может статься, так оно в некотором роде и было?

Наконец, в новелле "1999" и последней – очень старая женщина подводит нашему столетию такой итог: "...Была война, все время война с небольшими перерывами".

Итак, решительно ничего, кроме войны?..

Как видим, ту же замкнутость круга, то же отсутствие выбора, что и в "Жестяном барабане", Грасс воссоздал и в "Моем столетии".

3. Почтальон Виктор Велюн, *небесные уланы и тринадцатый воробей*

"Жестяной барабан" являет собою толстенный том, тянущий (в зависимости от вида издания) на 800–900 страниц текста, а по времени сюжетного действия охватывающий более полустолетия. Но, вчитавшись в книгу эту, постепенно начинаешь примечать, что, хоть и фигурирует в ней уйма персонажей, происходит масса событий, по-настоящему *ничто* как бы и *не движется*.

Наверное, первейшая тому причина – сам повествователь, Оскар Мацерат или Оскар Бронски (как он порой себя прозывает). Это рассказчик и правда довольно странный: хотя бы уже потому, что даже в пределах одной фразы готов фигурировать сразу в трех разных ипостасях: как "Оскар", как "он" и даже, как... "я". Что, в свою очередь, лишний раз подчеркивает его принадлежность к "фигурам".

Но даже и среди "фигур" грассовский герой необычен, ибо вовсе не отчужден от своего создателя – напротив, как бы является (а может быть, лишь желает казаться?) неким alter ego Гюнтера Грасса...

Однако и это, наверное, еще не самое существенное. Ведь в принципе (тем более ежели сочиняется нечто подобное "биографии" или "автобиографии") повествователь либо стремится придерживаться хронологии, либо, напротив, ею умышленно пренебрегает. Что же до Грасса, то ему вроде бы абсолютно чужды любые наперед установленные правила, тем паче – некий продуманный план.

Пожалуй, лишь предыстория, действующими лицами которой бы-

ли дед Коляйчек, бабушка Бронски и будущая мать героя (тогда еще незамужняя), чем-то напоминает "семейную сагу" – пусть и пересказанную в высшей степени иронично. Что же до событий, происходивших уже после его рождения, то к ним Оскар относится чуть ли не вызывающе "приватно". И в то же время повествует о них как о чем-то воображаемому слушателю будто уже знакомом, пусть и в самых общих чертах.

Вроде бы повинуясь внезапному капризу, он способен, например, выхватить (чуть ли не наугад!) из потока собственной жизни или из окружающей ее суеты эпизод, любопытный, казалось бы, лишь с точки зрения самого рассказчика. И, исключая парудругую судьбоносных событий – наподобие начала войны или ее конца, – даже не пытается уточнять, о каком, собственно говоря, отрезке времени ведет в данный момент речь.

В конце концов читатель, конечно же, начинает улавливать, что с самого начала книги имеет дело с Оскаром уже зрелым и по неведомым покуда причинам запертым в некоем специальном лечебном учреждении. (Кстати сказать, причины эти так и остаются неразъясненными вплоть до финала.) И тут мы скорее имеем дело с некоей "небрежностью", тем обусловленной, что сюжет выдается автором за известный более или менее наперед.

Специальное лечебное учреждение (согласно своему распорядку – нечто вроде "либеральной" тюрьмы) служит своего рода стержнем. Внутренне все на него нанизывается или, если угодно, вокруг него вертится: читатель знакомится с Оскаром как с тамошним обитателем и с ним как с тамошним обитателем расстается.

Впрочем, в качестве стилеобразующего фактора тут, пожалуй, еще существеннее другое, а именно – нечто, можно бы сказать, "философское". Я имею в виду ту экзистенциальную замкнутость круга, то отсутствие выбора в широком историческом и даже *над*-историческом смысле, о которых уже шла речь, а равно и свойственное мироощущению Грасса бесцельное, извечное коловращение. Именно этот философски-мировоззренческий императив определяет "дух" и "букву" романа...

Оскар со своим новым приятелем фон Витларом прогуливается по ночному (и уже давно послевоенному) Дюссельдорфу. Трамваи не ходят, но какой-то вагон еще стоит на путях близ депо, и Витлар, умеющий водить трамваи, предлагает прокатиться.

На одном из перегонов двое в зеленых шляпах с черными лентами трамвай останавливают и грубо заталкивают туда некоего перепуганного человечка, в котором Мацерат вдруг узнает Виктора Велюна, почтальона данцигской Польской почты. После ее разгрома в 1939 году Велюну, выходит, посчастливилось спастись. А теперь его, наконец, схватили и приведению смертного приговора в исполнение ничто уже как будто не препятствует.

Палачам надлежит исполнить свой долг: на сей счет имеется письменный приказ, датированный 1939 годом, и лишь по исполнении этого приказа их служба наконец завершится.

Арестованного тащат в сад матери фон Витлара, чтобы там с соблюдением соответствующей процедуры расстрелять. И Оскар с Витларом уже не протестуют, ибо сообразили, что от судьбы не уйдешь. Но с небес вдруг спускается эскадрон польских улан и уносит Велюна; а Оскар в этот момент выбивает на барабане мелодию польского гимна...

После выхода в свет "Жестяного барабана" рецензенты охотно толковали этот эпизод, с одной стороны, как моральный приговор не только фашизму, но и тупоголовым "тевтонским" законопослушанию и исполнительности, а с другой – как волнующе-поэтичное свидетельство приверженности автора польско-кашубским семейным корням. Я же убежден, что Грасс потешил тут свою "польско-кашубскую" душу лишь, так сказать, между делом. А решающими были для него совсем иные резоны. Ведь автор имел здесь

в виду вовсе не политику с идеологией, а опять-таки то, что я выше нарек замкнутостью круга и отсутствием свободы выбора. Иными словами, факторы (повторю еще раз) никак не политические, не мировоззренческие, а, напротив, сугубо экзистенциальные.

Сочинитель "Жестяного барабана" не столько осуждал здесь тупоголовых наци, которые, подобно французским Бурбонам, ничего не забыли и ничему не научились, сколько указывал пальцем на *извечность вселенского абсурда.* Двое в зеленых шляпах — это уже не солдаты какой-то там армии, не члены какой-то там тайной организации; нет, они — нечто большее и одновременно более общее, а именно — винтики той алогичной суперсистемы, что сегодня (как, впрочем, и во веки веков) правит миром...

Оттого, если зеленые шляпы что-то для себя и "выбирают", так не мировоззрение, а единственно форму поведения: *ПО-слушаться* или *О-слушаться* приказа. Ибо, собственно, между чем и чем всем им доводится *выбирать*? Как приятелю Оскара Клеппу, — между коммунистами и Британским королевским домом?

Кто-нибудь может, конечно, мне возразить, будто я в 2001 году приписываю Грассу такое, что ему в 1959 еще и не снилось. Ведь тогда "зеленые шляпы" всем — и читателям, и, надо полагать, самому Грассу — должны были бы казаться какой-то истинной подковерной силой — могущественной, коварной, таинственной, неистребимой. Но Грасс ее тем не менее презрел (или точнее было б сказать "развенчал"?). И сделал он это будто в сказке: дескать, *Добро побеждает Зло...* Но разве Грасс, такой, каков он есть, мог навязывать читателю именно этот чуть ли не самый лживый (или еще хуже — самый банальный?) из всех так называемых "гуманистических тезисов"?.. Мало того, тезис, активно сопротивляющийся смыслу *именно этого* романа!..

Столь же наивным было бы буквально толковать и историю с ресторанчиком некоего господина Шму. Тот — первоклассный, надо думать, психолог — сервировал своим гостям за немалые деньги лишь луковицу на деревянной дощечке и острый нож. Гости резали луковицу и безудержно рыдали над проигранной войной и поруганной нацией, а кое-кто, может быть, даже сокрушался по причине собственных печальных заблуждений, имевших место в годы служения третьему рейху. Но и в последнем случае то была лишь *игра*, только для самого себя поставленный *спектакль*, приятно баюкающий совесть.

Придумка с этим господином Шму и его ресторанчиком — остроумна и, надо сказать, весьма зла. Но в ней не было бы ничего сверх остроумия и злости, если бы Грасс — вроде бы мимоходом (как он, впрочем, почти все в этой своей книге делает) — не поворотил куда-то "в сторону". Я имею в виду историю гибели господина Шму, а равно и ничем вроде бы не обоснованный поступок Оскара, который, возможно, спас нашему герою жизнь.

Вышеупомянутый ресторатор Шму, недурно зарабатывавший на пристрастии послевоенных немцев то ли к покаянию, то ли к самооправданию, оказывается, еще и любил поохотиться на воробьев. Вместе с тремя оркестрантами своего ресторанчика (к ним принадлежал и Оскар) он время от времени выезжал с такой "спортивной" целью на природу. И всегда довольствовался дюжиной застреленных птичек. Но однажды дозволил себе тринадцатую. После этой охоты Оскар неожиданно пожелал возвращаться домой пешком. А машина потерпела аварию. Впрочем, погиб лишь ресторатор Шму.

Вот и вся история — толкуйте ее как умеете... Ведь нам вроде бы намекают, будто в мире существует некая сила (или "инстанция"?), которая во что-то вмешивается, что-то по-своему "регулирует", "исправляет", "переиначивает"... Однажды спасла от расстрела Виктора Велюна, в другой раз отомстила за лишнего воробья... Но прямого ответа на поставленные в романе вопросы нам не даст никто. Более того, если представить себе очередь, выстроенную из пожелавших на них ответить, то последним в

помянутой очереди, надо полагать, стоял бы наш автор – Гюнтер Грасс. И в том как раз его сила. Я бы даже сказал, что он в некотором смысле получил свою Нобелевскую премию именно за нежелание давать слишком простые и прямые ответы...

4. F*inita la comedia*

В конце концов выяснилось, почему Оскар оказался в вышеупомянутом специальном лечебном учреждении: на него пали весьма обоснованные подозрения в том, что именно он зарезал медицинскую сестру Доротею. И Оскар удовлетворен, ибо таким странным (и в то же время простым) манером ему удалось укрыться от коварного мира: ведь, если помните, наивной детской мечтой нашего героя было спрятаться под четырьмя юбками бабушки Коляйчек.

Но "счастливым" этот финал все-таки не назовешь. Ловко, даже весьма остроумно организовав свое заточение, герой наш продолжает по-настоящему бояться того, что когда-нибудь его вышвырнут вон, в тот жуткий, немыслимый, смертельно опасный мир, который всех нас окружает.

Впрочем, героя нашего преследует еще и какой-то неотступный, таинственный, будто разлитый по Вселенной *экзистенциальный* (а значит, и вовсе неодолимый!) ужас, почему-то воплощенный в образе... черной кухарки, героини наивной детской считалки.

На разных страницах книги в текст монтируются ее отрывки, и они провоцируют *страх* – всамделишний, но одновременно и "придуманный"... Оскар пугает себя, хочет испугаться и не может, ибо ведь этот мир, с одной стороны, отвратителен, безжалостен, жуток, а с другой – все-таки фальшив, иллюзорен, комичен и оттого вроде бы "безопасен": "Невзирая на страх, – твердит повествователь, – или наоборот, благодаря ему, я смеялся".

Такая вот непостижимая *двойственность*, слепленная из страха и смеха, в сущности, и творит этот удивительный роман...

И самое, наверное, в нем странное – его герой. Тот, которого, преодолевая сомнения, а может быть, и некую внутреннюю гадливость, понукаешь себя наречь *главным*.

Нет, сомнения эти, даже эта гадливость диктуются вовсе не голым фактом его "отрицательности". Ведь отрицательный герой, выполняющий тем не менее функции героя главного, не столь уж и редок в мировой литературе: вспомните Иудушку Головлева у Салтыкова-Щедрина или Жоржа Дюруа у Мопассана...

Что же до Оскара, то от него в первую очередь отвращает некая глубочайшая, непоправимейшая *ущербность* – физическая и духовная. Он, я бы сказал, *калека* – как внешне, так и внутренне. Отыскать в мировой литературе (да еще вроде бы на капитанском мостике!) столь же непривлекательную фигуру, наверное, не так-то просто. Тем более, такую, что была бы еще и теснейшими узами связана с самим автором – связана происхождением, связана возрастом и тем паче – судьбой... Порой даже начинает казаться, будто судьба эта чуть ли не автобиографична.

И не только – даже не столько – за счет кашубской родословной, проживания в Данциге, послевоенного переезда на запад страны, занятий живописью, скульптурой, музыкой... То есть не просто по причине "подозрительного сходства" фактов биографии протагониста с фактами биографии автора Грасса. Ибо наличие сходства тут как раз совершенно естественно!.. Каждый автор, не располагая, по сути дела, ничем более надежным, норовит опереться на личный опыт, а тем самым и закрепиться на пятачке этой неопровержимой достоверности.

И все-таки в "Жестяном барабане" сталкиваешься с чем-то неожиданным, а можно бы сказать, что и несообразным: ведь Грасс, как мне представляется, помимо всего прочего, еще и наделяет *такого*, как Оскар, героя... *собственным мировидением*. Дело в том, что образ мира, сложившийся в голове Оскара, *наиболее адек-*

ватен тому, какой видится и самому Грассу...

Так что складывается удивительная ситуация: так называемую "авторскую концепцию" бытия излагает нам Оскар... Ибо только он наделен некоей "свободой воли", а тем самым — и действий... Наделен, признаться, весьма относительно, и все-таки из этого вырастает совсем уж странная вещь: герой будто вполне *отрицательный* ангажируется на в некотором роде *позитивное* амплуа.

Нет, не ловите меня на слове: я отнюдь не пытаюсь утверждать, будто Оскар Мацерат для Грасса — персонаж хоть в каком-то смысле "положительный". Он вполне *негативен* — правда, если допустить, что такие определения вообще имеют еще и художественный, а не только чисто идеологический смысл.

Впрочем, связанных с Оскаром "странностей" моя оговорка никак не устраняет. Ведь наш герой — *единственный* персонаж "Жестяного барабана", который, на мой взгляд, относительно *верно* видит и оценивает сущее.

Однако ни пугаться, ни приходить в отчаяние, право, не стоит. Ведь все это уже было. И даже не раз. "Илиада", например, еще практически не делила богов и героев времен Троянской войны на "плохих" и "хороших"; лишь, так сказать, — на "своих" и "чужих". "Плохих" и "хороших" в Европе ввело христианство. Однако уже Франсуа Рабле (и он, наверное, даже не был тут самым первым) покусился в "Гаргантюа и Пантагрюэле" на миф о непоколебимой "образцовости" положительных героев.

Наиболее наглядный в этом смысле пример — Панург, ближайший друг благороднейшего принца Пантагрюэля, одна из центральных фигур книги, да еще чуть ли не главная в достопамятном плавании к Оракулу Божественной Бутылки. Следовательно, в глазах автора ему надлежало бы быть положительным, а он, напротив, патологически лжив, патологически труслив и даже патологически пакостен.

Не правда ли, многие поступки Оскара как две капли воды, напоминают Панурговы. Однако если Панург в глазах Рабле и не положительный герой, то уж, во всяком случае, никак не отрицательный.

Дело в том, что Грасс в некотором роде возвращает нас в раблезианскую атмосферу (а именно к ее "исходной *цельности*", делающей как бы и уже невозможное все еще мыслимым). И тогда адекватное представление об этом худшем из миров становится доступным персонажу по всем прочим показателям (и главное — "правилам"!) *негативному*, то есть в данном конкретном случае Оскару Мацерату... Иными словами, негативному персонажу доводится брать *на себя* обязанности героя положительного. Что, кстати сказать, отнюдь не коварный способ лишний раз поизмываться над "антиподом", а, скорее, реакция вынужденная... Как, впрочем, и спонтанное проявление некоей внутренней, весьма, надо признать, парадоксальной, сути вещей.

Словом, никто не видит мир правильнее, чем *совершенно* неправильный герой... Нет, это не credo постмодернизма, — скорее внутренняя его специфика, которую Грасс уловил с поразительной точностью. А из нее — то есть из помянутой специфики — уже вытекает и все прочее: *своя* поэтика, *своя* эстетика и *своя* логика. Все, естественно, целиком перевернутые.

Вот вроде бы и всё, что мне хотелось тут рассказать о новом лауреате Нобелевской премии Гюнтере Грассе, о его сочинении "Жестяной барабан" и о явлении, которое нынче именуется "постмодернизмом".

Post scriptum

А завершить все это сочинение мне хочется некоей невыдуманной историей, скорее грустной, нежели глупой. Так вышло, что я на протяжении долгой своей жизни встречался со многими знаменитыми немецкими писателями — восточными и западными. Только не с Гюнтером Грассом. И вот почему...

Посетив в 1971 году тогдашнюю ФРГ, я, разумеется, позвонил ему в Западный Берлин. Он сказал: "Приезжайте..." — и назвал дату. "Но это невозможно", — возразил я. "Почему?! — несколько раздраженно бросил Грасс, но тут же и сообразил причину: Ах так, конечно же... Западный Берлин... Тогда знаете что, давайте встретимся в Берлине, в "вашем", Восточном. Я приеду туда на метро..."

Но его идее не суждено было осуществиться: выяснилось, что моя виза недействительна не только для "вражеского" Западного Берлина, но и для "братского" Восточного. Едучи в Кёльн и возвращаясь в Москву, я пересекал этот город без единой остановки в наглухо закрытом, как бы "запломбированном", вагоне...

Не правда ли, история эта в *абсурдности* своей с "Жестяным барабаном" некоторым образом корреспондирует?

Аполлон Давидсон

Что это? Предостережение миру?

Роман южноафриканского писателя Дж. М. Кутзее "Бесчестье", опубликованный в первом номере "Иностранной литературы" за 2001 год, поверг многих из нас, читателей, в шок.

...Три африканца насилуют Люси, белую женщину, и избивают ее отца. Профессор Дэвид Лури, отец, чуть оправившись, требует, чтобы дочь обратилась в полицию. Но она день за днем отмалчивается. А те трое даже не очень скрываются. Они приходят к соседу, фермеру-африканцу, и тот, зная обо всем случившемся, и не думает их осуждать (один из них к тому же его родственник). И вместе с тем он предлагает свое покровительство изнасилованной.

А Люси, когда ее отец все-таки добивается от нее ответа, говорит ему, что аборта она делать не будет и ребенка родит, хотя даже не знает, от кого он. И покровительство соседа-африканца примет. Согласна стать его женой.

— Для меня было бы безопаснее стать членом его семьи. Я вношу землю (у нее своя ферма. — *А. Д.*), взамен он позволяет мне заползти под его крыло... Если он хочет, чтобы я считалась его третьей женой, — пожалуйста. Его сожительницей — то же самое. Но тогда и ребенок будет его ребенком. Членом его семьи.

Почему так?

Она наконец объясняет:

— Что если... что если такова цена, которую необходимо заплатить, чтобы остаться здесь? <...> Почему мне должны позволить жить здесь, ничего не заплатив?

© А. Давидсон, 2001

Видно, она долго-долго думала. Поражалась, сколько ненависти к ней было тогда у тех троих.

— Почему они меня так ненавидели? Я и не встречала их никогда.

И ответила отцу и самой себе после долгих раздумий:

— Это история говорила через них. История зла... Наследие предков...

В чем идея романа? Белый расизм, осуждение черных?

Или больная фантазия шестидесятилетнего автора?

Имеет ли это какое-то отношение к нам, к России? Мало нам, что ли, своих горестей и забот?..

Сразу хочу сказать. Это не белый расизм. Автор известен тем, что всегда выступал против белого расизма и у себя в стране, и во всем мире. Живя в Америке, резко осуждал американцев за войну во Вьетнаме.

За "Бесчестье" автор получил вторую Букеровскую премию. Он оказался единственным в мире обладателем двух Букеров. Маловероятно, чтобы такая высокая оценка давалась больному воображению.

И наконец. Мы ведь не изолированы в мире. Нет вокруг нас китайской стены, нет "границы на замке". Так что проблематика романа имеет отношение к нашим проблемам, как бы странно это ни казалось на первый взгляд.

Но по порядку.

Сперва — об авторе. Нельзя сказать, что он у нас неизвестен. В 1989-м издательство "Художественная литература" стотысячным тиражом выпустило под одной обложкой три его романа: "В ожидании варваров", "Жизнь и время Михаэла К." и "Мистер Фо". В журнале "Иностранная ли-

тература" в позапрошлом году вышел его роман о Достоевском "Осень в Петербурге"[1], а в 2001-м – вот этот последний – "Бесчестье".

В большинстве его романов, в том числе и в тех, что уже переведены на русский язык, нет определенного времени и места действия. Один из лучших – "В ожидании варваров". Но где та "Империя", в которой происходит действие? В Европе? В Африке? Там и жара, и снег. А кто такие "варвары"? Конечно, основная мысль ясна: против тоталитаризма, против пыток, против равнодушия и безмолвия толпы. Но читателю, да и критику, всегда хочется заглянуть за плечо автора. Понять, а кто для него служил прототипами и что он все-таки имел в виду?

Дж. М. Кутзее не любит объяснять своих романов. Он не хочет раскрывать подоплеку происходящих там событий. Читатель видит следствия, а не причины. Только верхнюю часть айсберга. Автор не желает растолковывать журналистам что к чему, отказывается даже встречаться с ними: пусть понимают как хотят! У него вообще репутация интроверта.

Солженицын когда-то, вскоре после успеха "Одного дня Ивана Денисовича", сказал, что писатель не должен излагать свои идеи напрямую, его дело – давать их в художественной форме. Потом, как известно, он встал на путь публицистики, разъяснения собственных идей в многочисленных интервью газетам и по телевидению. Хорошо это или плохо, но Кутзее так не делает; исключения крайне редки.

Правда, в романе "Бесчестье" неясностей меньше. Время действия определено – это наше время, самые последние годы. Место действия: родина автора, Южно-Африканская Республика. И даже конкретней: места Капской провинции, связанные с его биографией.

Кейптаун, где он родился 9 февраля 1940 года и где учился в английских школах (хотя по национальности он африканер или, как у нас привычнее говорить – бур). Кейптаунский университет, в котором он изучал такие разные предметы, как английская литература и математика, и получил в 1960-м степень бакалавра, а в 1963-м – магистра, и где в дальнейшем (правда, получив еще дополнительное образование в Англии и Америке) преподавал на кафедре английской литературы.

Для меня эти места не просто узнаваемы. Они почти что родные. Кейптаунский университет – там я больше четырех лет, в 1994–1998-м, был директором департамента, членом Сената университета, и не раз встречался с Дж. М. Кутзее, хотя и не могу похвалиться особой близостью с ним.

Этот университет, наверно один из лучших в Африке, отличался либеральной атмосферой. Из-за оппозиции к расистскому режиму апартхейда[1] тогдашние власти называли его: "Кремль на холме". Почему на холме? Университетский городок находится у подножья цепи гор и действительно возвышается над Кейптауном. Большевистские настроения? Напрямую я их там не наблюдал. Впрочем, марксизм был популярен, но больше из духа противоречия.

В годы гонения на все, что связано с нашей страной, был и горячий интерес к России. Этим отчасти объясняется, что одно время самым популярным художником в Южной Африке считался упоминаемый в романе Третчиков, русский эмигрант. И что профессор Лури в романе уговаривает дочь учить русский язык. Да и то, что сам Кутзее написал роман о Достоевском.

Рондебош, где происходит начало действия в "Бесчестье", – это район Кейптауна, в котором находится и университет. Грин-Пойнт – место в центре Кейптауна, на берегу Атлантического океана. Улица Св. Георга (Сент-Джордж), где профессор Лури так неудачно встретил свою любовницу Сорайю с двумя ее детьми, – это красивая торговая улица в самом центре Кейптауна. Как Арбат – в Москве. Лонг-стрит, где Лури проводит время в отеле с другой любовни-

1. "ИЛ", 1999, № 1.

1. У нас это слово пишут не очень точно: апартеид.

цей, — одна из самых длинных и самых старых улиц, тоже в центре Кейптауна.

Грейамстаун, куда Лури приезжает из Кейптауна, — маленький уютный университетский городок на востоке Капской провинции в десяти-двенадцати часах езды на машине от Кейптауна. Университет Родса — по имени Сесиля Родса, создававшего когда-то Британскую империю на Юге Африки. Этот университет называли южноафриканским Оксфордом. Прекрасно оборудованный технически, с отличной библиотекой и высокопрофессиональными преподавателями этот привилегированный университет готовил интеллектуальную элиту Южной Африки.

Кентон, где Кутзее поместил ферму Люси и где в романе происходит изнасилование и другие самые трагические события, это курортное место на берегу Индийского океана в шестидесяти километрах от Грейамстауна. Туда по субботам и воскресеньям университетские преподаватели и студенты ездили отдыхать, поваляться на пляже, выкупаться в океане, не очень, правда, теплом в тех местах. В 1992 и 1993-м, когда я в течение года был приглашенным профессором Университета Родса, почти каждую неделю мои друзья возили меня из Грейамстауна в Кентон (своей машины у нас с женой не было).

Вот в этом-то, казалось бы, еще недавно столь тихом месте, Кентоне, и развертываются самые страшные события романа Кутзее. Хотя, как можно понять, не в начале, а в конце девяностых годов. Изменения за эти годы — громадные. А ведь — какие-то несколько лет.

Как же это? И может ли такое быть в действительности?

Ну, во-первых, писатель имеет право сгущать краски, чтобы выпуклее показать свою мысль. А во-вторых (а может быть, это и есть во-первых?), жизнь-то ведь очень быстро меняется. Как изменилась она у нас, в России! То и дело слышишь: "Другая страна!"

А Южная Африка? Там изменений никак не меньше. Больше. Даже наверняка больше. Перемены начались тогда же, когда и у нас. Журналисты любили сравнивать Горбачева с южноафриканским президентом Де Клерком. Когда Де Клерку об этом говорили, он шутил, показывая на свою голову: "Видите, у нас даже прически одинаковые".

А затем — 1994 год. Власть перешла от белых к черным. Как принято говорить, от белого меньшинства к черному большинству.

Но ведь и это еще не все. Разве у нас перемены завершились с перестройкой или даже с распадом СССР? Они обрушились сплошной лавиной и захлестывают нас, не переставая.

То же и в ЮАР. И так же, как у нас, одним это нравится, другие — в ужасе. А многие — и просто в растерянности.

1994-й — не просто завершение борьбы с режимом апартхейда. Это и точка отсчета новых перемен. И никто не знает, куда они пойдут и как. А знать это ой как важно — для всего мира. Ведь Южная Африка — лаборатория (скажем, одна из лабораторий) новых расовых отношений во всем мире (или хотя бы — в большой части мира).

Гарвардский профессор Хантингтон грозит, что XXI век станет веком цивилизационных, а значит, прежде всего, расовых конфликтов. Настолько ужасных, что они могут взорвать жизнь на нашей планете. Стоит ли закрывать глаза на его прогноз — даже тем из нас, кто считает, что он не прав?

А если так, то знать опыт Южной Африки просто необходимо. Это единственная страна во всей Азии и Африке, где обосновалось большое белое население. Сейчас — это почти пять миллионов человек (из 41 миллиона жителей ЮАР). Да еще почти четыре миллиона лиц смешанной крови (в ЮАР их называют "цветные") и больше миллиона азиатов (почти все они — индийцы).

Много ли на Земле таких лабораторий, где можно воочию видеть, как миллионы и миллионы людей разных рас из поколения в поколение живут бок о бок друг с другом?

Когда готовилась передача власти от белых к черным, многие не

только в самой ЮАР, но и за ее пределами, считали, что дело обернется кровавой баней. Ведь Южная Африка считалась символом расизма. Сколько же ненависти накопилось у порабощенных! Как бурно она должна была выплеснуться. Немало белых покидали тогда страну. Цены на недвижимость резко упали.

Но кровавой бани не произошло. При переходе власти не было массовых беспорядков, не было погромов. Вспомним, после Октябрьской революции у нас было разгромлено и сожжено больше 90 процентов помещичьих усадеб. А оставшиеся — экспроприированы. В Южной Африке не случилось ничего подобного.

Почему?

Существует прочно укоренившееся мнение, что это в немалой степени заслуга Нельсона Манделы.

Он действительно сыграл поразительно важную роль. Выйдя из заключения, где он был двадцать семь лет, он пришел к тому прокурору, который когда-то его приговорил, и сказал: "Давайте вместе строить Новую Южную Африку!" Он пригласил на обед вдов тех президентов ЮАР, которые провозглашали политику апартхейда и воздвигали расовые барьеры (этих людей уже не было в живых, жизнь у мужчин, как известно, короче, чем у женщин). Мандела сказал им те же слова: "Давайте вместе строить Новую Южную Африку!"

Противоречия бывают не только расовые, но и межнациональные, межэтнические. Отношения между двумя крупнейшими африканскими народами ЮАР — зулу и ко́са — исторически складывались не просто. Влиятельные политики из среды зулусов, спекулируя на этом, заявили, что их народ не пойдет на выборы. Тогда Мандела выступил по телевизору и сказал: "Я готов приехать к вам и на коленях просить вас прийти на выборы".

Для характеристики этого человека можно привести и такой факт. Его жена Винни Мандела, с которой у него возникли разногласия, в том числе и политические, не давала ему развода. Он не мог оформить брак с другой женщиной. Обратившись через газеты к народу своей страны, он сказал: "Простите меня, что я живу в незаконном браке. Я знаю, что как президент я должен бы показывать пример".

Правительство Манделы провозгласило своей целью создание "нерасового общества".

Но прошло несколько лет. Многие африканцы, которые верили, что жизнь их станет куда лучше, стоит только сбросить старый режим, — разочаровались. Гнойники, набухавшие десятилетиями, стали очевидней. Демократизация сделала их более зримыми. Во времена апартхейда сорок процентов африканского населения не имели работы. Как их трудоустроить теперь? Африканские пригороды вокруг белых городов — скопища лачуг с многомиллионным населением. Как с этим справиться?

Разрыв в благосостоянии белых и черных остается громадным (хотя на улицах появились уже и белые нищие).

К старым язвам прибавились новые — те, что характерны для многих африканских, да и неафриканских государств: коррупция, непотизм. Не то чтобы этого не было раньше, но сейчас оно то ли значительней, то ли как-то больше бросается в глаза.

Власть? Что она может в этих условиях? Если положение в стране тяжелое — кто-то ведь должен быть виноват. И снова ищут причины в прошлом, в режиме апартхейда. Белым все громче и чаще напоминают, что они несут ответственность за порядки, приведшие страну к нынешнему положению. Вина ложится на всех: если кто и не содействовал активно этому режиму, то ведь пользовался привилегиями, которые прежний строй давал всем белым. Что ж, в этом, конечно, есть правда.

Недовольство африканского населения выплескивается на съездах правящей партии — Африканского национального конгресса. Все громче голоса: "У нас не произошло настоящей революции, путь был слишком мирным, поэтому до сих пор экономика в руках белых. Поэтому они живут по-прежнему неизмеримо

лучше нас". Одним словом: "До основанья, а затем..."

На карте ЮАР уже нет такого знакомого нам названия: Трансвааль. Зато есть новые: провинции Гоатенг, Мпумаланга. Слово "Капская" осталось, но теперь это уже не одна, а три провинции: Западнокапская, Восточнокапская и Севернокапская.

В общем, эйфория первых лет прошла. Все это мы знаем по себе. Писатель Виктор Ерофеев, побывав в ЮАР, написал, что наши страны похожи друг на друга как близнецы-братья. Не знаю, близнецы ли, но сходство в последние годы есть.

Нищета, безработица и разочарование приводят к росту преступности. На кого она обращается? В немалой степени — на белых. Живут-то они лучше. И грабить их не так уж зазорно. Как считалось когда-то у нас: экспроприировать экспроприаторов.

Вот она, ситуация в "Бесчестье"...

Но если сейчас все больше винить белых — к чему это приведет? К объединению общества или к дальнейшему расколу? Из страны уезжает белая молодежь. Самые образованные, самые профессионально подготовленные — те, кого охотно примут в других государствах. Полезно это для будущего самой ЮАР? Казалось бы, несомненно, — нет. Но когда мои студенты несколько месяцев назад спросили мнение одного из старших дипломатов ЮАР — черного южноафриканца, он ответил не колеблясь:

— Отвечаю вам не как политик и не как дипломат. Чем больше уедет — тем лучше.

Нам это может показаться близорукостью. Но в последние десятилетия из нашей страны уехали миллионы евреев и немцев, среди них немало высокообразованных, профессионально подготовленных. Были по этому поводу сколько-то громкие сожаления?

От белых в ЮАР сейчас можно услышать, что теперь расовая пирамида перевернулась. Раньше наверху были белые, ниже — цветные и индийцы, в самом низу — черные. Теперь, говорят они, наоборот: чем белее кожа, тем положение в этой пирамиде ниже.

Пожалуй, не стоит утверждать это так категорично. Но все-таки правительство уже не настаивает на идее нерасового общества. Это бросается в глаза.

В 1998-м президент ЮАР Табо Мбеки (тогда он еще был вице-президентом), открыв парламентские прения о "примирении" в стране, начал с напоминания, что в сегодняшней Южной Африке — все же две нации. Черные и белые.

К этому высказыванию привлекает особое внимание биограф Мбеки, южноафриканский журналист Марк Гевиссер, вполне благожелательный к своему герою. Он считает, что Мандела провозгласил мечту, и вот теперь его преемнику приходится спускать ее на землю, чтобы она, взорвавшись, не принесла непоправимого вреда.

А Дж. М. Кутзее? Еще недавно он отстаивал права небелых. Этому посвящен его роман "Жизнь и время Михаэла К." А теперь? В центре "Бесчестья" — судьба белых. Как им быть? Отец советует дочери уехать за границу и там подумать. Она отказывается. Она хочет остаться там, где родилась. Любой ценой. Своей жизнью искупить то, что делали ее предки или во всяком случае люди ее цвета кожи, но остаться здесь, дать здесь вырасти своим детям.

Могут сказать, что Кутзее довел тему до крайности, до абсурда. Много ли было таких случаев в Южной Африке?

Но белым там действительно настало время задуматься о своем будущем. В Алжире было больше миллиона французов. Им пришлось уйти. Всем. Или почти всем. В Анголе и Мозамбике жили сотни тысяч португальцев. Где они теперь?

Пять веков в мире господствовал белый человек, белый расизм. Но действие всегда вызывает противодействие. За последние десятилетия на карте мира появились около ста новых государств. Они борются за самоутверждение, и политическое, и культурное.

В школе их детей заставляли учить не свою историю, а европейскую. Они должны были знать королеву Викторию, английских Эдуардов и Георгов. Теперь они хотят знать свое прошлое. Их возмущает даже такое понятное в Европе выражение: "Великие географические открытия".

— Почему это вы нас открывали. Мы тут жили.

Европа и европейское нередко вызывают в Африке недоверие. Даже предметы европейского обихода могут вызывать протест. Классик западноафриканской литературы Бернар Дадье:

Я ношу узорный ошейник,
Ошейник галантной Европы.
Галстука я не люблю.

Я смерть на руке ношу,
Смерть бредовой Европы.
Я не люблю часов[1].

Конечно, в этих стихах и эпатаж читателей-европейцев. Но и чувство протеста против претензии европейцев быть законодателями во всем, от политики и экономики до повседневного обихода.

Понять роман Кутзее легче, если вспомнить заявления политических деятелей — не только из Южной Африки. Вот, например, что сказал "ливийский лидер" Муамар Каддафи на форуме африканских женщин в Триполи. Совсем недавно, 22 апреля нынешнего года.

— Мы должны потребовать от белых компенсации за колонизацию и геноцид, которые они устроили на нашей земле.

Случайно ли это заявление? Мнение каких сил на мировой арене оно отражает? Как к нему относиться?

Каддафи напомнил об опыте Ливии, которая в конце 60-х годов добилась изгнания более 20 тысяч белых, в основном итальянцев. В газете "Известия" сообщение о речи Каддафи было озаглавлено: "Африка — только для черных", в газете "Коммерсант": "Муамар Каддафи выступил по-черному. Он призвал изгнать из Африки белых".

Надо ли нам придавать значение его призывам? Мало ли предрассудков бродит по миру?.. Марк Твен писал когда-то, что сами чернила, которыми пишется история, — это разжиженный предрассудок. А лучший ключ к пониманию именно таких предрассудков — это шутка того же Марка Твена об аборигене с островов Фиджи. Обращенный в христианскую веру, он возмущался, что Каин убил Авеля. Тогда кто-то возьми да и скажи ему:

— А знаешь, ведь Каин-то тоже был с островов Фиджи.

Бедняга задумался, помрачнел и наконец произнес:

— И зачем только этот Авель к нему приставал?

Но Каддафи, конечно, не столь простодушен. Он — опытный политик. Он понимает, какие дивиденды ему приносят подобные заявления, сколько единомышленников он сможет получить, какая поддержка его ждет — и отнюдь не только в Африке, а на всех континентах.

В Соединенных Штатах Луис Фаррахан, который считает себя лидером афроамериканского (как писали прежде — негритянского) населения, уже давно требует, чтобы белые всего мира поплатились за то зло, которое они принесли небелым. Он создал движение "Нация ислама" и хотел бы объединить под своими знаменами не только афроамериканское население Соединенных Штатов, но и вообще всех людей с черным цветом кожи. А еще лучше — и всех мусульман. А желательно и вообще всех небелых — против белых. Он бывает и у Каддафи, и в Южной Африке, побывал и у нас — в Москве и в Дагестане. Несколько лет назад он объявил "Марш миллиона черных мужчин" на Вашингтон. Миллиона не получилось, но и участия четырехсот тысяч, которые последовали его призыву, было достаточно, чтобы Америка оказалась в шоке.

Многие афро-азиатские политики широко применяют, как сейчас говорят, пиаровские меры: использовать бытующие настроения, чтобы,

1. Перев. с франц. М. Ваксмахера.

подогрев их, завоевать популярность, выдвинуться. А придя к власти, отвлекать от себя гнев своих народов, снова и снова повторяя, что все тяготы и беды — результат, только и исключительно, европейского господства. И свалить на имперское прошлое свои собственные промахи, а то и преступления. Например, Сукарно, первый президент Индонезии, написал книгу "Индонезия обвиняет". Что ж, если во всем виновата Европа, то их самих, значит, обвинять уже не в чем.

Но сами-то настроения, которые используют эти политики — насколько внушительна их основа? Увы, основа есть. И она еще долго будет давать о себе знать.

Пять веков Европа господствовала над миром, устанавливала свои законы. Европейские державы делили мир между собой, подчиняли другие континенты, превращали их в зоны своих колоний и зависимых стран.

Легко ли индийцам забыть, как Уинстон Черчилль назвал их национального героя Махатму Ганди? Он пренебрежительно бросил: "Этот воинствующий полуголый факир".

И так ведь говорил Черчилль — один из самых дальновидных лидеров Европы XX столетия. Сколько же мерзостей наговорили и, главное, наделали другие?

Легко ли китайцам забыть, как кайзер Вильгельм II напутствовал немецкий экспедиционный корпус, отправляя его в 1900 году в Китай:

— Пощады не давать! Пленных не брать. Убивайте, сколько сможете! Как тысячу лет назад, когда гунны во главе с королем Аттилой заслужили славу, которая и сейчас в легендах и сказках вызывает ужас, так слово "германец" должно ужасать Китай в следующую тысячу лет. Вы должны действовать так, чтобы китаец уже никогда не посмел косо посмотреть на германца.

Что уж говорить об Африке? По приказу того же императора Вильгельма восставший против немецкого господства народ гереро огнем пулеметов загнали в пустыню Калахари и обрекли десятки тысяч людей на гибель от голода и жажды. Даже германский канцлер Бюлов возмутился и сказал императору, что это не соответствует законам ведения войны. Вильгельм невозмутимо ответил:

— Законам войны в Африке это соответствует.

Одни и те же европейцы вели себя на родине и в Африке совсем поразному. Французский писатель Жорж Оне писал в одном из своих романов в конце XIX века:

"Меслер был прямодушен и добр на редкость. Но в Африке... он никогда не колебался выстрелить... В Трансваале это называлось быть энергичным. Во Франции это считалось бы преступлением. Вопрос географической широты, среды и обстоятельств". Его жену умоляют: "Не показывайте мне ваш африканский облик... Покажите мне ваше парижское лицо. Ведь это же не мадам Меслер, грозная и решительная королева, что царствует над дикарями среди тигров. Не ее я пришел повидать. Нет, это же мадам Меслер, милостивая, благосклонная, та, что живет на Елисейских полях"[1].

Европейцы не могли понять африканцев, видели в них детей природы, которых можно и нужно учить уму-разуму. Африканцы тоже не понимали европейцев, считали их неразумными. Вот одна из давних народных песен о детях:

Младенец — это европеец:
Он с нами говорить не может,
За это сердится на нас[2].

Как ко всему этому относиться сейчас, в XXI столетии?

Касается это все нас — России? Конечно, приятно утешать себя мыслью, что эти сложности — только между Западом и бывшими колониальными и зависимыми странами.

Но почему тогда наши скинхеды так ненавидят людей с небелым цветом кожи? В июньском номере журнала "Вест Африка" вышла статья "Расистский террор в Москве". Нам может не нравиться заголовок, но

1. "Бесполезное богатство" ("L'Inutile richess").
2. Перев. с франц. М. Ваксмахера.

приведенные там факты, увы, трудно опровергнуть.

Не буду давать выдержек из газеты "Штурмовик" и других отечественных изданий, которые у нас почему-то стыдливо называют "радикальными". Но вот статья из считающегося солидным журнала "Молодая гвардия". Название-то какое — "Абсолютная идея нашего будущего"! Она появилась несколько лет назад, в преддверии XXI века, и публиковалась даже не в одном, а в двух номерах. Вот один из ее выводов: "Русские и чеченцы, русские и азербайджанцы, русские и грузины, русские и узбеки, русские и арабы, русские и негры — нации абсолютно некомплементарные (то есть несовместимые — *А. Д.*). Это означает, что наши интересы всегда будут прямо противоположны, а любое приближение друг к другу на расстояние ближе пистолетного выстрела будет восприниматься как вызов"[1].

Что же удивляться оттенку, который дается сейчас слову "черный", и его расширительному толкованию. Это уже не только африканцы, а и свои, люди "кавказской национальности" (тоже новое словообразование).

А вот изданная в Москве книга "Казачий кулак против экспансии инородцев"[2]. Народы Средней Азии именуются там только "туземцами" и "чучмеками". Такая вот фраза: "Разъезжает сегодня по заграницам кривоногий и плосколицый казах Назарбаев". И даже рецепт: как воссоздать Советский Союз. Оказывается совсем просто. "Всесметающий удар по войскам, скажем, Казахстана, и немедленная его оккупация, а затем опора для контроля над территорией на местное русское население, с изоляцией, при необходимости, туземцев, вполне по силам России. Две-четыре республики, с которыми она расправится, если и не приведут к покорности остальных, то полностью сломят их моральный дух. В такой ситуации довершение процесса территориального воссоединения страны не составит труда".

До такого не додумались в Западной Европе даже те, кто тоскует по Британской и Французской империям. Но в общем-то идеи перекликаются. Они — самоубийственны. Для кого? Прежде всего, для Европы и для нашей страны. Если делить мир на белых и небелых — и к тому же не по науке, а по обыденным представлениям, — то доля белых сокращается пусть и не как шагреневая кожа (так сказал один из западных публицистов), но все же весьма быстро. Уже сейчас их не больше 15 процентов. Тенденция — к дальнейшему уменьшению. Население Европы стареет. Сугубые скептики говорят: вымирает.

Считается, что если нынешнее падение рождаемости сохранится, то через полвека испанцев будет на 10 миллионов меньше, а из тех, что останутся, почти сорок процентов будут старше 65 лет. И так — в большинстве государств Европы. Наша страна, несмотря на приток иммигрантов, теряет ежегодно семьсот тысяч человек.

Все это, казалось бы, должны понимать даже те, кому так не по душе "небелые".

Хотя свыкнуться с этим пониманием непросто. Профессор Михаил Герман, известный искусствовед, в интервью "Общей газете" недавно сказал так: "Чернокожие французы в Париже говорят, что Нотр-Дам через полвека будет мечетью. Я, стыдно сказать, счастлив, что не доживу до этого времени. Когда во Франции был опрос, французы признались, что при виде того, как "почернел" Париж, чувствуют себя расистами и стыдятся этого, а у нас в России в отношении к "людям кавказской национальности" тем же самым кичатся".

"Беспорядков на расовой почве", о которых все чаще пишут в газетах, не избежать и в будущем. Это очевидно. Но чтобы их смягчить, массовые представления европейцев должны измениться. Мир становится все больше похож на большую коммунальную квартиру. Приток иммигрантов в Европу неизбежен, да она

1. "Молодая гвардия", 1994, № 5.
2. Н. В. Гунькин. М., 1998.

без них и не выживет. "Белые" и "небелые" будут все больше жить бок о бок друг с другом. А если несколько расизмов столкнутся лоб в лоб? Страшно подумать!

Так что понимать друг друга придется — даже тем, кто этого не хочет или просто закрывает глаза на существование самой проблемы.

Вот о необходимости и о трудностях взаимопонимания, мне кажется, и написал свой роман Дж. М. Кутзее. А экстремальную ситуацию выбрал, чтобы встряхнуть читателя, заставить его всерьез задуматься над тем, о чем думать как-то не очень хочется.

«АНГЛИЯ» Британские книги

МОСКВА, Хлебный пер., 2/3, м. Арбатская. Тел.: (095) 203-5802
С.-ПЕТЕРБУРГ, Набережная р. Фонтанки, 40. Тел.: (812) 279-8284

Часы работы: **пн., вт., ср., пт. с 10 до 19**
чт. с 10 до 20
сб. с 10 до 18
вс. с 11 до 17
без перерыва

РЕГУЛЯРНО В КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

- Авторские чтения
- Лекции специалистов и ведущих переводчиков по английской и американской литературе
- Детские праздники
- Английский дискуссионный клуб и многое другое

Информацию о наших мероприятиях вы можете получить
по телефонам: 203-58-02 и 203-44-03

Мы также выполняем индивидуальные заказы на любые книги, изданные в Великобритании и в США

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОТЕКАМ И УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!

“Перевод – это обмен жизнями...”

К *восьмидесятилетию Льва Гинзбурга (1921–1980)*

В школе я учил немецкий и наивно считал, что стихи переводятся сами, слово в слово, включая рифмы, ведь – стихи. Где мне было знать, глупому (впрочем, не более глупому, чем подавляющая масса читающих), что, подобно всему в искусстве, это не более, чем *обманка*, вроде мухи на картине: хочешь ее смахнуть, а она, оказывается, нарисована! Конечно, все зависит от мастерства художника. То же и в переводе – волшебно обманываясь, понимаешь, сколь умелый художник пошутил над тобой.

Лев Гинзбург, по моему глубокому убеждению, один из ярчайших мастеров в искусстве переводческих перевоплощений.

Целомудренно-чиста,
Поцелуй меня в уста.
Робко, но не слишком вяло –
Чтоб до сердца доставало.

Читая переводы Гинзбурга, не думаешь, кто, где и когда написал это, хотя по какому-то наитию чувствуешь: не русский вроде бы автор (припляс какой-то не наш), не сегодня это написано (*целомудренно-чиста... уста*), но как складно все устроено и какая милая ирония (*робко, но не слишком вяло...*). Может быть, Лев Гинзбург сам это написал, а переводом шедевра является оригинал немецкого барочного поэта Пауля Флеминга?

Много таинственного в переводческом деле, немало противоречивых подходов, дилемм. Одну из них я запомнил со слов Льва Гинзбурга: “Показать, каким было живое тело – или какова температура трупа?” Он решительно отстаивал важность первого – такие живые, одухотворенные, порывистые его русские переводы из немецкой классики:

Что ценней любого клада
Нам на жизненном пути?
Величайшая услада
Сердце верное найти,
С сердцем близким, с сердцем
милым
Все на свете нам по силам...

Пауль Флеминг. *Озарение*

Чтобы понять все значение и мощь Льва Гинзбурга в ряду его выдающихся современников, достаточно сравнить их творческие убеждения и работы с переводческой меланхолией в странах испанского и английского языков (я знаком лишь с ними), где переводчики считают воспроизведение формы чуть ли не надругательством над демократией, полагая, что просодия текста никого не интересует, главное – о чем говорится. Словно перевод подшивается к какому-то делу – интонацию ведь не подошьешь, вот и не нужна.

Родился Лев Владимирович в Москве в семье адвоката. Окончив школу, поступил в ИФЛИ. Служил в армии. После войны – романо-германское отделение

МГУ. Переводить стихи начал с 1947 года. Эти переводы со временем составили около десятка авторских книг: рыцарский эпос, народные баллады, поэзия барокко, Гёте, Шиллер, Гейне, поэты-романтики XIX века, поэты XX века, пьеса Петера Вайса "Марат", идущая в Театре на Таганке. И семь публицистических книг, посвященных, главным образом, теме фашизма, в том числе "Цена пепла", "Бездна", "Потусторонние встречи". Многие годы Гинзбург возглавлял секцию переводчиков Московской писательской организации.

Может быть, главное достоинство Гинзбурга — в одинаково жадном интересе к окружавшей его жизни и окружавшим его текстам, нераздельность этих интересов. В автобиографической книге "Разбилось лишь сердце мое..." он привел совет, который дал переводчикам Маршак: "Переводя, смотрите не только в бумагу, но и в окно". Поразительно соответствует мысли Михаила Михайловича Бахтина ("Понимание текста активно и носит творческий характер; творческое понимание продолжает творчество, умножает художественное богатство человечества") взгляд Гинзбурга на перевод, который, "несомненно, является формой литературоведческого исследования, но только в том случае, если он художественно состоятелен".

Гинзбург был душой переводческого цеха в нелегкие времена. Не один раз твердость и юмор Гинзбурга выручали из беды подозреваемых толмачей, не один раз — в стремительный обход застарелых очередей — продвигал он в Союз писателей молодых мастеров.

"Перевод — это обмен жизнями, — писал Гинзбург. — Ты целиком отдаешь свою жизнь автору, но взамен берешь его жизнь. В этом и состоит, наверное, тайна перевода. И чтобы этот обмен действительно состоялся, ты должен, с одной стороны, до конца понять жизнь и личность автора, а с другой стороны — сам обладать опытом чувств, опытом пережитого". Это высказывание может показаться несколько выспренним, но как точно оно сходится, думаю я, с переводом Гинзбурга из того же Пауля Флеминга:

Я жив. Но жив не я. Нет, я
в себе таю
Того, кто дал мне жизнь в
обмен на смерть свою.
Он умер, я воскрес, присвоив
жизнь живого.
Теперь ролями с ним
меняемся мы снова.

Всего-то 59 лет прожил Лев Владимирович, а сколько успел сделать за эти трудные российские годы. Замечательный пример для новых, для нынешних...

Павел Грушко

Австралия

Паноптикум нового века

Тридцать лет архитектурным символом Австралии считается здание сиднейской Оперы, похожее то ли на раздутые ветром паруса, то ли на гребень морского чудища. С недавних пор с ним конкурируют в экстравагантности еще две постройки — новые музейные здания в Мельбурне и в Канберре. Специфику самих музеев определить трудно — они не подходят под традиционные европейские представления о том, каким должно быть учреждение такого рода: экспозиция представляет собой бесформенное нагромождение всякого рода "хлама" из области искусства, развлечений, естественной истории, истории цивилизации, новейших технологий. Этот сумбур продуман и вполне отвечает постмодернистским веяниям нашего времени.

Главная цель создателей — не просто собрать новую коллекцию, а взломать изнутри привычную музейную структуру. По словам Джорджа Макдональда, одного из авторов проекта, новый музей должен быть чем-то вроде парка аттракционов, обогащенного культурным содержанием. "Хватит делать из музеев кладовки и чердаки. Их миссия — творчество, а не хранение".

Внешний вид мельбурнского музея полностью соответствует оригинальности коллекции. Над лабиринтом проемов и выступов, отделанных цветной сталью, стеклом и белой жестью, нависает клубок разноцветных металлических конструкций. Джон Дентон, один из главных архитекторов, говорит, что идея создания такой постройки пришла к нему во Франкфурте, где несколько музеев расположены в старых зданиях вдоль набережной Майна. "В большинстве музеев посетителю легко заблудиться, он чувствует себя неловко, его угнетает однообразие. Мы же стремились к чему-то совершенно обратному". Посетители могут побродить по разным залам, не утруждая себя последовательным осмотром. В роще рядом с музеем собрано более 8 000 видов растений, тропических птиц, зверей, насекомых и рептилий. В музейный комплекс входят также зал интерактивного объемного кино, традиционный зал динозавров и детский зал, оформленный в виде разноцветного куба.

Сразу же после открытия музей стал доступен для посещения через Интернет. На сайте представлены 16 млн. экспонатов, которые пока хранятся в запасниках музея. Со временем выставочных мест станет в три раза больше, и тогда можно будет разместить в залах предметы, которых никто не видел уже полтора века, — например, канадский тотем высотой 12 метров, который сейчас украшает фасад.

Музей, который находится в Канберре, — этнографический. С архитектурной точки зрения, он устроен по тому же принципу, что и мельбурнский. Здание, перекрытое оранжевой аркой, состоит из ярко размалеванных бетонных, стальных, стеклянных и алюминиевых поверхностей: серые, красные и черные фасады нависают над искусственным озером. В плане музей представляет собой лабиринт, который извивается вокруг "Сада австралийской мечты". Входной зал музея напоминает собор под куполом, его стены украшены изображениями рыб — символов первых христиан. В одной из комнат можно увидеть разбитую шестиконечную звезду. Это явное заимствование из Еврейского музея Берлина вызывало нарекания, но австралийские архитекторы считают, что его не следует считать плагиатом. Согласно их концепции, в данном случае звезда приобрела совершенно новое значение и символизирует судьбу австралийских аборигенов. Некоторые газеты откликнулись негодованием и яростными расистскими выпадами на разделы, посвященные истории Австралии и туземной цивилизации. Дирекцию музея обвинили в пропаганде, направленной против белого населения, и в "подрыве национальной гордости". Симпатии руководства музея к аборигенам иногда действительно идут вразрез с интересами дела: вместо того чтобы пополнять коллекцию, дирек-

ция возвращает аборигенам уже имеющиеся экспонаты. Когда в подвалах Эдинбургского университета, с которым сотрудничает музей, нашли останки — скелеты и черепа, — их выслали в Канберру для передачи туземным племенам. В некоторых случаях документы, в которых указано место подобных находок, позволяют установить наследственные права современных аборигенов на те или иные земли.

Исторические залы мельбурнского и канберрского музеев дают наглядное представление о жестокости, жертвой которой становились австралийские аборигены. В мельбурнском музее всячески подчеркивается, что культура коренных жителей до сих пор жива: в постоянной экспозиции выставлены работы современных туземных художников. Забавно сопоставление древних экспонатов с современными аналогами: например, рядом с погребальным каноэ конца XIX века помещен "крайслер" 70-х гг., переоборудованный под катафалк. Основная цель этнографических экспозиций — не дать забыть о том, что случилось с коренной культурой страны, и восстановить историческую справедливость. Осуществлению этой задачи подчинен даже административный порядок: 15 % всех должностей в музее, в том числе и руководящие, предоставлены аборигенам. Иногда этот акт доброй воли имеет неожиданные последствия. Так, дама, занимающая один из главных постов, отказывается смотреть на некоторые экспонаты, поскольку по туземным обычаям они для женщин табу. К древним манускам не прилагается никаких описаний, чтобы они никоим образом не выглядели как объект чисто этнографического интереса. Соображения политкорректности возобладали над требованиями музейного дела.

Великобритания

Нескучная Библия

В ближайшее время в Англии должно выйти новое издание Ветхого Завета, оформленное не вполне традиционно — наподобие глянцевого журнала. Библейский текст будет иллюстрирован фотографиями известных топ-моделей; Адама и Еву будут представлять Марк Шенкенберг и Клаудиа Шиффер. Цель проекта — привлечь молодежную аудиторию, у которой Библия сейчас не пользуется особой популярностью.

По словам одного из авторов идеи, Густава-Вильгельма Хельстедта, "традиционные иллюстрации к Библии довольно скучны, а так, вместо привычной картины Адама и Евы в райском саду, читатель увидит влюбленную пару, которая целуется или гуляет по улицам Нью-Йорка". В новом издании будет сохранен текст так называемой "Библии короля Якова" (один из первых английских переводов Библии, вышедший в 1611 г.). Имена большинства фотомоделей, которые собираются участвовать в проекте, пока не разглашаются. Но список фотографов, приглашенных к работе над изданием, по словам инициаторов, не уступит списку авторов, которым может похвастаться журнал "Вог". Среди них, в частности, фотограф Паоло Роверси, который неоднократно работал с Клаудией Шиффер и Мадонной.

Разговоры о новом проекте сразу же вызвали бурную дискуссию. Дэвид Филипс, глава церковного совета, утверждает: "Это совершенная бессмыслица и чепуха... Сила божественной благодати заключена в тексте Евангелия, а не в картинках. Нужно доносить до читателя то, чему учит Библия, а не разукрашивать ее". Майкл Тэрнбулл, епископ Даремский, высказывается менее категорично: "Все, что может вызвать у людей интерес к Библии, хорошо, просто надо делать это со вкусом".

Большинство изданий Ветхого Завета практически не изменялись со времен Гутенберга (первая печатная Библия была выпущена в 1454 г.). В связи с этим, по словам организаторов проекта, и возникла мысль "немного осовременить Библию и сделать ее более доступной для читателей 15—30 лет".

"Почти все модели будут сниматься одетыми, — уверяет Хельстедт, — но, конечно, будет и немного обнаженной натуры, потому что Библия все-таки очень чувственная книга, и это направление мы тоже будем разрабатывать. Мы хотим, чтобы Библия перекочевала с запыленных полок на журнальные столики". Авторы проекта обещают, что новая Библия появится уже в следующем году.

Испания

Синоним качества и мастерства

Известный в Испании художник, иллюстратор

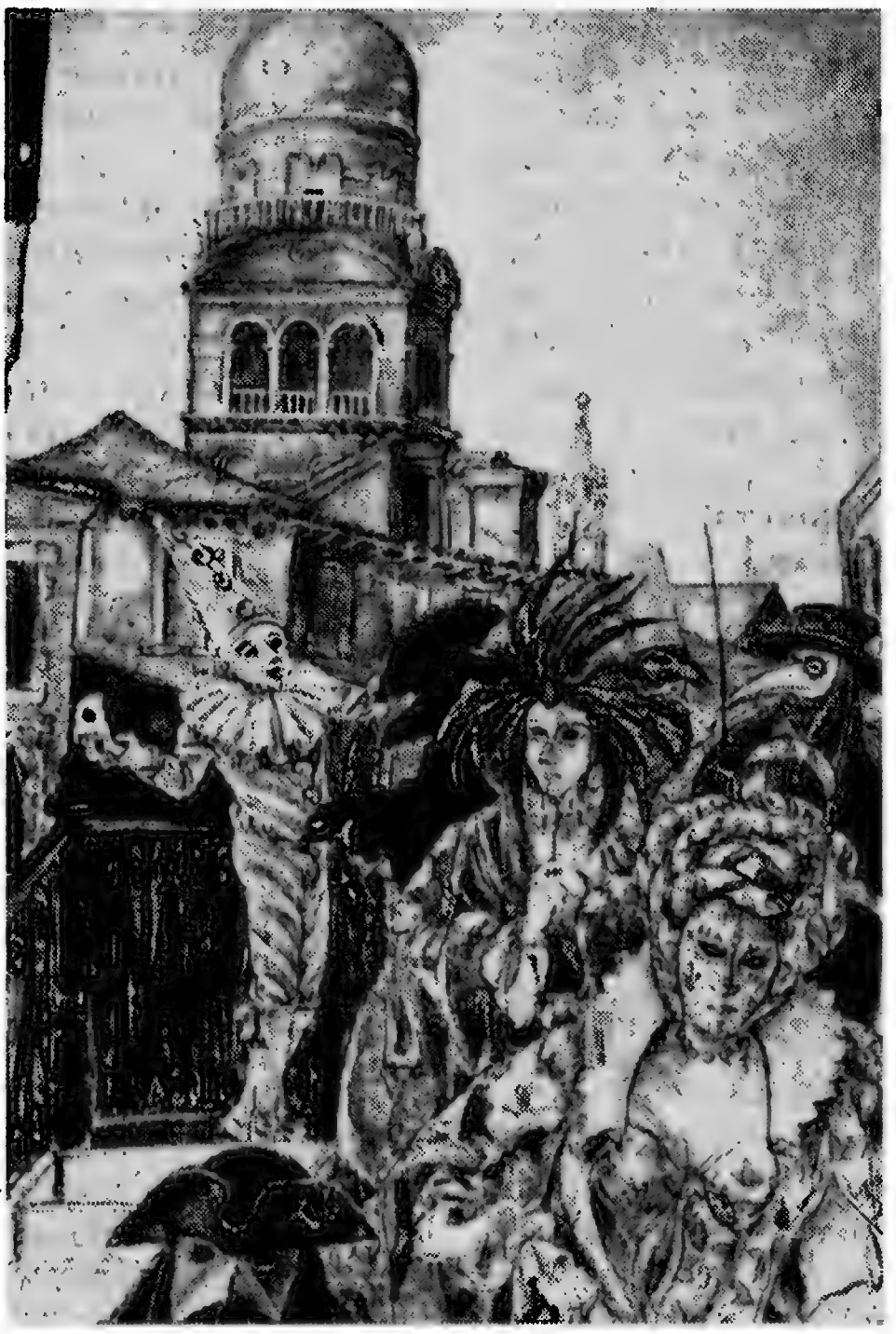


Иллюстрация Хесуса Габана к книге рассказов Э. А. По

детских книг Хесус Габан уже в третий раз удостоен Национальной премии за иллюстрации, присуждаемой Министерством культуры (прежде она называлась Премией за лучшие иллюстрации к книгам для детей и подростков). На сей раз 44-летний мадридец получил ее за серию великолепных рисунков к сборнику рассказов Эдгара Аллана По, опубликованному барселонским издательством "Висенс вивес". Как отмечают критики, в этих рисунках с удивительной точностью передана тревожная и мрачная атмосфера, которую мастерски нагнетал Э. А. По.

Превосходный рисовальщик и искусный иллюстратор Хесус Габан творчески сформировался в Мадридской художественной школе и с 1981 года посвятил себя иллюстрированию книг для детей. Для специалистов по детской литературе и в профессиональных кругах его имя является синонимом качества и мастерства; он также известен как иллюстратор учебников — а этот жанр всегда представлял серьезную проблему для художников. Кроме того, Хесус Габан — лауреат престижных премий и один из немногих испанских художников, чьи рисунки охотно приобретают для своих книг иностранные — французские, немецкие, японские и американские — издатели. Среди его последних работ выделяются иллюстрации к музыкальной сказке "Детские игры" (издательство "Аргупарте") и превосходные рисунки к интереснейшей антологии "Книга латиноамериканских и испанских сказок и легенд" (издательство "Эдисьонес Б").

Иллюстрация Хесуса Габана к сказке "Разбитая тыква"

Франция

Парижская выставка черновиков

В Национальной библиотеке Франции имени Франсуа Миттерана недавно прошла выставка под названием "Черновики писателей". К ее открытию было приурочено издание роскошного альбома под тем же названием. Выставка стала событием в культурной жизни страны и

привлекла внимание прессы.

Экспозицию "Черновики писателей" организовали совместно отдел современных рукописей Национальной библиотеки Франции и Институт современных текстов и рукописей. Все, кто писал о выставке, единодушно отмечали изобретательность ее создателей — Мари-Одиль Жермен и Даниель Тибо.

Изобретательность эта проявилась прежде всего в оформлении выставки. Экспонаты — рукописи французских писателей XVIII, XIX и XX веков — не лежали под стеклом, как это обычно бывает, а, увеличенные в пять, а то и в десять раз, проецировались на стены. В полумраке картина была просто завораживающей: можно было разглядеть мельчайшие помарки, все кляксы и рисунки, оставленные на бумаге величайшими французскими писателями — Гюго, Флобером, Сартром, Мальро, Прустом.

Выставка состояла из четырех частей. В первой были представлены различные виды носителей текста — от средневекового пергамента до современного компьютера. Вторая часть выставки была посвящена истории сменяющих друг друга "писательских школ". Каждый этап был назван по имени одного из прозаиков (Флобера, Пруста, Сартра, Перека), поэтов (Аполлинера, Валери, Бретона, Десноса) или философов (Вейля, Мерло-Понти, Янкелевича). Третья часть рассказывала о процессе "создания текста" — о черновиках, окончательных вариантах, планах произведений и различных редакциях. Наконец, четвертая часть экспозиции посвящалась ныне здравствующим литераторам; здесь были выставлены рукописи и звучали записи выступлений, в которых писатели говорили о себе и своей работе.

Экспонаты для "Черновиков писателей" отбирались очень тщательно, так из сотен тысяч хранящихся в Национальной библиотеке Франции рукописей выставлено было только двести (в том числе и недавно приобретенная Библиотекой рукопись "Путешествия на край ночи" Селина). Однако этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы посетитель уловил разницу между двумя писательскими "стратегиями" — с составлением предварительного плана произведения и работой без всякого плана. Флобер и Золя приступали к очередному роману уже с готовым "сценарием" развития действия, — разумеется, "сценарий" этот мог меняться по ходу работы, однако сопоставление сохранившихся фрагментов планов с разными редакциями текстов свидетельствует о том, что замысел произведения в целом оставался прежним. У писателей другого типа — к ним относился Стендаль — замысел формировался уже в процессе создания произведения; поэтому первый и окончательный варианты одного романа часто не имели между собой практически ничего общего.

Главное достоинство парижской выставки черновиков заключалось в том, что она была интересна и профессионалам, и любителям литературы, которые, обходя залы и любуясь помарками знаменитых писателей, заодно узнавали и об основных этапах работы над литературными произведениями.

По материалам газеты "Паис" (Испания), журналов "Курье интернасьональ", "Магазин литтерер" (Франция).

Ромен Гари
Romain Gary; наст. имя Роман Касев
[1914–1980]. Французский писатель русского происхождения, дипломат.

Автор романов *Европейское воспитание* [*Éducation européenne*, премия *Критики*, 1945], *Корни неба* [*Les racines du ciel*; Гонкуровская премия, 1956], *Обещание на рассвете* [*La promesse de l'aube*, 1960; рус. перев. в *ИЛ*, 1993, № 2], *Глотатели звезд* [*Les mangeurs d'étoiles*, 1966], *Воздушные змеи* [*Les cerfs-volants*, 1980; рус. перев. в *ИЛ*, 1994, № 1, 2], автобиографической повести *Белая Собака* [*Le Chien Blanc*, 1970; рус. перев. в *ИЛ*, 1998, № 6], книги *Ночь будет спокойной* [*La nuit sera calme*, 1974; фрагменты в *ИЛ* 1994, № 12]. Под псевдонимом Эмиль Ажар – *Жизнь впереди* [*La vie devant soi*; Гонкуровская премия, 1975; рус. перев. в *Библиотеке ИЛ*, 1988], *Голубчик* [*Gros-Câlin*, 1974; рус. перев. в *ИЛ*, 1995, № 7], *Страхи царя Соломона* [*L'angoisse du roi Salomon*, 1979; рус. перев. в *ИЛ*, 1997, № 9].
Перевод романа *Повинная голова* выполнен по изданию *La tête coupable* [Paris, Gallimard, 1980].

Биргит Вандербеке
Birgit Vanderbeke
[р. 1956]. Немецкая писательница, лауреат премии им. Ингеборг Бахман [1990], литературной премии Кранихштайнера [1997] и Солотурнской литературной премии [1999].

Автор повестей и романов *Поедание моллюсков* [*Das Muschelessen*, 1990], *Довольно хорошо* [*Gut genug*, 1994], *Мирное время* [*Friedliche Zeiten*, 1996], *Я вижу то, чего не видишь ты* [*Ich sehe was, was du nicht siehst*, 1999], *Уходя* [*Abgehängt*, 2001] и др.
Повесть *К Альберте придет любовник* публикуется по изданию *Alberta empfängt einen Liebhaber* [Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 2000].

Ч. К. Уильямс
C. K. Williams
[р. 1936]. Американский поэт и переводчик, лауреат многочисленных литературных премий.

Автор поэтических сборников *Плоть и кровь* [*Flesh and Blood*, 1987], *Сон разума* [*A Dream of Mind*, 1992], *В неведении* [*With Ignorance*, 1997] и др., книг переводов французской, польской и греческой поэзии.
Публикуемые стихотворения взяты из книги *Художественная штопка* [*Repair*. New York, Farrar, Strauss & Giroux, 1999], удостоенной в 2000 г. Пулицеровской премии.

Дэвид Лодж
David Lodge
[р. 1935]. Английский писатель и литературный критик, почетный профессор кафедры Бирмингемского университета, член Королевского общества, лауреат многих литературных премий.

Автор ряда литературоведческих книг, в т. ч.: *Язык художественной литературы* [*Language of Fiction*, 1966], *Современная критика и теория* [*Modern Critics and Theory*, 1988], *После Бахтина* [*After Bakhtin*, 1990] и др.; 10 романов, из которых наибольшую известность приобрела трилогия: *Академический обмен* [*Changing Places*, 1975; рус. перев. 1999], *Мир тесен* [*Small World*, 1984], *Милое дело* [*Nice Work*, 1988]; пьесы *Вся подноготная* [*Home Truth*, 1998].
Публикуемое эссе взято из сборника *Писательская практика* [*The Practice of Writing*. London, Secker & Warburg, 1996].

Дмитрий Владимирович Затонский
[р. 1922]. Критик и литературовед, доктор филологических наук, член-корреспондент АН Украины, член Международной ассоциации литературных критиков. Лауреат премии им. А. Карельского [1995].

Автор книг *Франц Кафка и проблемы модернизма* [1965], *Искусство романа и XX век* [1973], *Зеркала искусства* [1975], *Австрийская литература в XX столетии* [1985], *Художественные ориентиры XX века* [1988] и др., а также многих статей в журналах, в т. ч. в *ИЛ*.

Аполлон Борисович Давидсон
[р. 1929]. Доктор исторических наук, профессор МГУ.

Автор книг *Облик далекой страны* [1975], *Зов дальних морей* [1979] — обе книги в соавторстве с В. А. Мокрушиным, *Муза странствий Николая Гумилева* [1992], *Сесил Родс – строитель империи* [1998], *The Russians and the Anglo-Boer War* [Cape Town, 1998] в соавторстве с И. Филатовой.

Павел Моисеевич Грушко
[р. 1931] Поэт, переводчик, драматург. Вице-президент Ассоциации испанистов России. Лауреат итальянской литературной премии *Brianza inedito* [1994].

Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Переводчики

Ирина Исаевна Кузнецова
Переводчица с французского, лауреат премии *Инолиттл* [1997], премии им. М. Ваксмахера [1999].

В ее переводе публиковались стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, произведения А. де Виньи, А. Ланжевена, С. Пру, Колетт, Х. Семпруна, А. Камю, В. Денона, С. де Бовуар и др. Переводы И. Кузнецовой неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Натэлла Всеволодовна Горская
Поэт-переводчик.

В ее переводе публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Х. Л. Пачеко, Х. А. Гойтисоло, Р. Богранда, Ш. Каняди, Фаиза Ахмада Фаиза, Р. Тагора, С. Камали, И. Арифа, Я. Пилински, К. Ковича и др. Переводы Н. Горской неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Елизавета Всеволодовна Соколова
Переводчица с немецкого, кандидат филологических наук.

В ее переводе в *ИЛ* напечатаны стихи австрийского поэта К. Любомирского [1995, № 8], немецких поэтесс У. Хан [1994, № 2 и 1997, № 7] и И. Тильш [1996, № 8], швейцарской поэтессы Э. Буркарт [1998, № 9], эссе Д. Грюнбайна *Галилей измеряет Дантов ад* [1998, № 1], рассказы Ю. Герман [2000, № 11].

Дмитрий Юрьевич Веденяпин
[р. 1959]. Поэт и переводчик поэзии и прозы.

Автор книги стихов *Покров* [1993]. В его переводах публиковались стихи английских, ирландских и американских поэтов — А. Поупа, Т. Харди, П. Пирса, П. Колума, Д. Макдонаха, Т. Макграта; немецких и австрийских поэтов — К. Кролова, Р. Шаукаля; французских поэтов — А. Шенье, П. Польжана; фламандских поэтов — Д. Ван Рейссела, С. Ван Ден Бремта и др., а также рассказы А. Бирса и сборник рассказов И. Башевиса Зингера *Последняя любовь* [М., Текст, 1999]. В *ИЛ* напечатаны его переводы рассказа *Поклонница* И. Башевиса Зингера [1993, № 12], романов М. Каннингема *Дом на краю света* [1997, № 8, 9] и *Часы* [2000, № 9].

Анастасия Юрьевна Лестер
Литературный критик, переводчица с французского языка.

Автор ряда критических статей, опубликованных в периодической печати.
В ее переводе опубликован роман Д. Лоджа *Академический обмен* [1999].

Ольга Евгеньевна Макарова
Филолог, переводчица с английского языка. Лауреат конкурса *Современная зарубежная художественная литература—98*, проводившегося Институтом "Открытое общество".

Автор ряда критических статей, опубликованных в периодической печати.

ЧТО ЧИТАЮТ В МИРЕ?

Публицистические произведения, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров Ассоциации независимых книготорговцев США от 30 октября 2001 г.

1. AHMED RASHID.
   Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia

2. ADAM GOPNIK.
   Paris to the Moon

3. THOMAS L. FRIEDMAN.
   From Beirut to Jerusalem

4. KAREN ARMSTRONG.
   Battle for God (Ballantine Reader's Circle)

5. DAVID SEDARIS.
   Me Talk Pretty One Day

6. KATHARINE GRAHAM.
   Personal History

7. MARK BOWDEN.
   Black Hawk Down: A Story of Modern War

8. DAVID BODANIS.
   $E=MC^2$: A Biography of the World's Most Famous Equation

9. BENJAMIN R. SCHULZ, ANDREA BARBER.
   Jihad Vs. McWorld

10. SAMUEL P. HUNTINGTON.
    Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

Содержание журнала *Иностранная литература* за 2001 год [1–12]

Романы, повести, рассказы

Адэр Гилберт. *Закрытая книга.* Роман. Перевод с английского Инны Стам [6]

Акройд Питер. *Повесть о Платоне.* Роман. Перевод с английского Л. Мотылева [9]

Аллен Вуди. *Рассказы.* Перевод с английского Олега Дормана [1]

Андреевский Петре. *Рассказы.* Перевод с македонского Е. Верижниковой и Ж. Гилёвой. Вступление М. Тарасовой [7]

Байетт А. С. *Китайский омар.* Рассказ. Перевод с английского Ольги Варшавер [2]

Бегбедер Фредерик. *Рассказики под экстази.* Перевод с французского И. Васюченко и Г. Зингера [11]

Бёлль Генрих. *Завет.* Повесть. Перевод с немецкого и вступление М. Рудницкого [1]

Вандербеке Биргит. *К Альберте придет любовник.* Повесть. Перевод с немецкого Е. Соколовой [12]

Великич Драган. *Белград.* Рассказ. Перевод с сербского Л. Савельевой [3]

Видмер Урс. *Рассказы.* Перевод с немецкого Е. Колесова [3]

Гари Ромен. *Повинная голова.* Роман. Перевод с французского Ирины Кузнецовой [12]

Грабал Богумил. *Рассказы. Эссе.* Перевод с чешского С. Скорвида. Вступление А. Кравчука [4]

Зиммель Иоганнес Марио. *Человек, который рисовал миндальные деревца.* Повесть. Перевод с немецкого С. Фридлянд [2]

Каваками Хироми. См. *Японские рассказы* [2]

Кундера Милан. *Пусть старые покойники уступят место молодым покойникам.* Рассказ. Перевод с чешского Нины Шульгиной [2]

Кутзее Дж. М. *Бесчестье.* Роман. Перевод с английского Сергея Ильина [1]

Мейлер Норман. *Крутые парни не танцуют.* Роман. Перевод с английского В. Бабкова [3, 4]

Модиано Патрик. *Незнакомки.* Повесть. Перевод с французского Ирины Волевич [7]

Монтеле Юбер. *Профессия – призрак.* Роман. Перевод с французского Юлианы Яхниной [2]

Маргрит де Моор. *Дженнифер Винкелман.* Рассказ. Перевод с нидерландского и вступление С. Князьковой [11]

Мурата Киёко. См. *Японские рассказы* [2]

Несколько вопросов к Мишелю Турнье.
См. Турнье Мишель [4]

Низон Пауль. *Рассказы.* Перевод с немецкого и вступление В. Седельника [8]

Нолль Ингрид. *Аптекарша.* Роман. Перевод с немецкого Г. Шевченко. Вступление М. Рудницкого [5]

Остер Пол. *Тимбукту.* Роман. Перевод с английского Ильи Кормильцева [8]

Памук Орхан. *Меня зовут Красный.* Роман. Перевод с турецкого Веры Феоновой [9]

Перес-Реверте Артуро. *Клуб Дюма, или Тень Ришелье.* Роман. Перевод с испанского Н. Богомоловой [10, 11]

Сондерс Джордж. *Рассказы.* Перевод с английского и вступление С. Силаковой [7]

Стасюк Анджей. *Рассказы.* Перевод с польского М. Курганской и Т. Изотовой. Вступление Т. Изотовой [5]

Сутер Мартин. *Семь рассказов из книги "Бизнес-класс".* Перевод с немецкого и вступление Е. Колесова [10]

Тейлор Кэтрин Кресмен. *Адресат выбыл.* Рассказ. Перевод с английского Р. Облонской [4]

Турнье Мишель. *Рассказы.* Перевод с французского Н. Бунтман.
Несколько вопросов к Мишелю Турнье.
Беседует Е. Моттирони [4]

Туссен Жан-Филипп. *Месье.* Роман. Вступление и перевод с французского И. Радченко [3]

Уинтерсон Дженет. *Рассказы.* Перевод с английского Ольги Варшавер [11]

Хайн Кристоф. *Вилленброк.* Роман. Перевод с немецкого М. Рудницкого [7, 8]

Шедлих Ханс Иоахим. *Даруй ему язык. Жизнь и смерть баснописца Эзопа.* Перевод с немецкого и вступление Г. Косарик [6]

Эдельфельдт Ингер. *Прогулка.* Рассказ. Перевод с шведского Е. Ермалинской [5]

Энквист Пер Улов. *Низверженный ангел.* Любовный роман. Перевод с шведского А. Афиногеновой [4]

Японские рассказы. Киёко Мурата. *Сиоманэки.* Хироми Каваками. *Медвежий бог.* Перевод с японского Г. Дуткиной [2]

Стихи

Беллинтани Умберто. *Стихи.* Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича [1]

Дагларджа Фазыл Хюсню. *Стихи из цикла "Пьяница".* Перевод с турецкого Фазиля Искандера. Вступление Веры Феоновой [11]

Есих Милан. *Сонеты.* Перевод со словенского Жанны Гилёвой [5]

"Из жизни райского сада". Стихи болгарских поэтов. Перевод с болгарского Натэллы Горской. Вступление Маи Тарасовой [12]

Карранса Эдуардо. *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Надежды Муравьевой [4]

Луиш-Манюэль. *Стихи.* Перевод с французского Ирины Кузнецовой и Ирины Волевич. Вступление И. Кузнецовой [2]

Милн Алан Александр. *Плюшевый медвежонок.* Баллада. Перевод с английского и вступление Евгении Славороссовой [11]

Подсядло Яцек. *Стихи.* Перевод с польского Дмитрия Веденяпина [9]

Уильямс Ч. К. *Стихи.* Перевод с английского Дмитрия Веденяпина [12]

Уэльбек Мишель. *Стихи и эссе.* Перевод с французского Ирины Кузнецовой [5]

Фриджиери Оливер. *Стихи.* Перевод с английского и вступление Анны Шульгат [8]

Херберт Збигнев. *Стихи.* Перевод с польского и вступление Владимира Британишского [7]

Вглубь стихотворения

Набоков Владимир. *Комната. На перевод "Евгения Онегина".* Переводы с английского. Вступление Сергея Ильина [10]

Прешерн Франце. *Сонет. Газель.* Переводы со словенского. Вступление Н. Стариковой [8]

Из классики XX века

Вулф Вирджиния. *Волны.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц [10]

Уоррен Роберт Пенн. *Цирк на чердаке.* Повесть и рассказы. Переводы с английского. Вступление А. Зверева [5]

Литературное наследие

О. Генри. *Искатели риска.* Рассказ. Перевод с английского Е. Суриц [7]

Стивенсон Роберт Льюис. *Стихи.* Перевод с английского и вступление Евгении Славороссовой [1]

"Столетье бьют часы..." Стихи французских символистов в переводе Романа Дубровкина [3]

Шелли Перси Биши. *Стихи любви и восторга.* Перевод с английского и вступление Виктора Лунина [6]

Литературный гид

"Луи-Фердинанд Селин, или Путешествие на край отчаяния" [9]

"Хулио Кортасар, или Самый великий хроноп" [6]

Бонфуа Клод. *Л.-Ф. Селин рассказывает о своей юности.* Перевод с французского И. Радченко [9]

Виту Фредерик. *Жизнь Селина.* Фрагменты книги. Перевод с французского В. Иорданского [9]

Дубин Борис. *"След забытого царства"* [6]

Зверев Алексей. *"Всем я поперек горла..."* [9]

Луи-Фердинанд Селин: краткая летопись жизни и творчества [9]

Кортасар Хулио. *Беседы с Эвелин Пикон Гарфилд.* Фрагменты книги. Перевод с испанского Н. Богомоловой [6]

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2001 год [1—12]

Кортасар Хулио. *Вокруг дня за восемьдесят миров.* Эссе и рассказы из книги. Перевод с испанского Н. Беленькой, Э. Брагинской, Б. Дубина, А. Кофмана [6]

Кортасар Хулио. *Последний раунд.* Эссе и рассказы из книги. Перевод с испанского Н. Беленькой, Э. Брагинской, Б. Дубина, В. Капанадзе, А. Кофмана, Е. Хованович [6]

Писатели отвечают на вопрос "Что вы думаете о деле Селина?" Перевод с французского И. Радченко [9]

Селин Л.-Ф. *Guignol's Band, или Паяцы I.* Фрагменты романа. Перевод с французского И. Радченко [9]

Селин Л.-Ф. *Интервью разных лет.* Перевод с французского И. Радченко [9]

Селин Л.-Ф. *Защитительная записка.* Перевод с французского И. Радченко [9]

Хулио Кортасар: краткая летопись жизни и творчества [6]

Документальная проза

Андреас-Саломе Лу. *Прожитое и пережитое. Воспоминания о некоторых событиях моей жизни.* Фрагменты книги. Перевод с немецкого и вступление В. Седельника [2]

Лаханн Биргит. *Существовать и мыслить сквозь эпохи! Штрихи к портрету Фридриха Ницше.* Перевод с немецкого А. Егоршева [11]

Мрожек Славомир. *Дневник возвращения.* Перевод с польского Леонарда Бухова [7]

Норман Жоэль, Пьер Донсьо. *Воспоминания повара Елисейского дворца. Французская кухня пяти президентов.* Фрагменты книги. Перевод с французского Анастасии Лестер [12]

Робертс Джон. *"Говорите прямо в канделябр". Культурная политика Британии и России в 1973–2000 годах.* Отрывки из книги. Перевод с английского Л. Ю. Столяровой [2]

Сакс Оливер. *Случаи из практики.* Перевод с английского Р. Шапиро, В. Кулагиной-Ярцевой [3]

Беседы

Юрсенар Маргерит. *С открытыми глазами. Беседы с Матьё Гале.* Главы из книги. Перевод с французского Ю. Яхниной [8]

Круглый стол

Ромен Гари: жизнь еще впереди? [12]

Наши гости

Петер Эстерхази и Золтан Агоштон. Вступление и запись беседы Л. Васильевой [11]

Литературная пресса мира

"Jelenkor". Составление, перевод с венгерского и вступительная статья Ю. Гусева [3]

Путешествие по книге

Адельгейм Ирина. *"На границе моря и письменного стола..."* [4]
Борисенко Александра. *О Сэлинджере, "с любовью и всякой мерзостью"* [10]

Статьи, эссе

Вайнштейн Ольга. *Грамматика ароматов* [8]
Вацулик Людвик. *Эссе разных лет.* Перевод с чешского Юзефа Преснякова [5]
Визель Эли. См. Миттеран Франсуа [2]
Воскресенский Д. Н. *Тернистый путь нобелевского лауреата Гао Синцзяня* [5]
Гао Синцзянь. *Обоснование литературы.* Нобелевская лекция 2000 года. Перевод с китайского Д. Н. Воскресенского [5]
Дубин Борис. См. Чоран Эмиль Мишель [1]
Затонский Дмитрий. *"Жестяной барабан" Гюнтера Грасса, или Понимаем ли мы мир, посреди которого существуем?* [12]
Каспэ Ирина. *Народ за Гарри Поттера* [5]
Кёстлер Артур. *Анатомия снобизма.* Перевод с английского М. Наумова [4]
Лодж Дэвид. *Разные жизни Грэма Грина.* Перевод с английского О. Макаровой [12]
Миттеран Франсуа. Эли Визель. *Воспоминания на два голоса.* Главы из книги. Перевод с французского Н. Сперанской [2]
Мюрэ Филипп. *После Истории.* Фрагменты книги. Перевод с французского Нины Кулиш [4]
Нестеров Антон. *Автоперевод как автокомментарий* [7]
Попов Евгений. *Пуговицы от новых штанов* [11]
Послание директора библиотеки Конгресса США Джеймса Биллингтона поэтическому вечеру, посвященному 5-й годовщине со дня смерти Иосифа Бродского [5]
Рудницкий М. *Пример бескорыстного служения.* Заметки о Константине Богатыреве [6]
Унамуно Мигель де. *Два эссе.* Перевод с испанского Н. Богомоловой [3]
Чоран Эмиль Мишель. *Разлад.* Фрагменты книги. Перевод с французского Н. Мавлевич. Борис Дубин. *О беге времени на его краю* [1]

В мастерской переводчика

Кружков Григорий. *Крик павлина и конец эстетической эпохи.* Эссе. Из новых переводов У. Б. Йейтса [1]

Возвращаясь к напечатанному

Давидсон Аполлон. *Что это? Предостережение миру?* [12]
Дубин Сергей. *Действительно ли scripta manent? "Элементарные частицы" Мишеля Уэльбека два с половиной года спустя* [5]

Комментарий

Зверев Алексей. *Исповедь при свете софитов* [3]

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2001 год [1—12]

Зверев Алексей. *Преступления страсти: вариант Зюскинда* [7]
Зверев Алексей. *Стоцветная лента* [8]

Трибуна издателя: зарубежная литература в России

Издательство "Амфора" [7]
Издательство "АСТ" [3]
Издательство "Иностранка" [1]
Издательство "Текст" [10]

Наши интервью

"Я в некотором смысле создатель религиозной секты..." С Филиппом Лежёном, профессором университета Пари-Нор, беседует Елена Гальцова [4]

Среди книг

Альчук Анна. *Трагедия Ницше и современность* [11]
Баскакова Т. *Бог – это жизнь и род человеческий?* [4]
Виноградова Ю. *Между небом и землей* [5]
Гальцова Елена. *В защиту Селина* [1]
Дубин Сергей. *Мир sub specie dadaitatis, или Дадаленд* [11]
Ермонский А. *Литературный памятник президенту* [2]
Зверев Алексей. *"Живу благодаря себе подобным..."* [1]
Кирсанова Раиса. *В поисках утраченного денди* [4]
Кофман А. *Маршрут культуры* [7]
Курганская Марина. *Война Владислава Шпильмана* [11]
Павлова Н. *О хрупкой лире* [4]
Мавлевич Наталья. *Переводчик и время* [7]
Пискунова С. *Апофеоз Барокко* [3]
Романова Алиса. *"Серый кардинал" – за кулисами современности* [5]
Ромашко Сергей. *Вера, факты и воображение* [2]
Соколянский Марк. *Диалог историка и критика* [3]
Старосельская Наталья. *Житие Агасфера* [5]
Табак Мария. *Сирин и Набоков: один или двое?* [3]
Яснов Михаил. *"Нежный строй голосов отзвучавших..."* [4]

Грушко Павел. *"Перевод – это обмен жизнями..." К восьмидесятилетию Льва Гинзбурга (1921–1980)* [12]

Курьер "ИЛ" [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12]

Авторы номера [1—12]

Анкета для читателей [12]

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Обращаться к Вам с вопросами о нашем журнале
уже вошло за последние годы в традицию.
Мы продолжаем диалог с заинтересованной аудиторией и
публикуем в этом номере практически ту же анкету,
которая появилась на этих страницах ровно два года назад.
Надеемся на ваш активный отклик.

1. С какого года Вы читаете "ИЛ"?

2. Какие публикации двух последних лет (2000—2001 гг.)
Вы считаете наиболее удачными?

3. Назовите наши наименее удачные публикации.

4. Считаете ли Вы, что за последние годы журнал стал:
лучше, хуже, содержательнее, скучнее...

(Подчеркните нужное или, по возможности,
дайте свое определение.
Прокомментируйте Ваше мнение.)

5. Произведения каких зарубежных авторов
Вы хотели бы видеть в выпускаемой издательством
“Иностранка” серии “Иллюминатор”
(Библиотека журнала “Иностранная литература”)?

6. И немного о себе: возраст, пол, образование,
профессия и все, что сочтете важным и интересным.

**Заполненную анкету нужно вырезать и отправить в редакцию;
если же Вы, например, читаете журнал в библиотеке,
мы охотно примем Ваши ответы и без анкетного бланка.**

Благодарим Вас за участие в анкете.

**Среди тех, кто пришлет ответы на анкету,
мы разыграем 20 книг из серии “Иллюминатор”
(Библиотека журнала “Иностранная литература”)**

А 5 бесплатных подписок на 2003 год мы разыграем среди тех читателей, кто правильно укажет имена восемнадцати соавторов публикуемого на следующей странице текста.

1.	7.	13.
2.	8.	14.
3.	9.	15.
4,	10.	16.
5.	11.	17.
6.	12.	18.

В конкурсе участвуют письма, отправленные до 1 марта 2002 года.

НАЧНЕМ...

Текст для внимательных читателей "ИЛ".

Эта книга – прежде всего история человека, бóльшая часть жизни которого прошла в Западной Европе второй половины XX столетия.

На рассвете, когда низкие берега были обнажены отливом, я просыпался под гомон чаек.

Великий Парацельс где-то писал о боли, которая присуща абсолютному покою: человека долгое время принуждали неподвижно лежать в мягкой постели.

Третью неделю я смотрел на этот город: он лежал передо мной как на ладони – и словно на другой планете.

Фасад, признаться, портит всю улицу.

Возможно, и в Риме существует какое-нибудь место, столь же привлекательное для людей определенного склада, как Сен-Сюльпис в Париже, но в Риме я никогда не бывал.

Опять хлопает оконная ставня.

Рядом со мной, против камина – телефон.

В полдень поступает очередная партия енотов; Клод отвозит их на задний двор и ликвидирует при помощи монтировки.

Я, подменяя себя самого собой самим, неизменно, из года в год при этом присутствовал.

Мистер Зельц знал, что Вилли не жилец на этом свете.

Я умер в семь часов утра.

Сверкнула вспышка, и на стену упала тень повешенного.

Я – мертвый, я – труп на дне колодца.

Когда лягушки выходят из-под земли и отправляются на поиски стоячих вод – это знак, что зима уж обессилела.

В узорах на окружающих меня неживых, неподвижных предметах мне вечно чудятся человеческие лица: они медленно проступают, формируются, постепенно обретают четкие очертания, затем на краткий миг застывают, а потом начинают пристально смотреть на меня и корчить рожи.

Пусть наша история и потерпит крушение на разбегающихся рельсах Non Sequitur, Лимитед, что тут поделаешь; но вы все-таки займите место в экскурсионном автобусе "Raison d'être".

Она почти бежит.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины французского художника Поля Гогена [1848–1903] *Таитянки на берегу* [1891].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге —
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 8.11.2001
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1507.
Тираж 12 000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

линия-арт

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

[1] 2002

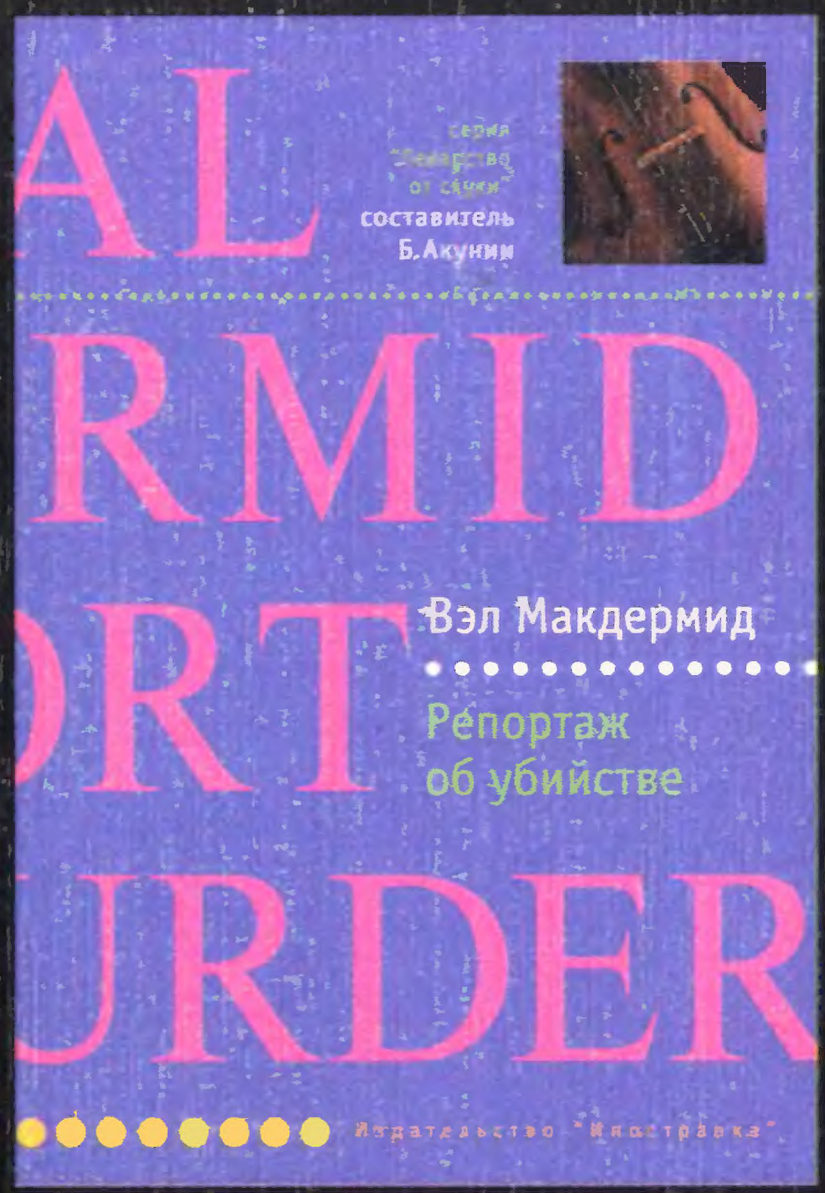
РОМАН ЖАН-ФИЛИППА ТУССЕНА “ФОТОАППАРАТ” / “ПОРТРЕТ В ПОЛНЫЙ РОСТ”: БИОГРАФИЯ ГЕНРИ МИЛЛЕРА / “КРОТОВЫЕ НОРЫ” ДЖОНА ФАУЛЗА / РАССКАЗ ВИТОЛЬДА ГОМБРОВИЧА / СТИХИ ДЖУЛИ О’КАЛЛАХАН / ПОВЕСТЬ БРИГИТТЫ ШВАЙГЕР “ОТКУДА В МОРЕ СОЛЬ” / ДЖОРДЖ ГАСКОЙН В РУБРИКЕ “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ”

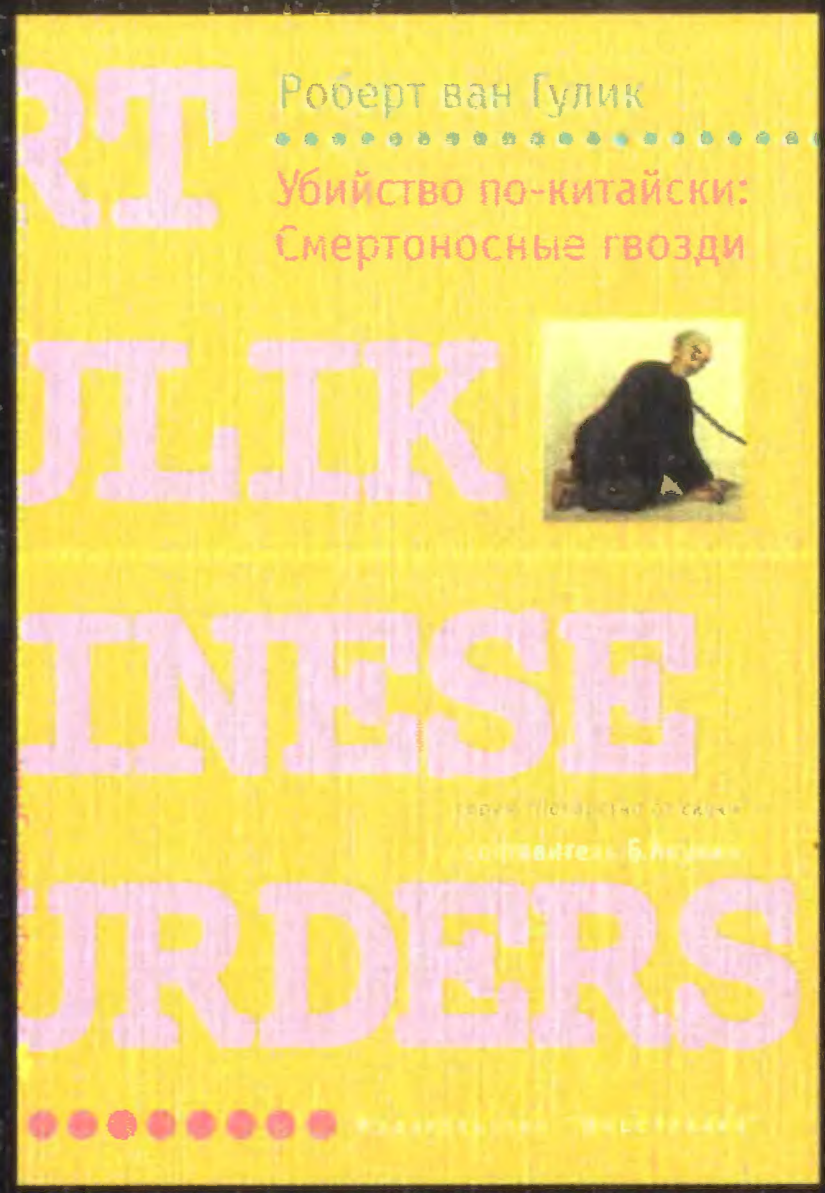
Новая серия издательства "Иностранка"

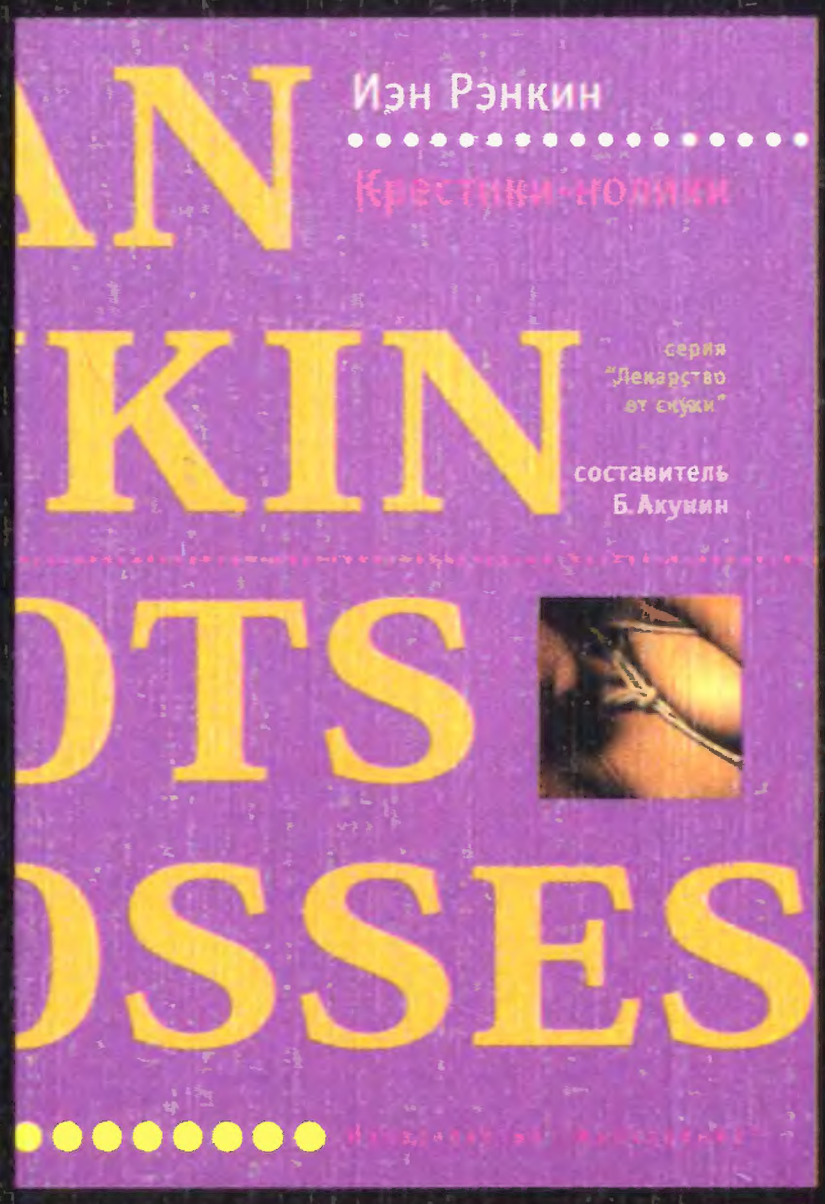
"Лекарство от скуки"

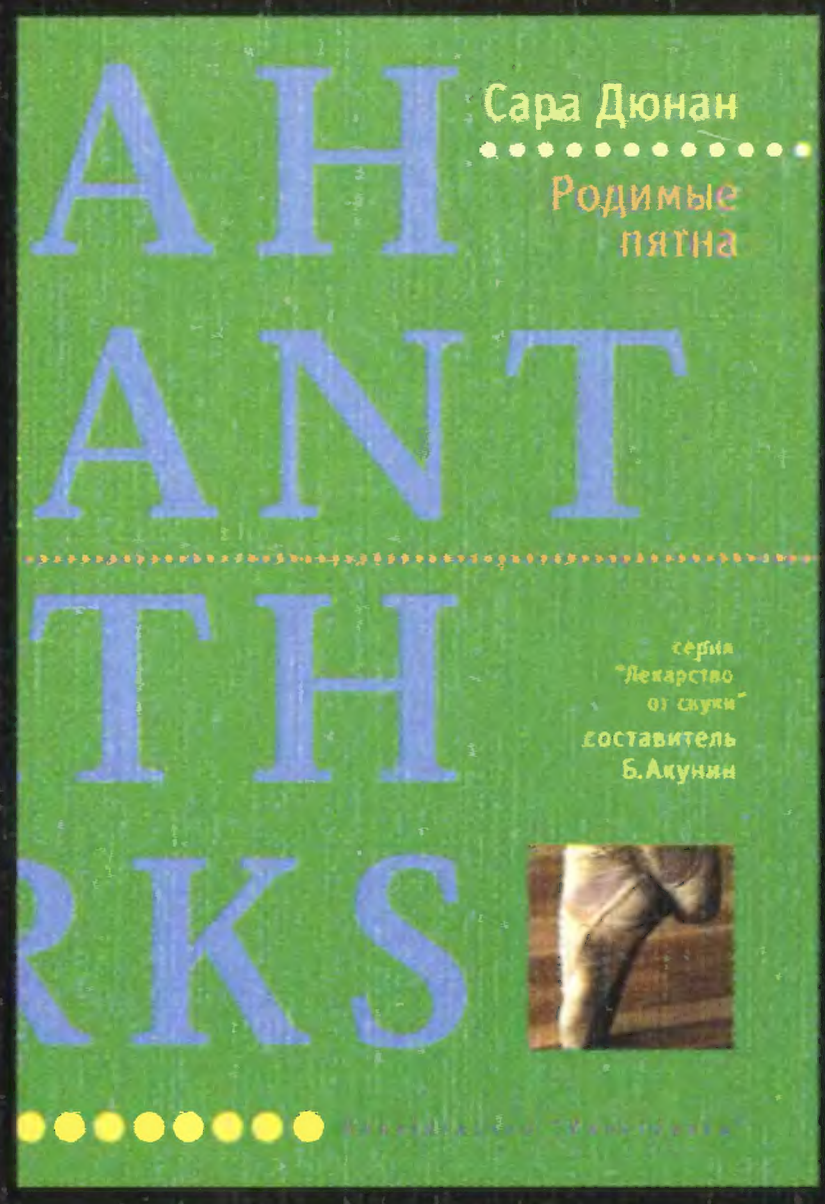
составитель Б.Акунин

Серьезный подход к несерьезному жанру









По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2001, №12, 1-288